

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
П Я Т А Я

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

МИХ. ПРИШВИН
АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ
ГЕОРГИЙ ШТОРМ
Н. НИКАНДРОВ

С Т И Х И:

НИК. АСЕЕВ
БОРИС СОЛОВЬЕВ
Г. ОБОЛДУЕВ
ВИКТОР ГУСЕВ
МИХ. РУДЕРМАН
РУД. БЕРШАДСКИЙ

СТАТЬИ, ПИСЬМА, ОЧЕРКИ:

ДАН. КРЕПТЮКОВ
А. АГРАНОВСКИЙ
Н. ШКЛЯР
ЭГОН ЭРВИН КИШ
С. ГАЛЬПЕРИН
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ
Л. ГРОССМАН
А. ЛЕЖНЕВ
Л. БЕРЕЗИН
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НИК. СМИРНОВ, А. ЛЕЖ-
НЕВ, К. ЛОКС, АРК. ГЛАГО-
ЛЕВ, И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ,
Я. ФРИД, А. ГУРШТЕЙН,
И. СЕРГИЕВСКИЙ.

М О С К В А
4 . 9 . 2 . 9

5 год
издания

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е ПОЛУГОДИЕ 1929 г.
на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВ. и ОБЩЕСТВ.-ПОЛИТИЧЕСК. ЖУРНАЛ

5 год
издания

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Вяч. ПОЛОНСКОГО.

В 1929 году журнал „НОВЫЙ МИР“ выходит с иллюстрациями.

В ВЫШЕДШИХ ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ НАПЕЧАТАНО:

Я Н В А Р Ь

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

А. МАЛЬШКИН. — Севастополь, повесть. Л. СЕИФУЛЛИНА. — Выхваль, рассказ. М. СВЕТЛОВ. — Три стихотворения. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман. БОР. ПАСТЕРНАК. — Два стихотворения. В. ЛАВРЕНЕВ. — Белая гибель, повесть. ПЕТР ПИЯРЬЕВ. — Двое, рассказ. Г. ФИШ. — В Уфе, стихотворение. И. САДОФЬЕВ. — Встреча, стихотворение.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

А. ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой волной (воспоминания). В. БОНЧ-БРУЕВИЧ. — Из воспоминаний о В. И. Ленине. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Очерки современной литературы (о творчестве Вс. Иванова). НИК. СМИРНОВ. — Александр Мальшкин. Б. ПЕСИС. — Франция и Толстой. Н. ЗАМОШКИН. — О третьем альманахе «ЗиФ». Ф. РОГИНСКАЯ. — Бытовая художественная культура. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). Б. КУШНЕР. — Южное сияние, очерк. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Ф Е В Р А Л ь

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

А. МАЛЬШКИН. — Севастополь, повесть (продолжение). М. ГОЛОДНЫЙ. — Два стихотворения. В. САЯНОВ. — Полос, стихотворение. Н. НИКАНДРОВ. — Лесосека, рассказ. В. АЛЕКСАНДРОВИЧ. — Карусель, стихотворение. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (продолжение). М. ЗЕНКЕВИЧ. — Перелет Москва — Армавир, стихотворение. П. СЛЕТОВ. — Листья, рассказ. О. КОЛЫЧЕВ. — Ночь на катке, стихотворение. О. ФОРШ. — Последняя Роза, рассказ.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

В. МАЙЗЕЛЬ. — Средиземноморская проблема. Н. СМИРНОВ. — Неотразимый образ (Л. Рейснер). И.С. ТРОЦКИЙ. — Первый провокатор - профессионал. С. ДИНАМОВ. — Идеология научной и технической интеллигенции. ПОГРАНИЧНИК. — Горная страна Памир (с иллюстрациями). Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Ластки из блокнота. А. ШЕСТАКОВ. — На историческом фронте. В. СКВОРЦОВ. — Спутница Л. Толстого. Л. ФРИД. — Максонер призывает к оружию. В. ЛЕВИН. — Деревенские очерки. В. КОКИЕВА. — По горной Осетии, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

М А Р Т

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

А. МАЛЬШКИН. — Севастополь, повесть (конец I ч.). Д. БРЕМИН. — Соседи, рассказ. Н. ДЕМЕНТЬЕВ. — Лирическая экскурсия, стихотворение. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (продолжение). БОР. ПИЛЬНЯК. — Двадцать восемь тысяч печатных знаков, рассказ. АДАЛИС. — Робат, стихотворение. В. КИРИЛЛОВ. — Критику, стихотворение. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дни, рассказ. И. ПРИБЛУДНЫЙ. — Случай в Монреале, стихотворение.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

Ф. НОТОВИЧ. — Ремонтный узел. Н. ПИКСАНОВ. — Грибобедов-мастер. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Дневник журналиста. Л. ТИМОФЕЕВ. — Современная украинская литература. АРК. ГЛАГОЛЕВ. — «Атаманщина». Мух. Алексеева. В. ПЕСИС. — Жан Жироуд. А. СТАРЧАКОВ. — Поход на Москву. И. ИЛЬИНСКИЙ. — Заметки о высшей школе. Е. ВИХРЕВ. — Палех, очерк (с иллюстрациями). Л. НИТБУРГ. — Новая губерния, очерк. В. КУШНЕР. — «Коммунистический Маяк», очерк. Л. ГАМИЛЬТОН. — Письмо из Японии, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

А П Р Е Л ь

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

М. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть. Г. НИКИФОРОВ. — О Майдане, сдобном пироге и женщине (рассказ бригадира). О. МАНДЕЛЬШТАМ. — А небо будущим беременно... стихов. Г. ПШОМ. — Повесть о Болотникове. Е. ЗАБЕЛИН. — В тайге, стихов. С. МАРКОВ. — Путешествие в Пиншек, стихов. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дороги, рассказ. АДАЛИС. — Два стихотворения. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (окончание). И. САДОФЬЕВ. — Песня, стихов.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

М. И. КАЛИНИН. — К V Съезду Советов СССР. БЕЛА САНТО. — Из воспоминаний о советской власти в Венгрии. Э. Э. КИШ. — За кулисами статуи Свободы. Г. СЕРЕБРЯКОВА. — Клара Лакомб, союзница «бешеных». А. ЛЕЖНЕВ. — Критика «критиков». Ник. Смирнов. — Художественное творчество рабкоров. С. ПАКЕНТРЕЙТЕР. — Заметки недоуменные. С. ОБРУЧЕВ. — Анатолий Франс в халате и без... Б. КУШНЕР. — Арзгир, очерк. АДАЛИС. — По Туркмении, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

ПОДПИСНАЯ	12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.	ЦЕНА ОТДЕЛЬН. КНИГ в розничной продаже
	10 р.	8 р.	5 р. 50 к.	3 р.	1 р. 10 к.	

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) Главной К-рой „Известий ЦИК“, Страсбург (пл.); 2) всеми отделениями и подотделами Главной К-ры „Известий ЦИК“ на местах, 3) всеми почтов. контор. и письменными и 4) контраг. по распротр. период. печати.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж у р н а л

К Н И Г А

П Я Т А Я

М А И

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 9

Москва, Главлит А 88.013

СТАТ — формат Б/5

Тираж 21.000 экз.

Типография им. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Мих. ПРИШВИН.—Журавлиная родина, <i>повесть</i> , продолжение . . .	5
2. Ник. АСЕЕВ.—Необычайное, <i>стихотворение</i>	22
3. Алексей ПЛАТОНОВ.—Макар—карающая рука, <i>рассказ</i> . . .	27
4. Борис СОЛОВЬЕВ.—Революция, <i>стихотворение</i>	60
5. Г. ОБОЛДУЕВ.—Стихотворение	62
6. Георгий ШТОРМ.—Повесть смутного времени о Ивашке Болотникове, продолжение	63
7. Виктор ГУСЕВ.—Выдающийся город, <i>стихотворение</i> . . .	99
8. Н. НИКАНДРОВ.—Руда, <i>рассказ</i>	100
9. Мих. РУДЕРМАН.—Рынок, <i>стихотворение</i>	127
10. Руд. БЕРШАДСКИЙ.—Струя, <i>стихотворение</i>	128

ЛЮДИ И ФАКТЫ

11. Дан. КРЕПТЮКОВ.—Из книги «Степные восходы», <i>очерк</i> . .	129
12. А. АГРАНОВСКИЙ.—Хутора безыменные	141
13. Н. ШКЛЯР.—Телеграмма, <i>очерк</i>	151

ЗА РУБЕЖОМ

14. ЭГОН ЭРВИН КИШ.—За кулисами статуи Свободы, <i>письма из Америки</i> , продолжение	155
15. С. ГАЛЬПЕРИН.—По всему свету (очерки международной политики).	166

ИЗ ПРОШЛОГО

16. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА К Н. А. НЕКРАСОВУ (с предисловием и примеч. В. Евгеньева-Максимова)	187
---	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Очерки современной литературы. Преодоление «Зависти»	198
18. Л. ГРОССМАН.—Исторический фон «Выстрела»	217
19. А. ЛЕЖНЕВ.—Критика «критиков», статья вторая	232
20. Л. БЕРЕЗИН.—О стихах М. Зенкевича	242
21. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—Не затягивайтесь, из цикла «Халтуроведение»	245

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Ник. СМЕРНОВ.—Михаил Кольцов «Собр. соч., т. II и III»	248
А. ЛЕЖНЕВ. — Михаил Козаков «Человек, падающий ниц»	249
К. ЛОКС. — Борис Житков «Виктор Вавич»	250
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Леонид Грабарь «Журавли и картечь»	250
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — а) Эзра Левонтин «Фелука»; б) П. Лук- ницкий «Волчец»; в) М. Светлов «Хлеб»; г) Арк. Ситковский «Бронзовая молодость»	251
Я. ФРИД.—Анри Барбюс «Правдивые повести»	253
А. ГУРШТЕЙН.—Рахиль Фейгенберг «Летопись мертвого города»	254
И. СЕРГИЕВСКИЙ.—Валерий Брюсов «Мой Пушкин»	254
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ	255

Журавлиная родина

Повесть

МИХАИЛ ПРИШВИН

(Продолжение¹)

V. МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Рано утром, между первым и вторым стаканами чая, за папирской, в тетрадке, где записывается какой-нибудь необыкновенный сон и догадка ночная о словах, сказанных мне кем-то лет десять или больше тому назад, и подсчитываются гонорары, и что, например, чай вышел весь и не забыть бы сегодня купить, и что у такой-то собаки началась пустовка, а ручной тетерев Терентий протоковал на чердаке, вероятно, перед непогодой, о сыновьях, о резких событиях в обществе,—наконец-то я записал серьезное событие моей собственной жизни, что вторая книга моего романа «Кашеева цепь»¹ окончена и сдана в печать. Я описал в этой книге любовь Алпатова с намеком, что эта первая любовь подвела его к природе, откуда он и получит потом силу для творчества. Привычка подбирать словечко к словечку в миниатюрных рассказах долго не давала мне возможности написать роман, где требуется большой размах. Но многолетняя дума о романе, накопленное чувство разбили, наконец, плотину и, хотя с большим трудом, но все-таки я написал. Мне стало после романа совершенно так же, как было в первые дни на воле после долгой тюрьмы, столько ждал свободы, а когда она явилась, не зная, терялся, как в ней себя поместить. По правде говоря, эпопея моя была не закончена, потому что лет пять тому назад в тетрадках было записано, что третья книга «Кашеевой цепи» должна быть о творчестве Алпатова, и он сделан у меня инженером торфмейстером именно для того, чтобы в будущем расчистить где-то проток в заболоченном краю, спустить какое-то озеро-болото и открыть населению забытую, известную только по легендам Золотую луговину. Сюжет, конечно, вырос из собственной жизни, но, записанный, он стал бессознательно для меня определять мои поступки, несомненно это он и привел меня к поездке на торфяные разработки, которые описывал я в «Рабочей Газете», и он же определил в последние годы лето мое пребывания в заболоченном краю по Дубне, возле озера «Заболотье». Я догадываюсь о влиянии сюжета о творчестве Алпатова на мою жизнь потому, что кое-что и в сюжете и в жизни моей сошлось с такой поразительной точностью. И вот насколько же может надоест писание длинного романа, что я сам

¹) См. „Новый мир“, кн 4 с. г.

себя захотел обмануть, будто второй книгой о любви эпопея заканчивалась, хотя самое понятие «любовь» в романе было раскрыто, как очаг творчества. Один из моих друзей, прочитав книгу в рукописи, прислал мне о ней очень лестное письмо («не по дружбе, а как историк литературы говорю») и убеждал меня написать непременно книгу о творчестве Алпатова. И еще один литературный критик, прочитавший мой фельетон в «Известиях» «Молоко от козла», убеждал написать книгу о творчестве с не очень убедительным для меня аргументом, что книга такая будет «на расхват».

Так удивительно сошлось все, что с разных сторон потребовалось мое слово о творчестве, и немного мне удалось погулять с милой моей затеей Журавлиной родины, с рассказами для всех возрастов, начиная с пятилетних детей. Вот уже просится эта Журавлиная родина в роман о творчестве. Правда, журавли рождаются в грязных болотах, а когда летят в теплые края, их везде с восторгом встречают. Так наша грязная родина, старая Россия, сколько планов творческого труда в образцах искусства дала она всему миру. Многие смеются и говорят, что лучше синица в руки, чем журавль в небо. Но какой же это мир без планов, с синицами в руках. И потом разве я, взявшись за роман, не могу создать такую форму, чтобы в него вошла и книга с детскими рассказами. В Дон-Кихоте сколько вставлено не имеющих отношения к действию романа маленьких новелл. Все это можно замесить и потом выправить линию. Гораздо труднее изобразить не по шаблону жизнь Алпатова в природе. Шаблон всем известный по Толстому, Лермонтову, Гончарову, Чехову: городской герой, Левин, Печорин встречаются с прекрасной дикаркой, вступают с ней в связь, и не то важно, что герой бросает дикарку и возвращается в город, а что этот маленький поступок как-то внутренне оправдывается. Смысл всех этих повестей, неизбежность разрыва сознания и бытия, при чем сознание представляется или хаотическим персонажем, или пошлым офицерским, ресторанным, а бытию посылается вздох в образе доброго Максима Максимовича, или красивого душой дяди Ерощки. Мне удивительно, что даже Лев Толстой отдался шаблону и в этом не пошел дальше всех.

А что, если эти враждующие между собой бытие и сознание соединить в творчестве Алпатова, добиться, чтобы Ерощка целиком вошел в творческую личность Алпатова-инженера и показать, что само сознание питается бытием и в творческом ритме сливается с ним.

В отношении встречи Алпатова с дикаркой или крестьянкой вопрос решается очень легко, после двух книг о детстве героя и его первой любви, а вот о создании золотой луговины нужно очень и очень подумать. Даже на самых первых шагах встречается трудный вопрос, как писать реальный, психологический, почти исторический роман о воссоздании золотой луговины, если в ту эпоху, перед первой революцией, когда Алпатов должен приступить к своему болотному творчеству, все золотые луговины занимали помещики, да и вообще

все было так устроено, что на золотых луговинах крестьянам гораздо хуже жилось, чем в болотах. Мой разум дальше отказывается разрабатывать сюжет, да, вероятно, тут и мало одного разума. Но я не боюсь броситься в поиски куда-нибудь в сферу тревожной совести или в бездну утробной жизни.

Враг всякого творчества, конечно, претензия, и еще больший враг, ослабляющий волю,—страх перед претензией, шаблоном и пошлостью. Перебираю все свое написанное раньше, чтобы на него опереться, и все рассыпается в прах. К счастью, вспоминаю свой детский рассказик «Еж», отпечатанный в множестве тысяч Государственным издательством. В этом рассказе описано, как я приучил ежа. Возможно, что я, такой, каким меня видят, и не в состоянии приучить ежа, но посредством какой-то внутренней своей силы родственного внимания к такому удивительному чудаку природы я заразил других любовью, и теперь, наверно, множество детей приучают ежей. Значит, если бы я и ничего другого не сделал, кроме ежа, то все-таки у меня довольно основания поведать всем, каким образом совершилось такое великое чудо воплощения моей незримой мечты в общее дело. Мысль эта меня охватывает. Я начинаю Журавлиную родину, повесть о творчестве Алпатов, которая быть может потом будет звеном целой книги о творчестве.

Торф

(Первое начало романа)

Ты спрашиваешь, сын мой, что такое творчество или делание, по-моему, в основе его лежит борьба и скажу больше — победа, а потом самоограничение. По твоим суетливым вопросам и беганьям за материалами догадываюсь, что у тебя далеко еще до победы. Остановись, ни на севере, ни на юге нет тебе места, если сам поражен. Человеку побежденному вся природа есть поле, где была проиграна битва. Но если даже одни дикие болота были свидетелями твоей победы, то и они процветут, и та весна останется тебе навсегда весна, слава победе.

Моя победа совершилась в болотах, но я не знал о ней и как я мог знать о ней: я ужасно боролся с самим собой и, когда нашел себя победителем, то как я мог это увидеть? Вокруг не было рати побитой, но прилетели журавли к нам на свою родину из далеких стран, и все стало прекрасным, а через десятки лет упорного труда и отказа от свойственных всем обыкновенных жизненных радостей нахожу так мало слов, чтобы выразить всю прелесть болотного пения птиц.

Одних журавлей только могу я сейчас назвать, потому что их трубные звуки весной и осенью всем известны, остальные птицы с необычайно длинными клювами и прекрасными ночными глазами известны только охотникам. Трудно даже сказать, о чем они пели, если думать о каждой породе отдельно, по правде говоря, это пела вода, сбегая к разливу, и птицы ей вторили. Я слушал общее пение,

любовался разливом и думал: «По разливам, необычайно широким, сложилась душа народа, тоже широкая, и я тоже такой». Через минуту мысль моя переменилась: «Необычайно широкие разливы стали нашим несчастьем, вода скоро убегает, и реки, мелея среди лета, становятся несудоходными. Надо углубить фарватер и умерить разливы».

Вдруг я услышал звук, похожий на гульканье взлетающего вальдшнепа, и двинулся туда. Но как только я двинулся, звук исчез. Вернулся назад,—он опять. Я догадался стоять неподвижно, ждать, и это у меня вышло: звук стал непрерывным, и я понял, что это под снегом так поет самый малюсенький ручеек. В эту минуту запас моей жизни, скрытый где-то под моим льдом, вырвался потоком из какой-то пробоины и побежал согласно с водой и пением птиц. Был в этом движении ритм, и через это глаз все понимал—и отчего кулак качается, и трясогузка оглядывается, и утка нырнула. Все слышимое и видимое было согласовано в ритме. Мне оставалось только с этим ритмом согласовать свое будущее, и так ясно было, что можно это, что все теперь зависит только от себя, и на всяком месте и во всяком положении не будет мне больше одиночества, от которого я больше всего и страдал.

А то еще было раз, среди чахлых деревьев в торфяном болоте я увидел сильную березу, удивился ей и сел отдохнуть на сухом. Подо мной у березы была мягкая зеленая моховая подушка с ярко блестящей травой брусничника. Ноги я спустил в прохладную яму, вырытую, может быть, животным, может быть, человеком. Потом я увидел, что края этой ямы были покрыты сладкими злаками и крупной спелой земляникой. Тут я понял, что и земляника эта, и сама береза, и сладкие злаки выросли на болоте потому, что в эту яму из торфа стекала вода, и тем кислое болото осушалось. Через эту болотную воду вспомнил я в себе самую вечную боль и, когда заглянул в то место, где она у меня постоянно была, то не нашел ее, там все изменилось. И у меня там, как на бровках ямы, куда я спустил ноги, земляникой росли мои мысли и образы. Я понял тогда, что моя боль была как в болоте, где растения при недостатке воздуха не перегнивают совсем, а ложатся слоями. Деревья на моем внутреннем болоте так слабо росли, потому что вся сила моего солнца оставалась нетронутой и отлагалась слой за слоем, как торф.

Мне стало радостно, я вышел из себя и с удивлением окинул торфяное болото: в нем торф поспел, и сохраненной в нем солнечной энергии было довольно, чтобы сто лет двигать жизнью большого города.

Так точно случилось со мной: боль моя перестала,—мой торф поспел, и я стал обладателем энергии солнечного происхождения.

Сын мой, оставь свое болото, загляни в себя, может быть, и у тебя торф поспел.

В этом лирическом вступлении настолько сильно предвосхищается содержание романа, что дальше писать не хочется. «Торф» очень пригодится где-нибудь в середине, но начало должно быть такое, чтобы

с него писать как на салазках катиться с ледяной горы. Попробую сделать начало вытекающим из второй книги «Кашеевой цепи»: там в конце («Живая ночь») Алпатов попал на Журавлиную родину, и ему оттуда нескоро выбраться. Но пусть он в самом начале третьей книги побывает в имении у матери и в разговоре с ней, требующем какой-нибудь страницы вместо большого рассказа, откроет нам, что он где-то на своей Журавлиной родине прочно сошелся с девушкой Пашей.

Мезальянс

(Второе начало романа)

Одна мысль, вычитанная Марией Ивановной Алпатовой у Герцена, задела ее за живое и некоторое время путала даже ее в хозяйственных хлопотах, это была ее лишняя мысль; за что ни возьмется, всюду приходят в голову яркие слова Герцена: «Мезальянс есть посеянное несчастье». Применяя эти слова к положению своего сына Михаила, она не могла для него найти выхода к счастью. Единственным просветом было, что это у него временное увлечение молодости, что впоследствии он одумается, эту бросит, а жену выберет себе настоящую, образованную. Тайный голос, однако, и тут нашкоптывал, что такие, как Михаил, все однолюбы,—это раз, и другое, что Михаил вообще с расчетом, выбором не может жениться. Был выход облегчить сыну тяжесть посеянного несчастья,—предложить ему приехать с женой, потом взять ее в руки, принять в семью, подучить, отшлифовать. Но этот обычный, много раз испытанный способ в хороших средневоянских семьях не годился Марии Ивановне, потому что она сама была из купцов, училась на медные деньги и в глубине своей каждую деревенскую женщину считала х а м к о й гораздо больше и решительней, чем люди б е л о й к о с т и, дворяне. В конце концов, она решила про себя выжидать, всякий разговор с сыном об этом отклонять, как-будто это была у него где-то вне поля ее зрения обыкновенная легкая мужская связь.

По первому же разговору с матерью за утренним чаем Михаил понял, что его попытка со своим семейным устройством войти в соглашение с матерью не больше как остаток наследственных предрассудков о с ч а с т ь и и последний глупейший этап его переживания. После того он с увлечением стал рассказывать о Московском Полесье, что там есть целый большой заболоченный край на Дубне, по народным легендам бывший когда-то для всех драгоценной золотой луговиной. Совершенно удивительно, как чудо, случилось, что слушая эти сказки и разглядывая свои топографические с'емки, вдруг он догадался о причине заболачивания края. Стоит теперь только немного поработать, вся болотная вода зашумит в Волгу, и край попрежнему, как в сказке, будет золотой луговиной.

Мария Ивановна с такой радостью слушала рассказ об этом очень понятном ей увлечении сына, что совсем забыла и о посеянном несчастье Герцена, и что давно уж следовало бы ей к обедне итти.

Вдруг ударили к достойной, Мария Ивановна перекрестилась, спохватилась: «Что же это я заслушалась!»—и, оставив посуду «на произвол судьбы», отправилась в церковь: ей непременно надо было там повидаться с соседом-помещиков и сговориться с ним выписать пополам небольшую жатвенную машину.

Михаил Алпатов спустился с террасы в сад. Роса еще не сошла, сад блестел. Пчелы гудели. Вот уж не могла - то притти ему в голову предвечная формула Герцена о неравном браке...

Друг мой! Есть ли на свете предвечные формулы жизни, и правда ли, что если ты сказал А, то неминуемо должен сказать Б. Нет, жизнь по алфавиту существует только для покойников, и неравный брак—сколько я знал примеров!—у сильных людей давал многим недоступное счастье.

В этом начале меня испугало обратное, сравнительно с первым, насколько там казалось трудно продолжать, настолько тут выходило легко, писал бы и писал, потому что форма готова. Я нашел ее вначале ощупью при описании детства Алпатова, в борьбе за сокращение слов посредством лирического вступления к каждой главе. Мало - по - малу это бессознательное разделение единого лица на двое: Я—повествователь, и Он—ребенок, возникшее из воспоминания меня, пожилого человека, своего детства, потребовало оформления и в первой книге стало переключкой двух поколений, а во второй я, автор, превратился в летописца. По пути укрепления себя в найденной форме я однажды совсем неожиданно нашел себе поддержку, читая дневник Суворина, где он говорит, что множество впечатлений от текущей жизни мешает написать ему традиционный роман, что он мог бы написать роман только вдвойне, как написан «Евгений Онегин»: одно лицо говорит о всем, что только захочется, другое движется по определенному плану.

Постепенная находка формы мне доставила много счастья и тоже много убавила скуки у читателя, потому что иначе читать бы ему пришлось не две книги, а пять или шесть. Но писать по этой готовой форме третью книгу без радостного труда совершенствования формы для меня невозможно, я даже совершенно отделанную страницу сам не в состоянии переписать и непременно еще переделаю. И потому легкость второго начала испугала меня и заставила его бросить. Мне пришла в голову мысль сделать из себя не летописца, а исследователя жизни, край, где Алпатов действует, у меня под рукой, и таким образом роман будет переключкой поступающей в мое сознание действительности с легендой об инженерере Алпатове.

Так я могу широко использовать свое дарование схватить ландшафты. Кто знает? Может быть, все сведется к изображению материала края, и Алпатов только намеком, как дух, будет носиться над бездной болот.

Морены

(Третье начало романа)

Ледник, спускаясь к нам, рыл и холмил землю, не считаясь с жизнью будущих людей. Теперь мы живем на этих моренах.

А всемирная цивилизация разве загадывает о счастье, когда роет и холмит жизнь примитивных народов? Цивилизация чем не ледник? Разве может кто-нибудь обнять весь пройденный ею путь и понять ее движение в отношении к человеку?

Уже много тысяч лет назад проехал по Европе ледник, а мы еще до сих пор не овладели материалом, приготовленным шествием льда. Конечно, ледник шел, не считаясь с жизнью и все переменял в ней без плана: шел сам по себе. Но у нас в центре страны он рыл и холмил неплохо для жизни будущих людей. На оставленные им невысокие холмы вышли леса, в рытвинах легли озера. И к тому времени, когда человек оборол леса на холмах, озера заросли и стали болотами с мощными залежами солнечной энергии, сохраняемой торфом. Да, ледник конечно же рыл и холмил, не считаясь с людьми, но его бессмысленное творчество расположило недурно материалы и для творческой жизни людей. Ведь стоит только из болот, в которые погружен каждый холм, вывести торф наверх на песок, и земля станет надолго плодородною.

И какой суд может быть над цивилизацией, что можем мы говорить об этом неоконченном деле, если у нас живет множество людей, не умеющих для себя использовать даже давным давно конченного ледникового дела. На этих моренных холмах сидят теперь люди, не думая о заготовленном для удобрения торфе, так долго и плотно сидят, что песчаный верх морены от них самих с их животными мало-по-малу стал удобряться и немного темнеть. Моренные холмы запестрели лоскутками полей с селами, церквами, людьми так густо на них, что холмы морен похожи на муравейники, погруженные основанием в бездну огромных зеленеющих, местами даже вовсе непроходимых болот. Этот край, совсем близкий к центральной столице, перенаселенный на холмах и дико пустынный в низинах, я представляю себе местом действия избранного мной человека, желавшего согласовать личное творчество с прошлой работой ледника и действующей в настоящее время всемирной цивилизацией.

Оставляю пока все холмы, как они есть, и сам подвигаюсь между ними на лодочке по странной, нигде в других местах невиданной мною речке. Так привык я в других местах, спускаясь вниз по реке, видеть по пути речки-притоки, текущие как бы в помощь основной реке. На Дубне речки-притоки, кажется, не впадают, а выливаются, образуя широкие долины болот. Другие речки приходят навстречу, подпирают Дубну, и опять она выходит из себя, образуя болота на много верст. Все, впрочем, очень понятно и просто: где-то русло Дубны засорилось и, не в силах перенести воду через пре-

граду, река разливается и остается огромными поймами. Вот почему и кажется издали, что моренные холмы-муравейники с церквями и частыми селениями погружены в дебри самой дикой природы.

Такое начало романа я почел удачным, очень обрадовался ему, отделал его, двадцать или больше раз вслух прочитал, и все было хорошо и хорошо. Но я всю зиму работал и силы свои израсходовал, будь весна, как всегда, в природе получил бы поддержку для книги о творчестве, но все знают, какая весна была в этом году: было как будто новый ледник спускался к нам, и все замерзло вокруг. Сядь за стол, я представил себе, что на лодочке плыву по Дубне между моренами, но взгляд падал на замороженное окно, образы мои обмерзали и останавливались, как ледниковые морены. Теперь я понимаю, в чем дело, я, парализованный усталостью и непогодой, работал не всем существом, а только головой, то, что в нормальной работе я отгонял, как лишние мысли, теперь принимал за цель и описывал их, называя моренами.

Я обыкновенно, если хорошо пишу, то как бы плыву на лодочке, а подо мной волнуется весь океан, и потому я пишу о своей лодочке, что она связана с океаном, и так выходит, — говорю о лодочке и получается океан.

Но бывает, и по-другому пишется, возьмешь океан, а пишешь о лодочке. И это по-своему тоже до того увлекательно, что в первые годы, судя свои вещи по расходу увлечения, я совсем не мог разбираться в написанном. Все было отлично, пока я был неизвестным писателем, за хорошие вещи, назову «океанские», платили, плохие, написанные по «лишним мыслям», возвращали, и я вдруг сам тогда принимал и рвал их. Конечно, редакции иногда ошибались, случалось, я рвал и хорошие вещи. Но не беда, хорошее потом само возвращалось. Плохо началось, когда явилось доверие к моему имени, и оно стало само за себя отвечать. Тут я сделал несколько больших промахов и напечатал «лишние» вещи, которые и сейчас глядят на меня своими тусклыми глазами из больших столичных библиотек.

Есть множество людей, которым ничего не стоит попросить денег взаймы или перейти с кем-нибудь на «ты», но я болею, если приходится занимать, и на «ты» могу только с охотниками и детьми. Так есть очень даровитые писатели, совсем даже неспособные глядеть себе в след: тоже широкие люди, свои ошибки им, как с гуся вода. Я удивляюсь их таланту, но не завидую: это не мастера, и куда лучше их сочинений для меня лес шумит и вода поет. Мастер должен знать себя и талантом своим управлять, как машинист паровозом.

Разными способами, главным образом, посредством выбора первых слушателей, или совершенно не понимающих в литературе, или больших знатоков, я стал отмечать в себе то «океанское» чувство и другое обманчиво увлекающее. Мало-по-малу так и нашел я са-

мого себя и организовал сложную защиту такого себя со многими рядами колючих заграждений. И все-таки я до сих пор не уверен, что враг, соблазняющий меня лишними мыслями, не явится с неведомой стороны.

Враг явился ко мне в образе морен, когда я себе представил, что еду по Дубне, продвигаясь на лодочке между холмами, уходящими в дебри болот. Мне вздумалось, глядя на них, найти свои постоянные морены, между которыми будет бежать мой поток. Мало-помалу я до того увлекся сочинением этих «морен», что все на свете забыл. И откуда это взялось! Морены, коротенькие мысли о творчестве, рождались в моей тетрадке во множестве и совершенно задавили живое творчество. Из многих десятков, а может быть, и сотен этих морен, истребляемых потом со всею яростью, сохранилось несколько, красиво переписанных, каждая на отдельной страничке. Теперь, когда я овладел собой и морены мне больше не мешают, они вовсе не кажутся мне враждебными, очень возможно даже, что их потом можно обработать, удобрить, как настоящие морены, и вырастить хлеб. Вот несколько таких уцелевших морен.

Сосуд вечности

Стремление людей в редакции так же бессознательно, как у северного лосося его скачка через пороги и водопады к верховьям реки на места нереста или, как у перелетных птиц, полет на места гнездований. Я так и догадываюсь, что стремление возродить себя в форме является из той же самой жадности жить, как у лосося его смертельно рискованные скачки на камень, с которого падает вода, или у северной ягодницы в лесу набить корзину брусникой перед самым носом медведя. Форма, которой добиваюсь я так страстно, происходит от жадности так заключить ягоды жизни в сосуд, чтобы это он был вечно неистощим.

Коварство этого стремления заключить ягоду жизни в сосуд вечности в том, что ягода-то не себе достается. Я проследил за собой: даже в тот момент, когда я спускаю на окно парусиновую занавеску, подвигаю к себе лист бумаги и начинаю строку с большого Я, — это Я уже сотворенное, это Мы.

Родственное внимание

Каждому человеку в большей или меньшей степени дано искусство видеть мир. Каждый в своей жизни как бы спешит наполниться запасом образов любимых и ненавистных людей, животных, растений, с которыми он и уходит из жизни. Но пределы силы этого обыкновенного родственного внимания узки, в старости человек обыкновенно не узнает своих родственников в новых лицах и цепляется за прошлое подробными расспросами о судьбе своих современников. Способность художников видеть мир означает бесконечное расширение пределов этой силы родственного внимания.

Законы и формы

Если мы, наблюдатели русские, возьмем японцев для сравнения с нами, то в их облике нам представится гораздо меньше оттенков, чем у своих земляков. Это потому, что японцы нам мало знакомы, мы не привыкли различать их посредством силы родственного внимания, воспитанной в нас постоянством жизни в пределах своего родного народа. Еще более поражает наша ограниченность в способности различать, когда мы от человека переходим к миру животных и растений: там все грачи черные, воробьи серые, кошки пестрые, желтые, — по рубашкам только и различаем. Таким образом, подсолнечный мир, значительно охваченный нами в ширину географически, едва тронут психологически в глубину и представляет собой неограниченный материал, требующий приближения к себе родственным вниманием.

С другой стороны, нам присуща способность стирать различия, образованные родственным вниманием, для того, чтобы понимать причины, приводящие в движение всех без различно и строить на основе этого законы для управления жизнью. Надо помнить, однако, всем людям науки и государственным деятелям, что такие опыты стирания лиц возможны только в лаборатории. В жизни без лица наше тело превращается в труп. Вот почему, если наука стоит на страже в деле охраны общества от блудливого искусства, то искусство должно охранять жизнь от стирания лица, потому что лицо является сосудом смысла всякой отдельной твари.

Творческий акт

Истоки творчества видны в самом бытии, которое даже у животных для своего продолжения требует некоторого отказа от пожирания добычи сегодня, чтоб обеспечить им свое завтра. Точно также ограничивается своя общая жизнедеятельность в интересах выхаживания своих детей. Собака, зарывающая избыток своей пищи в землю про запас, в е л и к и й пост курицы, высиживающей свои яйца,— вот как в бытии происходит наше сознательное методическое творчество.

Сознательный творческий акт человека заключается в способности жертвовать частью своего бытия и строить из этого, действием воли остановленного потока жизни, законы и формы.

Спасение мира

Женщину мы уважаем за то, что ей свойственно предпочитать любовь (эрос) самому факту размножения (пол); в этом она более свободна, чем мужчина. И если доходит любовь до брака, женщина остается более сильной в самоограничении, необходимом для выращивания и воспитания младенца. Эти лучшие свойства женщины в творчестве бытия переходят у мужчины в сознательный творческий

акт законов и форм, и вообще можно сказать, что женщина занимает первое место в творчестве бытия, мужчина — в творчестве сознания. Отсюда выходит, что спасать мир надо не гуманизмом, который выродился в кичливость человеческой культуры над бытием, а соглашением творчества своего сознания с творчеством бытия в единый мировой брачно-творческий акт.

Вот эти остатки бесчисленных, истребленных мною морен. Они вовсе не глупы, но неподвижны. Случилось, в самый разгар писания этих морен ко мне пришел комсомолец из педтехникума пригласить почитать у них на вечере новейшие сочинения.

— Что вы пишете? — спросил он.

— А вот все морены пишу, — ответил я.

И с тем, чтобы узнать, возможно ли новейшее мое прочесть у них на вечере, тут же у себя в комнате прочитал комсомольцу много морен.

Терпеливо и почтительно выслушав меня, комсомолец признался, что его смущает мой романтизм.

— Друг мой, — ответил я, — романтизм бывает разный, и о природе его путного еще никто не сказал.

— Но все-таки, — возразил комсомолец, — в отношении женщины вы сходите со всеми — возвеличиваете на словах, на деле возвращаете в кухню.

— Значит, — сказал я, — вы бытие представляете себе в виде кухни, но почему же вы говорите, что бытие определяет сознание?

Мне вдруг пришло в голову определить свой романтизм.

Я сказал:

— Это у меня романтизм бытия.

Комсомолец дал вежливо понять мне, что такой романтизм похож на мещанство. А я, задетый за живое, потому что какому же романтику хочется попадать в мещанство, напомнил один случай в общегитии педтехникума. Молодые люди тайно сошлись, природа взяла их и все обнаружила. Девушка легла в больницу и там стала матерью. А когда она собралась с силами, преодолела стыд и решилась явиться после всего к экзаменам, товарищи встретили ее на лестнице с цветами в руках.

— Это все было, — сказал я, — вот романтизм бытия. Как же теперь вы думаете, возможно мне свои морены прочесть у вас на вечере?

Умный юноша смутился немного, но справился и ответил вежливо:

— Конечно, можно, в особенности, если вы разрешите прочесть в дискуссионном порядке.

Тут я одумался и от чтения морен отказался: они неподвижны. Смотришь на них, как на холмы, которые нарыл ледник, а сам растаял. Наше дело их обработать. Перечитываешь эти свои морены и думаешь: «Кто же это, какой настоящий философ уже давно их включил в свою этику?». Нет, если я художник, то должен распахать их, разработать, удобрить, вырастить на них живое и потом уж читать.

VI. КЛАД

Мне долго казалась таинственной сила, срывающая личины и маски, привлекающая родственное внимание в самое сердце людей и вещей, вызывающая, как духов, людей, хорошо знакомых с интересующим меня предметом, чтобы дать ответ на вопрос. Теперь я знаю, эта сила у поэтов называется музой. Но как называется она у людей, не имеющих никакого отношения к поэзии? Разве не та же это действует сила, когда во всяком деле иногда все удается, и не ее ли на помощь вызывают рабочие в «Дубинушке»: «сама пойдет, сама пойдет!». Думается, музыкальный ритм сопровождает всякий труд, если только человек не разделен и отдается своему делу до самозабвения. Я мог бы теперь в отношении себя лично написать целую книгу о тех хитростях, уловках и всяких приемах своих, посредством которых я до того прилачился хозяйствовать около драгоценной таинственной силы ритмического родственного внимания к оружающему меня миру, что могу поставить себе цель и эту изобразительную работу провести почти как научное исследование. Так, если бы я загадал себе изобразить какой-нибудь край или вообще какой-нибудь пройденный мной путь или отрезок прожитого мною времени, я ищу в этом пространстве и времени фокус, в котором сходятся лучами все мои впечатления, переживания. Нельзя, конечно, предусмотреть, где именно и когда и на чем сойдутся все лучи моих впечатлений, об этом я не загадываю и, может быть, это самое трудное — приучить себя к доверию, в котором скрывается уважение к внешнему миру в том смысле, что он на тех же правах существует, как я. Во время пути я стараюсь как можно меньше иметь дело со своей записной книжкой и отмечать в ней только незнакомые слова и обороты речи. Под конец пути я уже хорошо чувствую фокус своих впечатлений. Часто, вернувшись из какого-нибудь путешествия, дома беру лист бумаги, ставлю в центре его кружок и внутри вписываю слова, означающие фокус. Вот было со мной, когда я вернулся из путешествия в Сибирских степях, я нащупал в себе центральное впечатление от простора степи-пустыни в виде двух всадников, киргиз, которые с'ехали, поздоровались, и один спросил: «Хабар бар?» (Есть новости?) «Бар!» — ответил другой. И принялся о мне самом рассказывать, как о каком-то черном арабе. И когда я спросил своего проводника, каким образом могли эти всадники с такой подробностью узнать о моем путешествии, то он просто ответил: «По Длинному уху». После этого все мои впечатления сами своей собственной силой стали располагаться во мне, как поступающие по Длинному уху, и в центральный кружок на листе я вписал: Д л и н н о е у х о. От этого кружка во все стороны на стрелках я по кругу написал главные впечатления, в следующем концентрическом кругу менее сильные, и так на всем листе сложился весь скелет моей работы. И если теперь мне придется писать рассказ, повесть и роман, то всегда начинаю работу

с поиска фокуса и затем графически располагаю вокруг него все почему-то непременно кругами. В пространстве я представляю себе свою работу всегда кристаллом со светящимся внутри него фокусом.

Вот эту силу, располагающую внешний мир и мой внутренний согласно, я называю ритмом, делающим всякий труд не только легким, а даже как бы пьянящим.

Часто от людей, которые приходили ко мне полюбопытствовать, как делаются вещи в роде «Черного Араба», я слышал горькие слова: «тут тоже девяносто девять процентов труда». Это говорили, конечно, мне люди, никогда не знавшие сладости в самом труде. Но мне кажется, для каждого человека, желающего сделать лучшее, возможен труд, подчиненный музыкальному ритму, если только научиться его замечать, выделять и очень строго хозяйствовать. К сожалению, есть соблазн легкости труда в слышании его музыкального ритма и, кто обратил на него внимание, обыкновенно бросает трудное дело и сочиняет стихи ради стихов.

Свою первую книгу этнографическую, «В краю непуганных птиц», я писал, не имея никакого опыта в словесном искусстве. Против всех, писавших потом о моих книгах, один М. О. Гершензон сказал мне, что эта первая моя книга, этнографическая, гораздо лучше всех следующих за ней поэтических. Я приписал такое мнение чудачеству М. О. Гершензона, который, казалось мне, всегда и во всем хотел быть оригинальным. И только теперь, когда судьба привела в мою комнату В. К. Арсеньева, автора замечательной книги «В дебрях Уссурийского края», и я узнал от него, что он не думал о литературе, а писал книгу строго по своим дневникам, я понял и Гершензона и недостижимое мне теперь значение наивности своей первой книги. И я не сомневаюсь теперь, что если бы не среда, заманившая меня в искусство слова самого по себе, я мало-по-малу создал бы книгу, подобную арсеньевской, где поэт до последней творческой капли крови растворился в изображаемом мире.

Мне вспоминается и Блок, прочитавший мою вторую книгу «Колобок». Он сказал:

— Это не поэзия.

— Что же это? — спросил я.

— Нет, — поправился Блок, — это поэзия, но и еще что-то.

— Что?

— Не знаю.

Теперь я понимаю, что в этой книге «таинственная сила» выделилась определенно как поэтическая, а другая часть ее оставалась, скажу, в смешанном состоянии и не поддавалась определению поэта.

Это было время борьбы с натуралистическим и гражданским направлением литературы, умиравшим в «Русском Богатстве». Поэтическое «Я» разрозненно выбивалось из обветшалых форм, приклоняясь к ницшеанскому сверхчеловеку, очищалось, утончалось, пока, наконец, не заключило себя в формулу: «Я—бог». То было величайшее

черзновение, подобное прыжку со скалы, в чайнии полета без крыльев, с помощью одной только веры в себя. Трагедия автора сверхчеловека общеизвестна... Вслед за первым поэтом, посмевающим объявить себя богом, появилось бесчисленное множество богов. Все было похоже, как если бы Заратустра пришел в тропический лес, разостлал бы холст, накатал бы его на себя, как делают ловцы обезьян, потом опять раскатал бы холст и удалился. После того обезьяны, как это известно, подражая человеку, закатываются в холст и в таком виде их ловят.

Множество поэтов закаталось в богов и в таком смешном виде были изловлены. Тогда началась новая форма морально-эстетической болезни: богоискательство. Какое-то наивное воспитанное во мне чувство пристойности, не дало мне возможности проделать вполне серьезно опыты самообожествления и последующего богоискательства, но, конечно, все было так любопытно, что и я отдавал дань своему времени. Из этнографа я стал литератором с обязательством к словесной форме, как таковой. Подражая богам, я тоже стал писать о себе, но в совершенно обратном направлении с декадентами: поскольку в этом «Я» было общего всему миру. На этом пути я так и остался, стараясь все больше и больше приблизиться к простоте своей первой книги.

Конечно, я не мог не заметить, что все эти сменяющие одна другую школы, философские и религиозные искания мало имели значения для творчества тех, кто потом в трудах своих должен был остаться для истории, — для них был это самое большое метод, для рядовых — догмат, но как бы там ни было, вожди, рядовые, метод, догмат, реклама, богема, в преддверии катастрофы государства все дружно боролись за освобождение слова из плена натурализма и специфической гражданственности. Это искусство было похоже на удивительное сплетение белоснежных и золотистых кувшинок, прикрывающих иногда на болотах бездонные окнища.

Я был свидетелем трагической цветущей эпохи словесного творчества. Миновать ли мне ее теперь при попытке моей в лице Алпатова подойти к органическому процессу творчества? Нет, я должен за великое свое счастье принять, что не по книжным материалам, а по лично пережитому имею возможность провести своего героя между встречными потоками декадентского эстетизма и революционного аскетизма к открытому морю органического творчества, где все живущее подчинено величайшему закону: «помирать собирайся, — рожь сей!».

Нет, конечно, если около таких больших вопросов поставить Алпатова эпохи эстетизма искусства и аскетизма революции, то ничто не должно помешать его достижениям. Меня смущает теперь лишь возможность воплотить все это в живую человеческую личность. Берет оторопь при первой мысли о том, что какой-то инженер в болотах открыл причину заболачивания края, и этот незначительный факт

каким-то образом должен свести его с творцами слова и среди них его выделить.

Если я вижу молодого автора, становящегося в тупик при работе над подмостками своего литературного здания, мне бывает смешно; все эти тупики происходят от необходимости разума строить подмостки в пределах пространства и времени, а когда дело доходит до самого здания, в постройке которого участвует весь человек, все решается иногда только одной фразой или словом, а то и просто чертой, за которой действие переносится на тысячу лет вперед или назад.

И вот все-таки, как актер, в сотый раз выступающий в одной и той же роли, попрежнему трепещет и замирает, так и я ломаю себе голову над вопросом, что же такое могло Алпатова перебросить из болот Московского Полесья в салоны петербургского литературно-художественного творчества и чем же именно мог там обратить на себя внимание торфмейстер.

Мне приходит в голову, что золотая луговина, которую хочет Алпатов дать населению, утопающему в дубенских болотах, очень легко соединяется с мифом о золотом веке, и так Алпатова через этот миф можно привлечь в мифотворческий кружок Вячеслава Иванова, а потом торфмейстер делается символическим героем в роде как строитель Сольнес у Ибсена или Генрих в «Потонувшем колоколе».

Но для такой постройки мне как-то мешает знание болот...

Обращаюсь к личной своей жизни: ведь я тоже агроном и с торфом очень много возился и прямо от торфа попал в салоны творчества. Я сделался литератором, потому что к этому делу у меня вдруг прорвались дремавшие способности. Но, как мне кажется, радость моя в литературном деле происходит, главным образом, оттого, что посредством этого труда я примыкаю к общему творчеству. Так случилось биографически. Но Алпатова нельзя сделать литератором, потому что органический творческий процесс в словесном искусстве так замаскирован беллетристикой, что если сказать «писать», нужно много всего выяснять. Нет, мне повидимому надо в агрономии Алпатова найти такой творческий фокус, через который должны проходить лучи всякого творчества.

Может быть, я по ночам или во время своих охот бессознательно уже не один раз приходил к этому вопросу. Кто знает? Может быть, однажды я выпросил себе и командировку от «Рабочей Газеты» для описания торфяного производства, повинувшись бессознательно влечению отыскать миф самых вещей, созданных в недрах природы, и что я несколько лет все блуждаю около Дубенских болот и что устроился прочно жить около них в Сергиеве. Я немного боюсь думать об этом, потому что это правда — жутко вскрывать колеблющиеся силы, управляющие повседневным разумом.

Как бы там ни было, но и в этот раз случилось то самое, что бывало уже множество раз с тех пор, как я попал на своего конька

и получил способность отдаваться делу целиком и им поглощаться. Все равно как и в первый раз, мне кажется таинственной эта сила, приводящая на службу мне случай, она непонятна мне, хотя я хозяйствую с ней так же разумно, как инженер с электричеством. Случилось, в тот самый час, когда я в центре белого листа начертил кружок, в который я должен был вписать название фокуса моей вещи, и стал возле этого пустого кружка распределять материалы из жизни Алпатова, в кухне у меня за стеной залаяла собака, стерегущая электрический звонок. Так сложилось как-то самой собой, что от старого звонка на дворе осталась теперь только проволока. Крестьяне, проходящие ко мне с предложением дров, молока и всего такого, никогда не смеют нажимать пуговицу электрического звонка, вероятно ей не очень доверяя, а гремят проволокой, и собаки на дворе отвечают дружным лаем. Интеллигентный человек всегда нажимает пуговку, но прислуга не всегда бывает в кухне, мне звонка этого в доме не слышно. Вот почему я в кухне устроил самую умную собаку, которая вызывает меня лаем, если в кухне нет никого, а звонок затрещал. Тогда я знаю, что за калиткой на улице стоит человек интеллигентный.

Услышав этот лай, быстро спрятав я в стол лист со скелетом романа, вышел на двор и впустил к себе неизвестного мне прилично одетого, с портфелем в руке, вполне интеллигентного средних лет человека. Он тут же у калитки рекомендовался культур-техником сергиевского исполкома и сказал, что он ищет помощи у меня как литератора.

В комнате он вынул из портфеля рукопись своего труда, очень просил меня с ним ознакомиться и рекомендовать в какое-нибудь издательство.

Труд этот был компилятивной сводкой проектов осушения Дубенских болот с подробным описанием географии, флоры, фауны и сложными хозяйственными расчетами. Появление этой работы в нужный момент я принял как чудо и, отпустив автора, прямо же и принялся за изучение.

Я узнал из этой работы, что в план осушения болот входит спуск знаменитого по своим охотничьим богатствам ледникового озера и, самое главное, что на дне его живет до сих пор крайне редкий реликт ледниковой эпохи, шарообразная бархатно-зеленая водоросль Клавдофора.

Мне сразу же показалось до крайности странным, что техники, составлявшие проект о спуске озера, не придали никакого значения тому, что драгоценнейший реликт ледниковой эпохи, сохранившийся только в двух точках земного шара, при спуске озера неминуемо должен погибнуть. Я вернулся к Алпатову с его золотой луговиной, представил себе что он, готовый спустить озеро, открывает этот реликт и вдруг останавливается перед вопросом: имеет ли право он, инженер, понимающий лишь техническую сторону дела, стереть с

лица земного шара этот реликт с его неведомым мифом: Claudorhoga, значит клад. Отодвинув проект осушения болот, я взял план своей работы и в центре листа в пустой кружок вписал: Клавдофора. Мгновенно весь скелет работы вспыхнул зеленым светом таинственного подводного растения и стал облекаться...

Но я и тут не доверился. Правда, зачем мне спешить пускать в ход свою фантазию, если таинственная водоросль существует и я могу узнать так много от нее самой. Я начну с того, что сейчас же там, у техников, соберу о ней первые сведения, быть может, напишу о ней в газету, подниму шум: все пойдет мне на пользу, возможно даже, я спасу эту водоросль, и путь ее спасения откроет мне совершенно новые горизонты для изображения творчества Алпатова.

(Продолжение следует)

Необычайное

НИК. АСЕЕВ

Чего я хочу? Необычайного.
Того же, что Гоголь и Шамиссо.
Чтоб нос путешествовал по проспекту,
а тень отделялась от каблучков,
свертывалась, как пергамент, в ролик
и исчезала в широких карманах
похитителя серых теней.

Необычайное — не только в этом,
не только в выдумке и балагурьи,
но и в том, чтобы смотреть
преувеличенными глазами;
но и в том, чтобы дышать
преувеличенными глотками.

Преувеличенными шагами
жизнь настигать и перегонять.

Оно в нарушении хода событий
в переиначенной жизни героя,
в том, чтобы выдать одно за другое,
в меткости слов и в яркости чувств.

Необычайное — всюду, всюду,
ходит, толкается по базару,
лезет в соседний карман за сдачей,
ржет тебе в уши меж двух трамваев,
каплею плющится в лоб с карниза,
лепит в профиль углы подушки,
неповторимостью цепенит.

Видели ль вы, чтобы шла купаться
торгово-промышленная газета?
Шла солидно и неохотно,
переваливаясь по пляжу,
в зад подталкиваемая дуновеньем,
подгоняемая ветерком?

Вначале она вздувалась, как парус,
и плыла, белея, как барка,
потом, распластанная волною,
колыхалась блаженно-глупо,
в соль пропитанная насквозь.

Видели ль вы, чтоб зеленые урны
для плеванья и для окурков,
встав в кружок, на заре под утро,
длили свой молчаливый митинг
в небеса вопиющими ртами —
о предстоящей тяжелой работе
и о том, сколько грязи и сору
за день приходится проглотить?!

Видели ль вы, наконец, собаку,
взятую гицелем на обрывок,
дворником вынутую из петли,
освобожденную от позора,
под мастерскую ругань и крик.

Как она жаловалась и визжала!
Как она бегала за оградой!
Как она лаяла на фургоны,
подозревая всюду измену,
гибель, предательство, петлю и плен!

Видели ль вы дитя в рубашонке,
вставшее раньше восхода солнца,
над цветниками застывшего с сеткой,
ждущего сосредоточенно, молча,
бабочки близкое трепыханье?

Если его окликните: Толя!
он не ответит, не шелохнется,
он — как застывшее изваянье,
сгусток охотничьего терпенья,
сжатой в комок неразгаданной силы,
имя которой — упрямая страсть.

Вот я окликнул его — он не слышит,
вот я затронул его — он недвижим;
только досадливо шевельнулась
тоненькая золотая бровинка
на нарушителя тишины.

И тогда начало мне казаться,
что — не бабочки пестроцветье
завладело его вниманьем, —
что следит он и ловит и видит
то, что видеть мне не дано.

И, присев на корточки рядом,
стал следить я за направленьем
сосредоточенных детских глаз.

И, отодрав пелену слепую,
словно окалина мглящую взгляды,

я увидел внезапно и близко
все, на что он глядел напряженно,
что разбирал он в цветеньи формул —
листьев, тени, песка и росы.

Раз! и слетела завеса с сердца,
раз — это было широким утром —
что-то случилось с землей седою,
мир повернулся на синих призмах,
стал на зарубку больших времен.

Что-то сменилось в земле и в небе:
тень пробежала, что ли, косая
и отхватила игрою света
все, чем я раньше жил и дышал.

Разом взлетели цветы на стеблях,
переменились песка оттенки,
в море стеклянные встали сваи,
песни людей зазвенели с неба.

Лица друзей просквозили ветром,
с губ послетели забот морщины,
страх и унынье упали в воду,
горечь и злоба распались в дым.

Мчалось по почте тепло на север,
по телеграфу неслась прохлада;
юность дарилась на именины,
сила стояла на перекрестках
и отпускалась слабым рукам.

Плечи работали, не потея,
в каждом движеньи цвела удача,
каждое сердце кипело страстью
и не старело, не выгорало,
а — раскаленное до отказа, —
переплавлялось в иной размер.

Тени машин колыхались мерно,
ритм нагнетая в людскую волю,
свет разливая везде и скорость,
шумом своим распрямля жизнь.

Стала земля без щелей и рытвин
дочиста вымыта и обрыта
сетью дорог, каналов и шлюзов,
ферм и мостов служа украшеньем;
свежесть и дичь ее не пропала,
не захирела лесов щетина,
но — выгонялись они фабрично,
как озонаторы-резервуары,
там, где льсело пустынь пятно.

Папоротник севера взвился пальмой,
мох распушился в густые степи,
вместе с прохладным морским теченьем
в Черное море плыли тюлени.

Стала земля без трясин и тины,
без грохотанья лавин и обвалов,
дочиста вымыта и одета
в платье искусственных удобрений,
в острые струи зеленых каналов,
в синие ленты воздушных линий.

Омоложенная влагой и светом
миллионлетняя эта старуха
стала веселым и чистым котенком,
стала одним огромным хозяйством,
где никому не темно, не больно,
не одиноко, не сиротливо; .
где тебе каждый дорогу укажет,
лаской обвеет и песню споет.

Что же такое случилось с землею,
что пронизало людские поступки? —
Необычайное вышло наружу,
необычайное стало законом;
то, что смеясь отвергали люди,
точно бессвязную небылицу, —
стало историей и дневником.

Только подумать, что это будет!
Это случится на том же месте,
где мы живем, ненавидим, любим,
где мы идем, как по дну водолазы,
двигая медленно и неохотно
будней свинцом налитые ноги.
Только подумать, что это станет,
станет сверкать на столбах придорожных,
станет густеть в долготы хроник,
в неопишувемый влившийся шрифт.

Пишущие машинки без стука
станут записывать сами мысли,
будут жилища перемещаться
вкось по воздуху в дальние страны,
будет — не только когда чихают —
каждое выполняться желанье;
будет веселье — как соль к обеду,
в каждом жилье заблестит термометр,
измеряющий счастье живущих,
ниже четырнадцати делений
не допускающий сил упадка.

Люди иной, хрустальной эпохи
станут внимательней и точнее,
станут видеть, что нам непонятно,
и о нас вспоминать, как о старых
консерваторах и неряхах,
головой с сожаленьем качая,
говоря, что это случилось: —
(точно мы о царе Горохе) —
— до распаденья атомных ядер
— до коммунизма на всей земле!

Знаю: другое название будет,
лучше, звончее, понятней, ярче,
но назовем его коммунизмом,
так как его ощущая сердцем,
кожей, ноздрями, весной, дыханьем,
так мы его пока понимаем.

И о таком непривычном веке,
и о таком невозможном свете
весть синеватую и сырую
я подсмотрел, подглядел, подслушал,
тихо нацелившись и наблюдая,
в щелочки детских пытливых глаз.

Необычайными стали тени,
необычайными стали мысли,
необычайностью стало время,
мне отпущенное на жизнь.

Так как — бабочкою кружася,
пестрой выдумкою сверкая,
село будущее пред нами
на росой покрытый цветок.

Так как дитя со мной было рядом,
так как дитя его ждало жадно,
так как пред детским горячим взглядом
будущее не умеет лгать.

Необычайное ж -- всюду, всюду,
только взглядишь в него вровень с морем,
только лови его на обрывок,
только застынь над ним с плотной сеткой.

И — не морской благодатный отдых,
а — закипит дорогая тревога —
пестрым блеском, осколком сини,
тысячью непережитых мгновений
враз опрjëкинувшись на тебя.

Макар — карающая рука

Рассказ

АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ

Невысокое, плотное небо города — дымчатое, точно сукно армейской шинели, в это утро пытались казаться весенним.

Шел октябрь, — влажный, слякотный месяц ветрового 1918 года. Но по-весеннему было тепло неожиданной теплотой ростепели, обманной теплотой осени.

Утром в двухэтажном дом штаба отдельного батальона незаметно пробрался приземистый, рыжий, веснущатый мужичок. Он был в новой, из шинели сшитой поддевке, в больших смазных сапогах. Поддевка топорщилась на нем неуклюжим веером складок, а жесткий стоячий ее воротник упирался круто в затылок.

Мужичок хозяйственно осмотрел помещение. Штаб ему показался неуютным, грязным, точно коровник, и все ж привлекательным по-родному. На обшарпанных канцелярских столах спали закутанные в шинели люди. Было ясно, что им неудобно там спать, что столы и подложенные под головы поленья, а у других канцелярские книги мучат усталые человеческие тела.

Он долго и бережно слушал простудные хрипы незнакомых ему людей, нежно рассматривал каждого, укоризненно покачивая сморщенным личиком, утыканным рыжими колючками небритого подбородка.

Потом, потрогав смешные, тоже колючие, и тоже рыжего цвета усы, он с внушительной медленностью снял поддевку, неторопко сложил ее на широкий каменный подоконник, и, настороженно вытянув красноватую от жесткого воротника шею, на цыпочках отправился за метлой в угол.

— Хорошие тут ребята. Останусь работать тут... — в раздумьи пробормотал он в усы, аккуратно подметая неопикуемо мусорный пол. — А живут, поди-ка, совсем неумеючи — и плохо, видать, и грязно...

• Ему тут нравилось. Он, казалось, полюбил уже этот штаб, точного названия которого еще не знал, и едва ли не чувствовал себя отцом незнакомых ему армейцев, готов был с ними на все — в любой край и погоду.

Весело затрещала голландка, из-за лени, должно быть, не топленная давно. Огонь ласковым отлынем зацвел новые зеленые шаровары и такую же гимнастерку, не в меру широкую на шуплом

тщедушном теле. Огромный артельный чайник, кое-где тронутый коричневой ржавчинкой, пронзительно засвиристел, закипая.

Мужичок облегченно вздохнул, заботливо отряхнулся, случайной тряпкой обтер сапоги. Потом принялся будить товарищей по новому, своевольно определенному себе месту работы.

— Чай готов, господа хорошие. Нешто так советской власти работают. Разоспались, что курье по нашестам. Я вам тут живо порядок распланирую.

Удивленные, вставали армейцы, спросонья таращили на него глаза. Перед ними стоял неведомый в колючках рыжих волос человек, смешно обмундированный не по плечам и размерам. Но рассердиться было нельзя: глядел теплыми глазами на всех, как смотрит на провинившихся детей мать, точно сказать собирался: — Ишь вы, знаем таких. Ну, да, ладно, ужо вам...

Последним растолкал он Гордона, командира формирующейся части. Из-под Саратова тот спешно приехал сюда со свернутым штабом, чтобы здесь набрать добровольцев.

Он встал сухопарый, весь узловатый, с испитым вытянутым лицом. Не разобрав спросонья, принял пришельца, должно быть, за сторожа, потом, откашливаясь и чихая от насморка, взгляделся пристально, деловито спросил:

— Кто такой? Каким, товарищ, маршрутом?

Мужичок, великатно осанясь, будто парад принимая, сказал:

— Председатель революционного трибунала. Я председатель тут в трибунале. Да вот, срочно уйти оттуда желаю.

Гордон поднял острые, надломленные у висков брови:

— Как так? Почему хотите, товарищ, уйти? И в какой мере это должно касаться нашего штаба?

— Не хитрая штука, товарищ. Не желаю там больше. Уйти из трибунала хочу. А к вам хочу старостой встать. В роде старосты у вас буду — за всем порядком следить. Слыхал — хорошие у вас люди, хорошая ваша часть...

Портянка выпала из рук удивленного командира. Мужичок говорил тоном, не допускающим возражений, точно и сомнения не было, что он останется тут, и останется именно старостой — следить за порядком.

— То-есть, как же это? — выдохнул недоуменно Гордон, обволя глазами сотрудников. — По какому мандату старостой, когда и штата такого нет! И почему председатель ревтрибунала, а к нам старостой хочешь?

Не теряя самообладания, с той же великатной осанкой, мужичок разъяснительно дотолковал:

— Так что являюсь выборный массами окружной председатель ревтрибунала. — Карающая рука... — пояснил он и ласково поднял вверх добрую волосатую руку. — Посадили меня в... большое кресло, а я расстреливать, видишь ли, и не умею. Расстреливать-то расстреливаю,

а в толк взять не знаю, кого непременно расстреливать за революцию надобно. Человек — не скотина. Другого, нет-нет, и жалко становится. Разобраться в каждом надо доподлинно, а тебе не дают.

— Ай, старик! Правильно говоришь,—выщелкнул кто-то из штабников.—Зарезал скотину—в котел ее на солдатское варево. А человечину—некуда! Обидно даже, ей-ей!—И он безрадостно и удивленно рассмеялся собственному открытию, сделанному так неожиданно.

Рассказчик, нетерпеливо потерев уголок глаза, озабоченно отвел его смех, продолжив:

— Из штаба Южного фронта приехали наши главные. Спрашиваю, как мне судить-рядить, кого промежду прочим расстреливать? Дайте, прошу, инструкции. А они мне: «Расстреливайте, говорят, товарищ, психологически. Не до инструкций теперь. Кого, значит, следует, того и затылком к стенке. Психологически, говорят, совесть вашу тут применяйте». — Он для точности ткнул себя в грудь пальцем:— Это мою, значит, совесть! Вот вам инструкция, говорят.

— Здорово отвернули! — расшевелился Гордон. — Веселая твоя, старик, участь. Давай, рассказывай дальше, как шло.

— Ну и что ж, по совести расстреливал, психологически! Каждого к себе внутренне примерял. — Он заморгал рыжими веками, затаращил жидкие, цвета осенних листьев глаза: — А что, думаю, за дело такое к стенке себя поставил бы? Виновен ты против свободы так, что к стенке надо тебя в этом факте? Ага, значит крышка тебе, не пеняй! Или, значит, выругай хорошенько, месяца на три куда следует законопать и прости. Пусти человека паек его жизни допользовать. Проучишь так-то другого, глядишь, будет полезным для нас же

Он вдумчиво помолчал...

— А теперь оно не выходит! — еще усиленнее заморгал, затаращил глаза мужичок и улыбнуться старался. — Тяжелое время пробился никак один. Сотни две в отпуск бессрочный спровадил. Грамоту благодарственную за деятельность из центра имею, да-да! А сейчас всадили мне двух назначенцев, ну ни тят-ляп не выходит. Мы, говорят, юристы. У нас высшее образование, говорят, выучено. Расстрелять, говорят, желаем такого-то по высшему нашему образованию. А у меня совесть не позволяет расстреливать которого там Ивана. Не такая его вина, что за полпуда муки мешочник от голода. Не могу я так. Старостой у вас, психологически, буду.

— Ах ты, в общем и целом, старик! — сказал Гордон веселея.— Только, если ты коммунист, через партийную дистанцию провестись тебе будет надо. Добровольцев собирать поедешь?

— А то нешто нет, непременно поеду. Один сберу вам целую роту. Я в уезде личность понятная, нашинской стороны человек. Кликну — к Макару Бражкину вольным духом метнутся. С конями надобно будет — пойдут и с конями. Заготавливайте, товарищ, обмундировку.

Он вновь озабоченно замолчал, но, вспомнив про партийную дистанцию, раз'яснил убедительно:

— А партийность моя — с первого дня. Мне, товарищи, нельзя в партийности не состоять, у меня родной брат в 905 году повешен в петлю режимом. Раз'едный сын мой Сережа пошел биться против Краснова. Слышать, в плену он теперь. А дома одна корова да товарищ-крестьянка, моя жена.

Он теплыми глядел глазами на всех — сморщенный рыжий Макар, председатель ревтрибунала. К нему подошел Артур Олендэр — латыш, начальник пулеметной команды, русоголовый с девически нежным лицом. Сказал приветливо, глазами весенней голубизны глядя на Бражкина:

— Понял я, Бражкин, вас. Поедем вместе по селам. Митинги проводить будем. Старостой будешь у нас — комиссаром по политической части.

Макар, запросто пожав ему руку, уверенно без замедления согласился:

— Поеду, голубь, с тобой. А с теми мне нежелательно. Только правду с теми крамолить. После все расскажу вам фактически. Потом, который у вас тут начальник, — давайте чай пить, а после чая пусть мне подробно доклад о всем положении приготовит. Армейцев собранных мне покажите. Какое их настроение — посмотрю, ознакомлюсь...

Уехал Бражкин Макар дня через два, поговорив обиженно перед от'ездом в комитете партии. Не дал себя уломать на старом месте остаться. На фронт — заявление сделал — желает очень. После из хуторов и сёл к Олендэровым донесениям приписки кратко притачивал:

«Путешествие наше благополучное. Завербовали по четырем хуторам двадцать семь человек. В помощи комиссии «Сухаря» выгот московского голода для детей собрали четыре подводы хлеба зерном. Население откликается, а многие, что недовольны порядком — я раз'ясню».

И еще такого сорта приписки Гордону лично:

«Нардеку и масло сливочное для штабных товарищей посылаю. Не кочевряжься, ешь с ними без вразумления, потому которая лошадь везет, обязательно пожрать надо, чтобы не околела для революции РСФСР».

Гордон, посмеиваясь, читал приписки Макара. Однако, видел и донесениями Олендэра подтверждалось — человек подарком дался отряду. В штаб Южного фронта рапорт двинул про Бражкина, с просьбой о его назначении комиссаром.

И на тех же днях в штабе негадано произошел несуразный переполох. В штаб с шумом и криком, точно стихийное бедствие, вломился рослый курчавый парень, в отличных желтых хромовых сапогах. Он сразу же напугал всех широченной глоткой, удивил грудью невероятной в обхвате. Чудилось, грудь его может вобрать в себя разом весь воздух комнаты и другим дышать будет нечем. Он был гибок, казался

несуразно сильным, и синие глаза его глядели открытым взором весельчака, плюющего на все ожоги невзгод.

Гордон, увидев его врывающимся в кабинет, недовольно вскочил с облезлого табурета:

— Что за крик? — строгим голосом вычертил он. — Почему такой крик во время работы? Предъявите мандат!

От волнения он что-то, должен быть, ругательное, пробормотал по-немецки. Означало это, что он в высшей степени недоволен. Только отменные желтые в обтяжку сапоги Сергея умили его гнев.

В их перебранку вмешался незванным докладчиком каптенармус:

— Да это ж Макара Бражкина сын! — смачно дожевывая неведомо где раздобытый коржик, с непонятной веселостью доложил он.

Он успел познакомиться с Бражкиным и вместе с буйном вошел в кабинет Гордона. Любил кричать для собственного удовольствия.

Сергей подал огромную руку Гордону. Тот, недоумевая еще, протянул Сергею свою и тотчас же ее отдернул, скривив от легкого дружеского рукопожатья лицо.

— Рука у меня... такая! — извинился, взламываясь улыбкой, Сергеа. — Дозвольте отрапортоваться. Из плену красновского только что. Узнал — отец у вас тут, шибко увидеться захотелось.

Потом рассказал подробно:

— Целиком пулеметной командой до красных отчалили. Две трети пленные красные подобрались и остальных за собой утянули. Как я там за старшого, нельзя ли к вам в часть? С отцом охотнее мне...

— Почему ж нельзя? Это очень желательно! — поспешно согласился Гордон. — Батальон как раз в периоде формирования. Где же ваши ребята и сколько у вас пулеметов?

— Под Балашовом. Два «Кольта», четыре «Максима», — огчеканил хвастливо парень.

— Договорились! — барабания обрадованно по столу, закончил Гордон. — Завтра же получишь мандат. — И добавил уже вполне дружелюбно: — С утра приходи, нам пулеметы — первое дело.

...Гордон доставленными пулеметами остался весьма доволен. Сергея по возвращению командовать новым пулеметным взводом оставил.

Подружился Сергей в отряде с каптенармусом Карачовым. Гуляй-полевец Карачов, недавний беглец от Махно, развеселый покоритель ветренных женских сердец, взял молодого Бражкина под свое покровительство.

Он умел во-время подсунуть к жестянке чая нелишний обломок сахара, к ржаному ломтю — ласкающие взоры сливочное, к часу скуки — неожиданную прельстительницу из числа приятных своих знакомок.

В последнем Сергею, однако, роковым образом не повезло.

Карачов познакомил их в годовщину октябрьской революции в народном доме имени «Победы пролетариата». Брюнетка, стройная, с глазами как чернослив, — показалась Сергеем юркой. Жеманно назвала себя «Надди», просила так ее называть.

Сергей повел себя независимо, подтрунивал над ее выступлениями в порядке любительства на подмостках Нардома. Там, задыхаясь, жестикулируя, выпадая всем телом вперед, она сжигала себя чтением революционных частушек Демьяна Бедного.

Возможно, что именно сдержанность и подтрунивание Сергея вызвали в ней обратные к нему чувства.

Этому в меру помогала и его внешность. Карачову не пришлось особенно медлить с обычными на этот счет поздравлениями. Надя торжествовала победу.

Ее подруга, пухлая рыжеволосая беженка Алька, вскоре конспиративно предупредила Сергея, пряча от него большие, полные томи глаза:

— Член трибунала с ней путается. Помнишь, в Нардоме в кубанке рыжей к ней подходил? Теперь она в тебя, ох, как вмазалась. А он грозится, отстать не хочет. Мужчине всегда обидно, когда женщина от него уходит сама.

Сказать по правде, Сергеем больше нравилась Алька. Надя пугала Сергея остротой взглядов, горячностью, желчностью, с которой отзывалась о всех. Не нравились и внезапные ее припадки хандры, и не в меру восторженная веселость.

Но Алька безропотно принадлежала каптенармусу. Недаром от голода из Петрограда с матерью убежали. Карачов понимал толк в сытости, умел хозяйственно напитать, кого надо. Возможно, что Карачов нравился ей и за одинаковую в любую погоду веселость, и за подкупающую мягкость улыбок, за шутливость и доброту.

Вчетвером часто после Нардома, благодаря изворотливости Карачова, пиршествовали в прохладном, пустынном, когда-то красиво отделанном зале штаба. Там же на мягких диванах, уцелевших случайно от немилосердной прожорливости голландки, располагались на ночевку. Девчата незамедлительно стали в штабе своими. По утрам поили штабников чаем, оставались изредка на сытый штабной обед.

И после, — как это рано ли, поздно ли случается и во всякой семье, — у Сергея с Надди вышла размолвка. С комичной гримасой разочарованности жаловался он каптенармусу, Альке, досадливо морща лоб.

— Мозоли набила мне — целоваться с утра до ночи. «Кисанька, Кисанька! Я тебя полюбила серьезно» — А губы накрашены и нарочно слюнявит. Ну ее, я в плену у Краснова был. Мне работать надо: Гордон взвод приказал приготовить. Того гляди, и на фронт, не до «кисанек», тьфу ты!

— А ты... в декретный отпуск ее!.. — в тон Бражкину отшучивался каптенармус.

...Макар вновь к Олендэровым донесениям приписку Гордону прислал и письмо Сергею. Писал в приписке:

«Штабу Южного фронта за мандат в назначении политическим комиссаром благодарю. Оправдаю доверие. А что из трибунала ушел, удивляются понапрасну. Я с теми работать, как заявил от сердца, никак не могу. Претит мне с ними, не верю я им. Ленина в их глазах я не вижу. Тебе же еще сообщаю, завербовали семь конных и...».

Сыну Макар писал словами отцовскими, теплыми необыкновенно. Бумага письма теплилась и трепетала в руках Сергея. Сергей стоял в штабе у индевеющего первым заморозком окна, волнуемый словами письма, читал:

«...и еще как главное, что из плену убер, приветствую. Гордон тебя за работу во взводе хвалит, что тоже очень отратно отцу, за что сыну спасибо. Дождись меня, я охочим до фронту стал и вместе бить которых поедем...».

Ему не дали до конца дочитать. Окрикнули из коридора, что кто-то его зовет.

В коридоре штаба толпились, плеском говора и смехом глуша время застойного ожидания, записывающиеся в часть бойцы. Через их головы Сергей вдалеке увидел пробивающуюся к нему Надю. Обильно напудренное ее лицо было в дымке тревоги, — гордячка знала, что Бражкин явно ее избегает. И то, что Сергей не скрывает этого от подруги и каптенармуса, было всего обидней, требовало откровенного с ним объяснения.

Сергею было не до нее.

Скорчив гримасу неудовольствия, молодой Бражкин крикнул ей, что пусть она катится «колбаской тухлой по постному маслу»... Армейцы слышали, как он кричал это девушке через весь коридор. Они весело разгоготались, одобрительно подмигивая Сергею.

Она, побледнев, с криком рванулась к лестнице вниз, лицо ее было полно смертельной обиды.

В дверях едва не сбила с ног Карачова. Он, встревожась, окликнул девушку и пожал плечами, не расслышав ее ответа.

Утром другого дня Карачов напоил штаб чаем. Гордон позвал Сергея в спартанский свой кабинет, велел написать отцу, если желает. Гордон не умел хвалить своих подчиненных, но ежедневные занятия Сергея с бойцами воспитали ему отличный взвод пулеметчиков. Он знал, что будет перед Артуром Олендэром — начальником пулеметной команды — гордиться Сергеем. И Гордон, раздумывая об этом, машинально проговорил, внезапно приняв решение сделать приятное парню:

— На левом берегу Волги восстание против власти подняли. Шесть волостей бунтуют. От меня губернский военком требует помощи. Не тебя ли, Бражкин, послать: размяться и силы свои испробовать...

— Пошли, спасибо скажу! — обрадованно качнулся к нему широкой грудью Сергей, вспомнив о надоедливой «Надди». — Пошли, проветриться надо. Позарез, поверишь ли, проветриться надо. Кровь мутит,

как у стоялого жеребца, еще хуже! — и он живо, точно наощупь, представил себе солончаковые бескрайние степи Заволжья, мышастые от полыни, косяки ветровых калмыцких коней, ночное, посыпанное солью звезд, небо.

— Поговорю сегодня по проводу со штабом фронта. Посоветуюсь, очень ты молод! — решил Гордон, веселя Сергея глазами.

Захватив лист чистой бумаги, — писать отцу, — Сергей вышел разыскивать Карачова, поделиться с ним радостью. И вдруг, точно от удара в спину ружейным прикладом, остановился как вкопанный.

— Который тут, товарищ, Сергей Бражкин? — хлестнулся в него в коридоре зловещий по тону бас окрика.

Сергей обернулся. Лицом к лицу перед ним выросли двое молодцеватых военных. Грозные взоры их не предвещали добра, узкие канты вдоль галифе гневно алели из-под кобур наганов.

— Я Бражкин. В чем стук? — насторожился Серега.

— Спуститесь-ка с нами по срочному делу на секунду вниз, — сказал крепко один из них, втиснутый плотно в тужурку шевровой кожи.

— По какому такому? — встревоженно отколыхнулся Сергей.

— А так, безо всякого! — коротко рванул бас. — Там узнаешь подробно.

Сергей подчинился, нахмурился. Они вывели его на парадное. Он был раздет. Его курчавая голова была непокрыта. В руке бился под легким ветром чистый бумажный лист, точно огромная белая птица.

Молодец в кубанке, молчавший до этой минуты, исключаящим возражение шопотом отчеканил:

— Без крика чтобы. В трибунал со мной марш. За вещами после пришлем.

Сергей, удивленно прищурился, вдруг припомнил виденную им в Нардоме кубанку и вслед за ней предостерегающие слова Альки. Наполовину дело стало понятным. «Из трибунала. За Надьку, наверно, мстит». Побледнел.

— Ордер... ордер... на арест, — отдачей рванулся он к двери. — Не имеете никаких данных!

— В трибунале пред'явим, — сторожко наложил на наган руку предполагаемый соперник Сергея. Но он не успел освободить нагана от кобура.

— Вот как! — взмылся всем телом Сергей. Он не привык к такому с собой обращению. Быстрый взгляд пулеметчика, — и бережно свернутый его кулак коротко ткнулся в грудь человека в кубанке. Забыв о нагане, тот навзначь скатился головой в руки приятеля, точно миллиардный шар в лузу.

Сергей единым вздохом взмахнул по лестнице вверх в штаб, вестью ошеломив товарищей, не подозревавших о приключении с ним.

— Товарищи, — недоуменно закричал он, — без мандата там! Срочно арестовывают меня в трибунал. Вот как!

Штаб всполошился, запротестовал, загалдел удивленно. Вскикивая из-за столов, распалаясь, штабники наперебой расспрашивали:

— Арестовать?

— Трибунал?

— Как - так!

— По какому такому!

Растерянно тем же голосом повторил, разводя руками:

— Без мандата, в трибунал арестовывают. Не знаю!

Карачов, испепеляя себя, неистовствовал. Он иступленно закричал Гордону, что надо гнать их к чертям, не выдавать без мандата, не выдавать товарища трибуналу! Опрометчиво рванулся к нагану.

В полохе, в криках протеста в штаб вошли те. Они коротко говорили с Гордоном. Тот, что в кубанке, багровея от негодования, предъявил Гордону документ. Тогда Сергей звонко сплюнул, сказал штабу так:

— В чем я преступник? Пойду туда, меня выпустят. Ждите меня, товарищи, через час.

У него не было оснований усомниться в таком исходе «наскока». С шинелью в накидку, без фуражки вышел из штаба, все с тем же листом бумаги в руке, забыв о нем от волнения.

Но Карачов не затих. Он заявил Гордону категорически, что от него не отстанет, куда Гордон не смотается в трибунал, лично потребовать освобождения Бражкина.

— Пить, есть не будем, куда нам не вернут Сергея! — распаленно кричал во всю глотку каптенармус, ободряемый остальными.

Гордон приказал верховую. Штаб ждал его с напряжением. Но Гордон вернулся из трибунала ни с чем. Он был скучен. Было жаль Сергея и, вместе с тем, сжигала обида личного к нему невнимательного отношения трибунальцев. Даже не дали до конца изложить просьбу о выдаче на поруки Сергея.

— Прав был Макар! — сказал штабу. — Юристы высшего образования! Штаб фронта мне доверяет, а эти и говорить по-товарищески в обиду себе считают. Не трибунал у них, застенки.

И по-немецки ругнулся, добавив:

— В штаб фронта пожалуюсь. Не сдобровать им!

Потом Карачова вызвали в трибунал, и он там увидел Надю и Альку. Его коротко и обидно допрашивали. Он говорил с перепуганной Алькой и вместе с ней умолял и после грозил Наде, требовал от нее слов оправданий для Сергея. Надежда, не глядя на Карачова, оправдывалась, уверяла в любви к Сергею, стараясь спрятать злую, мстительную в углу рта улыбку. Она увертливо избегала взоров Альки и, не закончив разговора, поспешно исчезла, точно предательский выстрел, выполнивший свое назначение.

В штабе Карачов, не по характеру гневно, передал товарищам и Гордону:

— Макара надо вызвать немедленно. Сергею шьют, будто бы изнасиловал Надьку и угрозой заставлял с собой жить. Вдобавок сопротивление власти паяют. Я понял в чем тут, но ложь это, клевета на Сергея, товарищи! Клевета!..

Двое суток прошли, точно подломленные по корень, кувырком, невнятицей споров, ожиданием. Пал густо снег, и холод его вошел в штаб к полдню третьего дня заснеженной поддевкой Макара. Старый Бражкин, сдержав себя, спокойно выслушал все. Трогая волосатой рукой висок, спросил бережно командира:

— В укоме партии были? Не догадались в уком! Пойдем, Олендир. И ты, Карачов, с нами: расскажешь там. Не бывать этому, потому Сергей коммунист и доброволец на фронте, не мог он такое сделать!

Снег падал и, оседая, вновь таял, пронизывая сыростью, скользкий.

Дорогой Макар заставил каптенармуса рассказать себе все, без утайки.

— С девкой был, — докладывал Карачов. — Сама льнула к нему. Альку вызову, подтвердит. Насилия не было. Первой ночью она, конечно: «Сереженька, ой-ой-ой!» Да кто же тому верить станет. Дело солдатское — срочное. Люди мы государственные. Характер — пали без осечек, на вольный лом полагайся. Если кто кого изнасиловал — так скорей же она. В Сергея вклевчилась, точно рак женского рода. Любого в штабу спроси...

— Видел Сергея потом? — старчески, точно от холода, ежился Бражкин.

— Не допускают и передач не берут. На правах контрика по строгости содержания. А за что, спрашивается? Парень — красавец, таких и белая пуля слепая щадить должна. Преступление против природы ломать такого безо всякой вины. Дух убили во мне его каверзным арестом.

Из дальнейших слов Карачова выяснилось, что Алька рассказывала про Надежду, будто с трибуналистом она до этого шилась. Его-то именно будто Сергей и двинул в грудь. Это который в кубанке с опушкой рыжего меха был. А она после ссоры с Сергеем с тоски оголтелой волчицей бегала. Теперь опять сошлась с этим из трибунала, сказывают.

— Эх, старик, расстреляют Сергея, чую шкурой солдатской, быт-ной. Успокоят его секретно и знать об этом не будем!

Макар беспомощно сунул руки в карманы поддевки. И заметил Артур, точно сразу похудел Макар, опустился в плечах и шею в себя втянул. Словно нагайкой ударили его по щекам — вдоль, в растяжку. Красными веками пронзительно взглянул Макар на Олендэра, но промолчал, точно разом утопил все известные слова в тине беспамятства.

Артур понял Макара. Понял, что в мире есть мысли, которыми можно мгновенно сжечь в человеке сердце, как сжигает короткое замыкание в проводах сердце электрической лампочки. Он осадил суровым взором каптенармуса, чтобы тот больше не каркал.

...В укоме отозвались сочувственно, с обычной там теплотой и вниманием. Срочно по телефону запросили трибунал: в чем обвиняется, в каком положении дело. Из трибунала с ревнивой конспиративностью ответил сухой занятый голос. Он ответил, что трибунал уезду не подчинен, что не даст трибунал дело на заключение укома, что, вообще, с укомом поговорить он непрочь и очень даже сочувствует и уважает... и там положили трубку.

— Возмутительно! — сказал растерянно укомовец Макару. — Мы, действительно, кажется, не можем требовать. Очень жаль, но... видишь, при таком положении нельзя. Конечно, мы с этим мириться не станем, выясним вопрос в центре. Нельзя, чтобы партийной организацией пренебрегали...

Олендэр вывел Макара из укома. Белую кожу его лица захлестнул неровный румянец, — может быть, от стыда, что не может помочь человеку, к которому до конца привязался. Не менее тягостно тревожило и положение Сергея.

Невнятно, вполголоса, рядом крыл прабабушек и богов каптенармус. Торопливо падал крутыми мокрыми хлопьями безучастный, точно навеки кем-то проверенный снег. Может быть, потому Макара сказал обреченно:

— Олендир, иди домой. И ты, Карачов. Идите домой, дорогие. А я пройду в трибунал, поговорю там, психологически, с ними. Не долго я, сейчас буду в штаб.

И он вспомнил про трибунал, про его огромный судилищный стол в зеленом сукне (красного нигде не смогли раздобыть). Вспомнил блестящие на носах вершителей, точно ледяные кусочки, пенснэ, за блеском которых никогда ничего не видно, за которыми даже он ничего не смог рассмотреть.

Высокие двери насквозь морозного под'езда по-чужому, просителем впустили первого своего председателя в здание. Он прошел по лестнице вверх. Он долго ждал. Потом, неожиданно вспомнив о порванном в уезде еще рукаве гимнастерки, достал у сторожихи иглу, принялся было сам зашивать. Сторожиха, высокая, щуплая, с отвислыми низко грудями, перехватила у него гимнастерку:

— Нешто и малость тебе, кормилец, не послужить. Мы, все-то служащие, помним тебя. Намедни во сне тебя с сыном видела, хороший ты наш! Не забываем, ни-ни! А нынче строгостно стало, не угодишь их придиркам. То стаканы к чаю им подавай, вместо кружек, то передник мой им претит — в заплатах и грязный, вишь. А где им взять того и другого?

— На допрос-то приводят его сюда? — замирая, спросил о сыне Макара.

— Раз'едный раз видела. Третий день его стерегу. Коржиков для него напекла. Передать хотела, не примают никак.

Голос ее был не женски хриплым, а глаза мягки и от одиночества, может, по-бабьи плакучи.

— Инструкции теперь, видать, получили... — горестно отозвался собственным мыслям Бражкин. — Простыла ты, бабка, видать. Не топят тут, что ли?

Он вернулся в штаб рассказать огорченно, что свидания не разрешили, не дали свидеться с сыном. И про суд — будет в скорости будто. Должно, в наказание на фронт отправят Сергея. Передачу, сказали, можно. Только, сказали, пусть в трибунал ее принесут. А из трибунала передадут-де, будьте покойны.

Олендэр и Карачов, точно по уговору, избегали глядеть Макару в глаза. В чаду волнения Макар того не заметил. Но Гордон — командир — уже знал: возвращаясь в штаб из укома, Карачов увидел и, тотчас же схватив Олендэра за руку, передал ему, что вон — впереди их идет молодчик из трибунальских служак в изящных, желтого хрома, приметных сапожках Сергея.

— И ремешки, видишь, — те ремешки! Сергеевы сапоги. К стенке встану, Сергеевы! Провалиться... — иступленно рычал каптенармус.

Сапоги несомненно, по описанию, были Сергеевы, и это значило, что его расстреляли. Или — расстреляют на-днях. Иначе кто бы решился стащить с него сапоги и откровенно форсить в них по городу.

Втроем с Гордоном товарищески постановили, щадя отцовские чувства:

— Макару не говорить. Не тревожить. Действовать сообща на выручку. Постараться выяснить достоверно, а главное, быстро.

Но по Гордону вышло, что кому-нибудь нужно все же срочно выметнуть помощь на левое побережье Волги. Восстание, точно вспышка чумы, день ото дня становилось яростней. Не топоры — икра свиная косила жидкие гарнизоны. Командование сообщало: «Повстанцы наладили собственное литье пуль. Положение нестерпимо». И оно официально распорядилось о немедленной высылке на повстанческий фронт отряда с тремя пулеметами.

— Мне ехать, — сказал Артур. — Понимаю, что ехать мне. Решай, Гордон. По-твоему будет. Выеду незамедлительно, если надо для дела.

— Знаю, о чем ты думаешь. Может, вправду так лучше бы. Для всех спокойнее так бы! — проник командир в мысли Олендэра.

Но тогда понял и Карачов и, подумав, решился высказать:

— Ни гвоздя я в оперативном деле не понимаю, — сторонкой вставил каптенармус, — а очень это приветствую. Пошли, Гордон, за Волгу Макара. Надежно, и человека ты от которых раздумий, избавишь. А Олендэру срочно в штаб Южного фронта, охлопотать. От лихой беды — порознь!

Покрутили, примерили и порешили на том.

Бражкина в штабе ждали армейцы. Трое из завербованных им в отряд на деревне с утра со скандалом спрашивали его. Теперь вновь явились, сказали, что не уйдут, покуда с ним не столкнутся. Но Гордон увел Макара в свой кабинет, заявив, что те подождут.

— Ну, комиссар, веселей, выше голову! — неуклюже расшутился Гордон. — Оперативное тебе задание. Бандитов поедешь бить.

Макар слова не проронил. Только сморщенное маленькое его лицо перекошилось от неожиданности приказа. В такой текущий момент, когда решается судьба его сына, — уехать!

Нащупывая красноватые, под цвет тела, волоски на носу, рвал их с корнем, может быть, чтобы сберечь, не выпалить вдруг слова раздражения от приказа. Потом, избегая взгляда Гордона, проговорил тихо:

— Так, сказываешь, Сергея послать хотел? Охотился парень. Ну-к что ж, и мне отлынивать не рука! Поеду, коль требуется. Только во время ли ты меня усылаешь? Поразмысли, Гордон, к часу ли это будет?

Гордону не то сказать хотелось бы, но совладел. Сковыривая на сохшую на карту Заволжья ржаную крошку, твердо закончил:

— Знаю о всем. Учитуваю. Завтра в ночь выезжай с назначенными, без проволочек. Сергеевых пулеметчиков отдаю тебе. Сорок штывков с ними в твое распоряжение отдаю...

— Не лучше ли бы Олендира, а? — еще раз попытался Бражкин. Захолонуло в груди, все вспомнил, родинку на щеке чуть ли не до крови от волнения разодрал. И снова спрятал глаза от Гордона.

— Олендэр нужен мне тут. Командование торопит. Выезжай, как указано! — подтвердил Гордон окончательно.

— Карачов каркает, что расстреляют мово Сергуньку, — сказал Макар, но сказал уже не Гордону, а в пустоту, себе будто бы. — Мне мстят они за уход мой, что с ними рядом сидеть не желаю. С них станется. За девкин шобон задрипанный отменного ухияют у власти бойца. Психологически, что мстят мне они... Но слышь, Гордон! Оставляю сына тебе. Один сын у меня. Усылаешь — тебе оставляю сына, Гордон. Выручай для молодой свободы бойца. Невиновен он. Надо мной изгиляются через сына...

И, не владея собой, старик повернулся, вышел, чтобы не дать Гордону заметить, как распускается старческая кожа его лица, влажнеют углы в воспаленных от огорчения глазах.

Он вышел, не слыша, как Гордон прокричал ему вслед, что примет все меры, что он, Гордон, не допустит, расшибется за это вдребезги... Но Макар уже скрылся за дверью.

— Кто меня ждал, где они? — спросил он в приемной штаба, глядя глазами невидящими на Карачова и странно перебирая пальцами трясущихся рук.

Карачов озабоченно хлопнул дверью и тотчас вернулся с армейцами. Те втроем наскочили на старика. Причина их криков рассмешила сотрудников, но трое не унимались, пылко гнули свое:

— Нешто это оmundировка? Гнилье, а не гимнастерку дают.

— Так что ко всем чертям! Штаны на приюрт на детский пожертвуйте. Срамота солдату в таких. Пришей гуде к бороде!

— Слобода, мать.ее дых. Сражайся в такой мешковине.

Макар вспомнил их, с трудом разобрал в чем дело. Он подошел к одному вплотную, пощупал его гимнастерку, потянул на разрыв. Прделал медленно то же со штанами второго. Для чего-то потрогал выцветшие его обмотки. Потом, обойдя их кругом так, что и они, недоумевая повертывались вслед за ним, отдельно взглянул на третьего, что помалкивал в стороне, и сказал:

— Не в том у вас, голуби, дело. Свободе служить, психологически, не хотите.

И учащенно заморгал еще не остывшими веками, точно что-то припоминая еще.

Те, перетаптываясь с ноги на ногу, сосредоточенно помолчали.

— Ну-к что ж! И служить не хотим, может. Не барщина! — вдруг рассердясь, огрызнулся жалобщик на гимнастерку. — Не барщина, говорю! — почесал он, грозно тараща глаза, обветренную щеку возле уха.

— По домам желательно, может. Как добровольцев! — истово поддакнул другой. — Нет правов у вас добровольцев задерживать.

— Ах ты, бучило гороховый! — закричал Макар на последнего, более бойкого. — Барбалан! Скидавай к ветрам казенные сапоги, катись на печку, в бабу будешь стрелять на печи. Доброволец ты на народную кашу!

Они не ждали такого разлета. Попятились от внезапности и, — кто знает, — может, сапоги пожалели новые. Старый Макар был грозен. В нем в ту минуту другое, быть может, пробилося яростным криком на них:

— Скидавай, говорю, народные сапоги! Все шобоны, что получил, скидавай! Без вас у нас на ладную душу управится!

Он повернулся круто от них, показав им со спины обвислые сборы нескиданной своей поддевки. Недовольники зашептались конспиративно.

Один из них, смаху брякнув о пол довоенной формы папаху, сочувственно прокричал комиссару:

— Так что ты извини, товарищ. Не с руки нам, выходит, теперь домой. Ошибка вышла, в роде затмения солнца. Эк, в какое расстройство занапрасно тебя ввели...—и, повернув круто плечи, вышли втроем виновато и умирненно.

Так прошел день. Макару в ночь не спалось. Силился размотать спутанную паутину мыслей: почему именно его усылает Гордон в Заволжье. И о Сергее... А с утра вскружился хлопотами по сбору отряда.

Искал Макар начальника пулеметной команды — проститься: Никто, кроме Гордона, не знал, куда он запропастился, как запропастился и Карачов.

Гордон лично сборами распоряжался. Отбыл с бойцами Макар поздним вечером на пароме. По густой и темной, точно деготь, реке плыли кусками сала нетающие шматки снега. Дул низовой, коробящий воду ветер. Над горизонтом одноглазо сверлилась, — не для Сергея ли приготовленной пулей, — звезда. Только и было бойцам веселья, что перед пристанью, топча слякотный снег, помитинговали с докладчиком от укома, покричали громко «ура»! Макар пожал крепко руку Гордона, и вновь о Сергее и об Олендэре забеспокоился. Гордон развязал язык, успокоил дружеским шопотом:

— В уезд материалы собрать усил я Олендэра. За Сергея особенно не тревожься. Приедет Олендэр — пошлю его в штаб Южного фронта. Бублики выпечем из трибунальцев. На этот счет и с укомом уже связались.

О желтого хрома Сергеевых сапогах ни намек. По уговору с теми двумя, чтоб не тревожить. И, возвращаясь к себе, голову вновь домал, как бы Сергея выручить. Самого коггисто скребло за него.

Макар стоял у кормы парома. Уже в мраке сквозь запахи сена, сырого снега, пота людей и коней слушал бушующую, взмываемую винтом баркаса воду и сомневался в правильности всего—своего ухода из трибунала, посылки в Заволжье, связанности в трибунальских делах укома.

Горько, как никогда до того, было старому. Потому что чужими людьми, может быть, вот в эту минуту, решается там сиротливая участь молодой, единственно дорогой ему жизни...

Веселей себя чувствовал в такой час бездонной тоски Макаровой Карачов. Веселостью беспримерной целиком обязан был рыжеволосой подруге — Альке. Эта она, точно кладом его одарила, — привела на свидание с каптенармусом давнего своего ухажера, одного из дежурных комендантов концлагеря трибунала.

— Чего ж ты мне раньше о нем молчала! — удивлялся каптенармус, обрадованно потирая ладони. — Давно бы нас познакомиться надо. Да мы с ним такое ли дело теперь сварганим!

Коротко шепотком обо всем условились. Вдобавок, еще раз, — смачно целуя подругу и заранее предвкушая потеху, — подбодрил:

— Так не забудь: Фараонов — моя фамилия. Фараонов, запомни! Да смотри, не сбивайся, не то погубишь ты всю затею. Пропадать Сергею тогда...

Теперь Алька сидела на пухлом колене каптенармуса, не по всегдашнему взбалмошная, с пылающими, точно спелые помидоры, щеками. Но внимание ее летело стремительней пули к другому, к тому. Высокий, жилистый, угловатый, точно насаженный на что-то зигзагообразное, сидя напротив Альки, комендант с достоинством разглаживал коротко, по-модному подстриженные усы. С неменьшим достоинством выжидающе поглядывал он на Альку, впивая с тайной жадностью сладкие ее взоры.

Карачов, самонадеянно рассчитывая на успех, беззастенчиво сыпал слова, с азартом вошедшего в роль артиста. Алька с трудом удерживалась чтобы не взглянуть на него, пораженно вытаращив глаза.

Не напрасно диковинной изворотливости каптенармуса удалось обставить час этот неожиданной роскошью яств. Но кроме жареной на сливочном курицы, холодной телятины и кружочков помрачительной для этих лет ливерной колбасы, было тут кое-что во сто крат заманчивей и интересней.

Последнее не могло бы сравняться и с тщательно запрятанной внизу, под скатертью шаткого стола, бутылкой чистого спирта. На что только не была способна кулинарная виртуозность Карачова! Комендант мог сегодня пиршествовать, как ему и не снилось. Но, вдобавок, его ждал в этой скромной, в полинялых обоях, комнате Альки поистине достойное вознаграждение за ожидаемую от него мелочную услугу.

— Вот какие, друг-товарищ, события, — таинственно сообщал Карачов, распахивая ворот туговатой у кадыка гимнастерки. — Гордона нашего Южфронт председателем вашего трибунала становится. Отказывался даже Гордон, а пришлось согласиться. Потому военное положение дисциплины. Родную тетку на макароны изрежешь и с'ешь! Непорядки у трибуналистов ваших сыскали...

— Правильно, о непорядках слышно у нас. Коммуниста какого-то видного, говорят, невзначай расстреляли, — поддакивал комендант. — И от крестьян, слышать, много жалоб. Что верно, то правильно. А на счет Гордона не слышал. И фамилию эдакую не знаю...

— От событий, дорогой товарищ, отстали! — укоризненно шурился Карачов и подмигивал незаметно подруге. — Впрочем, кушайте. Разрешите добавить в стаканчик и чокнуться. Гордон по всему фронту известностью прогремел. Дивизию белых на нашу сторону с'агитировал собственноручно. Вот он какой!

И Алька в тон Карачову, по-кошачьи мурлыкая:

— Такой он даже герой из себя, не поверите. Прямо французик, несмотря на то, что из немцев. Удивительно вежливый и ручку так пожимает...

Карачов от жары гимнастерку с себя, остался в тельной рубашке. Предупредительно хмелеющему гостю стопку за стопкой:

— Кушайте, выпивайте. Мало будет, найдется еще. Так-с! А здорово Гордон за расстрел Бражкина рассердился. Видали мы... Бражкина сапоги на вашем трибуналисте. Вступит в должность, быть у стенки того за сапоги поставит Гордон. И не его одного, смекайте.

— Не расстрелян Бражкин еще, — простодушно уверял комендант и невольно глазами, сдобренными хмелем четвертой стопки горячего, тонул в золоте Алькиных по-осеннему пышных волос. — Поверьте мне, гражданин Фараонов, не расстрелян ваш Бражкин. Но не скрою, слышать, приговор есть уже. И может, не сегодня, так завтра утрышком: чик-чирик, да-с!

Алька была наверняка, как охотник токующего до слепоты глухаря. Недаром ранее от Карачова знакомство это скрывала. И не пошел бы сюда комендант, если бы Алька не поманила в ударном порядке, как надо. Давно с грустинкой желая Альку ждал. Уверял, что во сне даже видит и истекает жадной мгновения. Она была сегодня в ударе. Блистательная, опьяняющая, уже рядом с ним сидела и щебетала она. И с каждой стопкой пододвигалась все ближе, все опьянительнее бередила взорами, обвораживала, затягивая коменданта узлами, заранее начертанными Карачовым.

— Ах, Сереженьку! Как же так расстрелять? И как вы, такой красавчик, расстреливаете, когда я вас целовать хочу. Я, может, и навсегда быть вашей желаю...

— Простите, а как же вы с товарищем Фараоновым обойдетесь, который друг вашего сердца? — с подчеркнутой вежливостью соображал вслух комендант, от радости не решаясь этому верить. — Извиняюсь, но как очень он уважаемый, желательно-с, но не могу-с. А что вы нравитесь и жизнь свою променял бы, без спору, давно о том заявлял и от вашего друга не скрою. Но не против товарища, да-с!

— Нет, вы мне про Бражкина, — подводил к своему Карачов. — Берите ливерной, замечательная! Очень Гордон за Сергея сильно тревожится, а я за начальство, поверьте, чахну. И потому, как будет Гордон председателем, аж мне страшно, товарищ, за вас по дружбе нашей. Предупреждаю, как вы причастны... Прошу поразмыслить...

И Карачов недремлюще подливал и подсовывал в меру экономно закуски, украдкой меняя с его выпитой стопкой нетронутую свою.

— Чахну очень я за начальство. Поверьте, Аленьке стал не рад от эдакой грусти Гордона. Желательно если, — не упускайте момента, от души вам скажу. Целиком отступиться могу от Аленьки, но в подтверждение слов... покажите глазам Сергея. Чтоб успокоиться собственноручно и Гордону правду сказать! Недели не минет, начальство новое будете принимать. Соглашаетесь?

Не дремала и Алька:

— Согласись, очень красавчик вы. Чего за меня раздумывать, голубчик! Пусть лошадь думает, у нее голова большая.

Карачов, не упуская раскаленного Алькой мига, равнодушно, сквозь папироску, пых-пых:

— Целуйтесь, я отвернусь! А не то, иди, Алечок мой, обратно. За три дня ни бо-весь что делается. А там по-своему мы. Кого не любо — на фронтовую, Краснову на завтрак свинцовый.

Поцелуй Альки выручил. К тому же раздумывать было некогда, через час коменданту дежурить. Безоговорочно на все согласился, закатив блаженно глаза и вновь подставляя в коротких колючих усиках губы. Чокнулись тремя стаканами, разменяли остатки. В довершение Карачов, не помня себя от восторга, раздул меха гармоники — широкой, саратовской, с колокольцами:

— Назначайте, что вашей душе угодно. Любите музыку? Вжарю!

— Как черт из неводи шел! Или нет... Сыграйте мне «Яблочко».

Комендант, не отпуская Альку с колен, кашляя и задыхаясь от предвкушения близких усад, тонул в омутах Алькиных глаз, благо так дешево они ему доставались...

Достать еще полбутылку спирта и влить ее в комендантово настроение стоило Карачову новых усилий. Но он с честью справился с этим, потому что потребовалось. Комендант оказался крепким, а главное было еще впереди.

Сергей, исхудалый, истомленный отсидкой, не без испуга встретил распоряжение коменданта — немедленно выйти с ним за ворота лагеря. В такую темь, в поздний час такой! Кому он мог бы понадобиться, какому внезапному допросу трибунальского следователя?

Или...

— Вот он, конец! — обожгло раскаленной дробинкой мозг, остро и обреченно проштопорило по телу. И он весь заломился от предожидания расстанного мгновения жизни. Во дворе темнеющим взглядом поймал падающую в небе звезду, — измерзлую, покинутую, одичалую, как его последний здесь день.

Комендант в сладостном опьянении жонглировал плавающими в глазах кругами. Он еле справлялся с непослушной веселостью длинных несуразно ног. У ворот Сергею пришлось бережно его поддержать, чтобы не упал бедняга. Это слегка развеселило Сергея. Он был полон неукротимой молодости, нельзя ручаться, не улыбнулся ли бы он смешному и под взведенным курком нагана?

Не взвидя света от радости, Карачов метнулся к товарищу. Под коварным маневром поцелуя шепнул, так ткнув Сергея под ложечку, что того точно пробкой закупорило, едва сумел отдышаться:

— Пуля — не пуля, бежать! Не проморгай мига!..

И почувствовал, как Сергей от такого известия, точно рыба в садке, забился в лихорадочной дрожи всем телом.

Он не смел и мечтать об избавлении этим путем. Но размышлять было некогда, отступить невозможно.

Алька усиленно в этот момент окручивала коменданта. У ворот бесстрастно и мерно отсчитывал определенные ему шаги часовой, поблескивая узкой льдинкой штыка на фонарном тусклом свете.

Тут-то и оказалось, что полбутылка была в самый раз, точно пресловутый насморк Наполеона, ибо бежать в открытую на виду у часового было бы так же бессмысленно, как на охоте травить канарейкой волка.

— Видишь ли, друг дорогой...—непринужденно, с досужестью на лице, сплюнул на носок комендантова сапога Карачов. — Срочно простите изменение обстоятельств. Мать Сергея тут в городе... проститься приехала по извещению. Придется, думаю, урегулировать, а?

Втроем до пота и отемени в глазах вкрадчивым шопотом уламывали Алькиного поклонника. И всех искусительнее, всех ретивей она — вкрадчивая, обольстительная, пламенно отдающаяся глазами.

Бормоча невнятно бессмыслицы, вращая зрачками, замыслового вырисовывая в воздухе иероглифы, наконец, согласился. Только... чтоб самому присутствовать, непременно-с! не допустить... без обмана! Не сорвалось бы, или бы чего не вышло б... И, нещадно икая, щеку до синя бритую — Альке для поцелуя. Ибо — это была поистине величественная жертва любви.

...В темном, наудачу выбранном переулке, за добрый десяток кварталов от лагеря бережно усадил Карачов Альку и коменданта. Усадил на скамеечку возле приземистого в темноте дома...

Тут в доме и должно было состояться «прощание».

Покуда что — Алька нежно, умеючи, приголубила искателя ее сердца. Нашептывая несбыточное еще вчера, а теперь такое возможное, гладила мокрые его губы, шевелила волосы на висках, удобнее укладывала на скамейку млеющее его тело. И вот уже — тихое, точно журчание, как у ребенка в час радостной грезы, посапывание и сон.

Карачов увлек Сергея задворком дома в поперечный проулок, оттуда по закоулкам — в казарму отряда. Спешно снабдил там Сергея шинелью, наганом, новыми сапогами. Сергей смеялся, целовал капте-нармуса, прибежавшую Альку. Торопливо набил вещею широкий мешок бельем, мылом, махоркой, консервами.

‘ Он удачно с первым кинжальным лучом рассвета укатил в эшелоне воинском за Балашов, на линию фронта. У вагона настойчиво звал с собой Карачова, потому что, как ему теперь оставаться тут — самому под расстрел, к ногтю, к стенке, если останется. Но Карачов лукаво, успокаивающе улыбался:

— Не бойся, за Волгу к твоему отцу умахну. А фамилию мою не того... не знает он. Египетскую фамилию для себя сочинил. И Аленьку спрячем, где следует. Не разыщут...

В трибунале на другой же день забили тревогу, зарыскали по горячим следам.

В штаб отряда в девять часов утра, уверенно насвистывая «Варшавянку», явился уполномоченный трибунала. Он потребовал безотлагательно разыскать и представить к нему Гордона.

Командира вызвали из казармы.

Испытующим взором пронизал его тот, не сомневаясь в том, что Гордон «участвовал в деле». Тараша недоуменно глаза, Гордон выслушал новость. Кровь бросилась ему в щеки. С трудом овладев собой, категорически заявил:

— Удивительно. Заверяю вас, возмущен, как и вы. Строго расследую. Но сейчас никаких объяснений, даже догадок представить вам не сумею...

Через десять минут уполномоченный, подозрительно прощаясь, закончил:

— Срочно направьте в трибунал полный список отряда. С арестованным комендантом всему отряду очную ставку устроим. Заранее знаем, что наглец обманул, но, если есть у вас кто под фамилией Фараонов, немедленно арестовать и препроводить под конвоем к нам.

— Будет исполнено, заверяю вас! — обещал Гордон почти искренне. — Я сам не могу потерпеть в отряде... но верите ль...

Гордону было не по себе. Впрочем, догадывался, но предпочел о догадках трибуналисту ни звука. Догадка рыбкой плескалась в сторону Карачова, но... еще утром вчерашним Гордон услал Карачова в уезд раздобыть картофеля для отряда.

Весьма огорчаться неведением Гордону не приходилось. Этим и честь отряда не подрывалась и Сергей на свободе был, Список трибуналу препроводил и на том успокоился.

Еще через день Карачов доставил отряду картофель. Он коротко поговорил с командиром, обходя коварным молчанием прочее, втайне уверенный, что тот все знает:

— Так и так. К Макару послать кого не надумаешь ли? Очень вольготным воздухом дыхнуть мне охота, — предложил он, игриво вперив глаза в потолок, словно впервые разглядывая на нем копоть.

— Хорошо, что напомнил! — ухватился с живостью неоправданной командир. — Поезжай, через двадцать минут получишь срочный пакет.

И добавил, точно оправдываясь перед собой, не глядя в глаза Карачову:

— Ты смотри... за доставку пакета ответишь. Ступай!

Карачов с притворным усердием обещал приказание выполнить безупречно. И улыбнулся коварной строгости командира.

Экспедиция удалась Карачову, как заправскому секретной почты фельд'егерю. Он застиг Макара с вверенной ему частью в повстанческой слободе, только что отбитой у дезертирской налетной стаи. Макар, утомленный большим перегоном, готовился с людьми отдыхать. Встревожено разорвав пакет, прочел записку короткую, — нахмурился, подняв глаза на гонца:

— В чем дело, не понимаю! О тебе пишет, чтобы попрिдержал гебя тут покуда.

Карачов, по-озорному свистнув и подмигнув, успокаивающе пояснил:

— Поссорился с ним я, старик. Видеть меня не хочет. В ссылку в роде послал к тебе, вместо Сибири...

Долго раздумывал, рассказать ли про Сергеево бегство. И, не вытерпев, ляпнул, точно вдруг выложил забытую всеми полтину старой чеканки:

— Слышь, Макар! А Сергей-то, свисти в поле ветер Сергей-то! Ноги на плечи и пошел, догоняй...

От неожиданности будто на-двое переломило Макара. Взвел зрачки онемелые на каптенармуса, шевельнул рыжей щетиной усов, да так и застыл. Рука машинально письмо Гордона с пакетом судорожно в комок. Даже Карачов от испуга за него смолк. И стало слышно, как за окном словами старинной песни запричитала стригущая овцу девка:

Ты раскинула печаль
по плечам,
Распустила сухоту
по животу...

— Вот оно как! — не своим голосом разбередил тишину Макара. — Бежал! Сергей бежал, сказываешь? Вот оно как!

— Не рад, что ли? — внезапно взбеленился по-настоящему Карачов. Вскочил, не в шутку тряхнул плечи Макара со злобой:

— Не рад, что ли, песочница старая? Говори!..

У Макара дыхание остановилось. Запрокинулся головой и неожиданно силу свою показал — двинул вдруг Карачова, с ног не сбил его малость. И вслед, вскочив, бросился на него озверело:

— Как убег? Кто бежать пособлял! Наганом всех перехлопаю, подлецы! Контры против закона строить! Нет моего вам в жизни прощенья... — И он, задыхаясь, осекся.

Каптенармус, не теряясь, ухмыльнулся прыти Макара, но заговорил тоном пониже:

— Не о помощи ему речь. Где забор — там и вор, где калитка — там и прятко. Побереги свои пули кому другому. Пожрать бы лучше дал человеку приезжему. И собачий живот без еды не живет.

А Макара, морща брови и губы, уже прорывался отцовской тревогой и, рассудку наперекор, — неведомой до того радостью. Сергей, что живой, перед глазами стоял, — руки сыновние, с розовыми от молодости пальцами отцу протягивал, будто здороваясь. Не смел сказать Карачову, но гнев — чувствовал — не получался таким, как хотелось. Точно хотел и не мог ударить, обоих, а надо!

В тоске, в мечущемся за Сергея страхе беззвучно кричал пересыхающими губами:

— Догонят, догонят его. Растреляют! Теперь непременно догонят и расстреляют его...

И вновь Карачов безмятежно, сквозь улыбку невозмутимости:

— Беглому дорога одна, а погонщику сто выбирать. Покуда дорогу выберет — Сергей куда надо и смоеется... Посвистят, да забудут!

На том и случилось. Точно отрезало. Только когда поймал себя Макара, что в избе он один, — встал, вцепился в рыжую неразбериху волос, сдавил голову и, сморщив лицо, по-звериному, полнотой существа промычал не в радость, не в боль:

— Сережка, сукин ты сын! Жив ты, жив ты, Сережка!

...Так еще дня четыре. По хуторам, по селам бунтарским. И вот уже кругом тишина, замолкли армейские выстрелы и бандитское глухое по черепам тыпанье топоров. Вожак бунтарей —

— Против разверстки!

— Против коммуни!

— За советскую власть! —

загнанный мужиками на колокольню приходской церкви, с тоски и страха перед суровой расправой сбросился вниз головой на камень паперти.

Макар ждал приказа Гордона. Но дождался Макар другого, неожиданного, удивленья достойного. Он впервые за эти дни засмеялся, протягивая недоумевающему каптенармусу полученные от Гордона бумаги.

— Ну, Карачун, Ванька-встанька, или бирюльки аглицкие! читай-ка вслух, да вникай! Вот она власть советская, попляши!

От Гордона было: срочно вернуться с отрядом, в виду окончания экспедиции. Писал, что отряд достиг шестисот боевых единиц. Что вскоре отряд выезжает в Саратов и оттуда на фронт. И еще: результаты поездки Олендэра:

«В виду многочисленных, подтвержденных расследованием жалоб на неправильные действия трибунальцев, несрабатанности трибунальцев с укомом и прочее, — состав трибунала снят приказом штаба с работы и призван к ответу. Тебе, Макар, поручено сформировать вновь коллегия трибунала под руководством укома. Незамедлительно выезжай, чтобы вернуться на пост председателя ревтрибунала. Предписано в недельный срок выслать штабу на утверждение биографии вновь намеченных кандидатов в коллегия и срочно приступить к работе. О Сергее, надеюсь, все, что надо, от Карачова узнал.»

Вторая бумага — подлинный за печатями и подписями приказ, и внизу: «Согласован с коллегией Верховного Трибунала».

— Участь твоя такая! — скрыл улыбку каптенармус. — Но, старик, заявляю — не пошел бы к тебе работать. Злоботен больно. Готов со зла стрелять и в козла. А впрочем, по делу такому выпить бы, старик, надо!

— Врешь, и сам не веришь тому! — отмахнулся мягко Макар, но жесткая легла складка у губ, точно затаил в себе что-то старый...

В городе, сдав отчет экспедиции и дела отряда Гордону, суетливо забеспокоился об Олендэре. Тот в ударном порядке, обычном для того суматошного времени, облавами волчьими изымал дезертиров из лесов, оврагов и деревень.

— Где он? Вышлите мне его поскорее. Нужен он мне. Пошли за ним вестового, Гордон! — торопил неистово Бражкин.

И когда остался с досрочно вызванным Олендэром с глазу на глаз, взволнованно заторопился, ухватив латыша за плечи, строго глядя ему в глаза:

— Олендир, правду отрежь! О побеге Сергея знают?

Про штаб Южного фронта спрашивал. Артур льянные волосы

с тонкого лба взерошил, прищурился на Макара, дожевывая кусок холодной телятины.

— Брось, комиссар! О чем речь? Твоей честности в штабе верят. Поступай и вперед, как говорил нам: психологически и примеряясь к себе.

— Так и будет, Олендир. Другое хочу сказать. Пойдем со мной судить, Олендир! Поездил с тобой, присмотрелся и, вот как в тебе уверен! Не в пример Сергею — разумный, прямой души человек.

Боялся, не согласится Олендэр. Оно так бы и вышло, Гордон выручил. От Сергея письмо Гордон получил. Просился Сергей в отряд, когда Гордон на фронт выступит. Гордон Макару:

— Согласен, Олендэра я отпущу. Сергей с работой по пулеметной команде, надеюсь, справится. Жалко Олендэра, но для тебя, Макар, отпущу.

И тут, но по душе себе, слукавил Макар, но на то мысль затаенную сберегал.

— Выписывай поскорее Сергея! — взвел он глаза на Гордона. — Сколь времени не выдалось! Да и нужен мне Сергей мой по делу.

Трибунал разбирался спешно в оставленных прежним составом делах. Бражкин, Олендэр, третий — укомовец, машинист с мельницы паровой. Третий этот, в злой час, и наткнулся на дело № 713

СЕРГЕЯ БРАЖКИНА.

о б изнасиловании и сопротивлении власти

и

О ПОБЕГЕ.

Последнее — наискось, красным карандашом размашисто по всему. Кроме того, на внутренней стороне папки, ровно ненароком, зелеными чернилами в уголке:

«Это Макара Бражнина сын, который от нас ушел самовольно, не желая с нами сработаться».

— Про твоего сына, Макар, — сунул укомовец председателю.

У Макара холодный слизняк заерзал по донышку сердца. Но вида не подал, даже будто обрадовался, — первым делом в очередь записал. Прочел его, дал прочитать Олендэру. И после на заседании истово заявил:

— Судить буду. За побег судить буду. Завтра, должно, прибудет Сергей. Строго буду судить, без послаблений, по всей моей совести.

Олендэр враз почувствовал — задурил Макар, не свернуть! Занозой жгущей вошло в старика. Удовлетворение чувству дать было нужно. Зато, взглянув на укомовца, обрадованно осознал: «вдвоем с этим справимся, объясню ему все, обломаем Макара...». И затаил до времени, чтобы не лез Макар на рожон.

Комендант, злосчастный искатель Альки, томился под арестом в лагере. В бумагах рапортов и теперь на допросе показывал:

— Ее звали Алькой. Глазастая, рыжеволосая, прямо ястреб. А прикидывалась, актриска, малиновкой. Ребенка хочу от тебя, говорила. А он — оператор главный — Фараоновым рекомендовался. Товарищем Фараоновым, да-с. Пьян был, но помню отменно — натуральный такой человек: рослый, пухлый, английский пробор. Все смеется и маслом сливочным стелется...

— Карачун! — пряником отрезал новым трибуналистам Макар. — С него и начнем.

Сына видеть не пожелал. Едва приехал, отдал приказ — в лагерь срочно упрятать. На поруки Гордону не дал. С Олендэром из-за того поругался. Тот и хохот в ход, и ругань в пристяжку, — не помогло. Рассадить приказал по камерам в одиночки. Только Альку — с трудом уломали — в общую женскую распорядился перевести.

— Безобразничаешь! — защищал их Олендэр. — Нельзя так, Макар, какой это к чорту побег? Тут чорт знает дело какое было.

— Знаю, если так разбирать все побеги, судить бы некого было. Замучился совестью из-за них. Не протухнут, наука!

— Да не за что, комиссар! — пускался тот во все об'яснения. — Ну, расстреляли бы Сергея. Польза тебе? Комаринского бы заплясал, что ли? Слышал, комендант показывает, — уже в лагере слухи были что расстреляют. Может быть, одним только днем и предупредили.

Макар гнул свое, точно разогнанный под уклон горы конь:

— Молчи! Не трожь мою психологию. Хуже освирепею. Побег ничем не замажешь. Пускай потом жалобу подадут, в центре лучше нашего знают.

Гордон приехал ругаться. На уговор свой ссылался, нельзя уговора ломать:

— Отберу Олендэра, — угрожал, — знаешь, что прочил Сергея начальником пулеметной команды. Тому и быть, без того и Олендэра не отпустил бы. Сам говорил: бойца «ухилияют» у власти.

— Суд решит, — упорствовал Бражкин. — А ты, Гордон, заявление напиши. Да мучить меня перестаньте. Пропиши все о поведении Сергея в отряде. Может, зачтется ему хорошее.

В ночь перед судом Макар и двух часов не соснул. В жарко нагретой комнате трибунальского общежития замерзал в лихорадке волнения. Булга, напряженность последних дней ртутью стремили тело, не давая ему успокоиться, отдохнуть.

Зашел Олендэр, перекусить принес кое-что. Макар к еде не притронулся. Взгляда Олендэра избегал. Молчал, уставясь в окна.

— Чего ты хочешь, что ты задумал? — в упор гвоздем поставил вопрос Олендэр. — Знать хочу наперед, чтобы крепче с тобой расправиться.

— Военному за побег... расстрел положен, Олендир! — ответил круто ссохшимся горлом Бражкин. — Тут не я, закон без околичностей говорит. А Карачун и эта — на принудиловку их. И коменданта на принудиловку. Без пристрастия...

— Это посмотрим еще! — расхохотался в ответ Олендэр. — Меня Г'ордон за Сергея ухлопает. Ишь какой Тарас Бульба об'явился. сына стрелять! у того их двое заготовлено было, а у тебя догадки на двух нехватило. Не прокидать бы, смотри, такими кусками. Больно жирно будет, Макар!

И едва Олендэр ушел, ломотой ревматика, ноющей зубной болью взмучило — увидаться с Сергеем. Преодолевая усталость и зверски четкий рассудок, вышел на улицу. Хорошо охватило морозом. Хрустнуло под ногами, бодростью ударило в мозг. Крадя шаг за шагом у издыхающего негодования на Сергея, у желания до конца устоять, двинулся по направлению к лагерю. И дошел до него.

Не веря себе, переговорив с часовым у ворот, вошел в караульное помещение. И тут только, забывая слова, очнулся, спросил, точно и шел за этим:

— Как, товарищ, в порядке у вас тут... или тово...

— Так точно, в полной управности! — весело, во весь рот улыбаясь, отчеканил дежурный. — Так что тут Карачов который, тот, действительно, не в порядке. Песни с утра до ночи орет и анекдоты через глазок вжаривает дежурящим. Сладу с ним нет.

Макар улыбнулся бездумно, но вышла улыбка давней, скудной, точно хлеб несоленый и жесткий.

...Бывает изредка с каждым такое. Оторвет себя человек от родного, привычного с детства, плутает не по своим делам по широким трактам отчизны и вдруг, опомнясь, поймает себя в тараканьем каком-нибудь закоулке. И странно человеку станет, и, может быть, грустно, потому что никогда не предполагал он застать себя тут.

Макар не виделся с сыном со времени ухода Сергея на фронт. Потом несколько мучительных месяцев Макар не знал и того, жив ли Сергей в плену, не расстрелян ли белогвардейцами? И вот — здесь — наступил час свидания. Не о такой встрече с сыном мечтал Макар все это время...

Думать ли, нет ли, но в смраде и сырости насквозь прокуренной лагерной караулки, — что-то в роде итога нескончаемых тяжких дней разлуки с Сергеем. Глыбами льда встали они между ним и Сергеем. смочь ли Макару взглянуть через них на дорогое, давно потерянное лицо.

Сын, которым заслуженно он гордился, заключен в одиночку карательного застенка, на ряду с дезертирами и отребьями буржуазии. Сын Бражкина, кровный Макара сын, бежал от поставленного центральной властью суда. Не подсудимому, не ему решать, хороши или плохи судьи. Судят народ и свобода. Не все равно — бежать от красновского плена или от суда революции.

В раздумьи протекла густым клеем нерешительности минута. В следующую Макар направился к выходу, теребя карманы поддевки, словно разрывая на руках кандалы. Дежурный, озадаченный молчанием председателя, предупредительно распахнул перед ним дверь наружу.

Макар не заметил этого.

Он остановился у порога под натиском нового приступа тоски по сыну. Можно было подумать, что он испугался ворвавшегося в двери пара, грузным стадом баранов метнувшегося ему под ноги. Не показалось ли ему, что стадо ворвалось обывательски радоваться бессилью, с которым он явился сюда. Не их ли бляение адским маршем рвет ему слух, не дает успокоиться опустошенному стариковскому сердцу:

— Сына будешь судить? — бе-бе-бе! Наблюдил он, охальник, с девочками, а потом — шкодливец — зайцем под куст. Подпоил кого надо и утек, храбрец, от суда. Прикрывай сыночка, Макар! С тебя не спросится. Человек ты необразованный, из мужиков революции, бе-бе-бе! Военных уставов не знаешь...

Макар не ушел. Он повернул себя круто, словно ударом в плечо рукоятью оружия. Шагами твердыми подошел он к столу, вперив глаза в большую, чахлую, точно охваченную малярией, лампу. Потом приказал не в привычку решительно:

— Из девятнадцатой одиночки Сергея Бражкина...

— Сюда привести? — подхватил, взломив брови, дежурный, радуясь прерванной этим скуке томительного дежурства.

— Да, сюда приведешь. Не объясняй ему, что я ожидаю. Скажи — требуют, — подчеркнул последнюю фразу Макар. — Винтовку в руки возьми, правил не знаешь, что ли?

Сказал и вспомнил, как сам четыре года назад впервые взял в руки винтовку, мобилизованный, за возрастом лет, на караульную тыловую службу. Тогда она вызвала в нем тягостное ощущение топора, которым непременно кого-то нужно рубить.

Дежурный замаялся, украдкой взглядывая на Макара и свертывая цыгарку, чтобы занять как-нибудь время.

— ...Так что, товарищ Бражкин, — подумав, решился высказать он, — напугаться он дюже может. Потому как пора не в шутку ночная. У нас завсегда арестованные, коли ночью зовут, пугаются. От шершавого времени, в роде...

Макар промолчал. Дежурный брякнул о пол прикладом винтовки, но этим из раздумья Макара не вывел. Тогда, прикурив от лампы, он вышел, недоуменно бурча под нос:

— Вот ведь... сына утробного. Кому сказать со сна не поверят, право!

...Сергей еще издали, из коридора, разглядел отца в силуэте сутулящегося у стола человека. Когда по приказу Макара его вновь засадили в лагерь, Сергей от внезапности поверил этому лишь в половину:

— Куражится, блажит старый. Курам на смех такое! — беззастенчиво плевался он в камере, ожидая вызова к отцу.

Но Сергея не вызывали. К нему заглянул Олендэр с укомовцем. Допросили, ободрили, обещали срочно закончить дело. Сергей узнал от Олендэра: о первом деле — нет речи, Макар гневается за побег. Биновница всей бузы скрылась. Дело об изнасиловании прекращено.

— Так чорта ли нужно ему? Не от него убежал! — возмущался Бражкин. — Пусть придет, застрелит — не моргну перед ним. А от прочих мне умирать не охота. Боец, я или не боец? Не пойму я этого. Тут и на паре быков без бутылки не разобраться.

Не до конца разбирался в этом всем и Макар. Шаги заставили его обернуться. Он увидел сзади Сергея дежурного. Лицо дежурного расплывалось в улыбке, точно он приготовился немедленно их примирить. Высокая тень Сергея сломилась сзади него у верха стены, распласталась по потолку, будто оттуда ей было удобней по-сыновнему облапить отца. Но этого не позволили сделать Сергею ни поза Макара, ни его угрюмо нахмуренный лоб.

— Советскую власть, беглец, позабыл! За тем ли из плена от белой пули убегаешь? О чем ты помнишь? — вскричал внезапно Макар сорванным голосом и сам себе удивился. Не эти слова готовил.

Скажи Сергей в эту минуту отцу: — Виновен! — следующая могла бы быть минутой их примирения. Но ни Макар, ни Сергей не знали тонкостей, умеющих сглаживать гнев и дружески спаивать руки.

— В трибунале, видно, кричать научился? — насмешливо и безбоязненно отмахнулся он, глядя отцу в глаза. — За полгода ничего другого мне не припас. Валяй, я не гордый.

Он пожалел, что сказал отцу это. И еще пожалел, что, не зная, как встретит его отец, в первом порыве подошел к нему слишком близко.

— Так, значит, бегать от суда надо! — поражаясь даже возможности такого вопроса, крикливо разломил Макар тишину. — Бегать надо? Подпаивать надо? Девочек за себя, психологически, подставлять? Где отца встретил? В какой норе встретил отца, говорю?..

Макар задохнулся от гнева. Потерянностью и сиротством ужалила его самая последняя фраза. Точно навеки хороня себя, он нырнул в нее еще раз, но теперь уже бесчувственно и обреченно:

— Отца, подлец, где ты встретил? — проговорил он до того стесненно и трудно, что Сергей вернее увидел, чем услышал, эти слова.

Вслед за тем, стиснув зубы, Макар взмыл над лампой сморщенную волосатую руку. Пощечина отразилась на потолке быстрой игрой теней. Огромная пятипалая тень руки проскользнула по потолку, точно спрут. Тень Сергея вздрогнула и покачнулась.

Звук щечины стек со стен глухим расплоснутым выстрелом. Он был тяжким и одиноким, как последний всплеск до конца обессиленной рыбы.

— Ступай! — сказал, разом осунувшись и сутулясь, Макар.

И было странно, что, едва достигающий до плеча сына, он минуту назад одним взглядом, казалось, мог раздавить, в узел связать Сергея. Молча, уже не оглядываясь, вышел он из караульного помещения, оставив позади себя побежденным новое оголтелое стадо клубящегося пара.

Дежурный, проводив старика любопытствующим, испуганным взглядом, всем корпусом шумно повернулся к молодому Бражкину. Макар, действительно, на сегодня разогнал его скуку, и потому, быть может, ему захотелось развеселить, ободрить Сергея, стряхнуть с него тягостное каменящее оцепенение.

— Выходит дело, старик-то... тово, — скандальный! — оттопырив губы и взломив брови, сказал, словно себе, дежурный. — А по-нашему разобрать, арестованных как-будто бить не выпивши не полагается... В судь подашь — свидетелем за тебя буду, хошь он и отец...

Сергей повернулся к дежурному и нелепо расхохотался его уморительной досужей гримасе.

День следующий встал морозом и утром великолепным. Стекланная синяя дымка повисла над улицами и домами, прозрачная и вместе с тем присутствующая везде. Точно кто-то за ночь отполировал дряблые стены домов, тумбы, в рубашках газет и плакатов, и деревянные тротуры, искусно освежив этим город.

Как разрисованные пастелью, белели от тонкого слоя снега телеграфные провода. Белым шнуром стелился снег и по карнизам домов и поверх сучьев нагих, ветрами оголенных, деревьев. Но день, наперекор ожиданиям, не торопится брызнуть на мир той искринкой, от которой все празднично заблестало бы, словно до скрежета обсыпанное стекланной пылью.

Игольчатое морозное солнце трудно, как еж, взбиралось по кособору неба, еле видимое, будто заволоченное душной испарной собственного обильного пота.

Быть может, поэтому ежился, отправляясь в здание трибунала, Макар. Непривычно, странно ощущал он сегодня мир, землю, себя. Мороз бодрил его, но тело — чувствовал — изнемогало, опаленное жаром нутра.

Он вновь шел давно знакомым путем к огромному, многих пугающему, столу. Там жалким скотом на лугу всегда пасутся на зеленом сукне имена человеческие, ожидая своего часа. Знал: по другую сторону стола — живые носители этих имен. Участь их привык он определять одним своим словом.

И они, ожидая последнего его слова, вспоминают, быть может, в этакый час всю свою жизнь. Жизнь кажется каждому странно короткой, скупой и скучной. Сиротливо торчит из нее тощая жердь, украдкой вырубленная в барском лесу на оглобли. Испуганно мечется глазастый белоголовый теленок, продешевленный когда-то на ярмарке. Вот и все. Или — назойливо бубнит в уши когда-то хрупкая, с ямочками на щеках, дочь исправника. Ее неуголимая страсть к нарядам спекулян-

том втокнула мужа в просторный пустынный зал, где по-церковному вспоминается обывателям запах горелого воска и ладана.

Макар старался пытливым взором проникнуть в зрачки людей. На высоком выхоленном виске человека бьется в смертельной секунде жилка. Похрустывают длинные тонкие пальцы женщины с кофейными волосами. Пасущееся на зеленом лугу сукна странно короткое имя человека чернеет над перечнем преступлений, словно давно потухший окурок. Тогда приходит решение. Его приносит Макару сам подсудимый правдой собственных глаз. И Макар произносит вслух ожидаемое с трепетом слово.

И вот, после сказанного вслух слова, Макар мог радоваться вынесенному оправданию, мог жалеть другого, к смерти приговоренного человека, но сомневаться в правде решения он больше уже не мог. Он был выборным председателем трибунала. И, когда ему прислали назначенных «в помощь» юристов, он не поладил с ними, потому что не верил их правде:

— Они мужиком считают меня. Из амбиции по-своему поступают. Простых приговаривают не глядя, а во всяких ученых, говорят, разобраться особо нужно...

Солнце колючим ежом взбиралось по косогору неба. Макара знобило и жгло. Разбраться в проступках Сергея было не трудно. С ним на скамье подсудимых будут сидеть еще трое.

Вчерашняя чахлая лампа не выходила из глаз. Вспомнил разломанную за спиной сына по потолку и стене высокую тень, вдруг вздрогнувшую под всплеском его руки.

Он идет судить сына, зная, что Артур и укомовец готовятся дать ему бой. Они не позволят Макару произнести ледяное, не раз говоренное слово, от которого неслышно хрустит в груди сердце. Макар может, умеет это слово сказать. Потом от слова этого ему будет навсегда трудно, — жить будет трудно, зная, что им самим слово сказано сыну.

Этого можно еще избежать. В деревне товарищ-крестьянка—жена —сейчас, наверно, спокойно, по-деревенски солит капусту, арбузы. Она ждет обоих, погостить хотя б на денек. Кончится разбирательство в трибунале, и они урвут этот хороший день. Товарищ жена, наверно, будет от радости плакать — необразованная, как и Макар. А он и Сергей, конечно, будут над нею смеяться. И посмеются еще тому, что ничего не расскажут старой про страшные дни обоих...

И вот именно этого сделать Макар не может... Он не может дать Олендэру и тому оправдать Сергея. Он, Макар, за побег из лагеря уверенно выносил приговоры, после которых уже никогда никуда не ездят.

И все же — Сергей не враг. Он такой же, как и Макар. Он точно луч на щеке этого борющегося со слякотной осенью дня. Тут нет того, что любят выдумывать охочие до приключений рассказчики. Пусть плетут они небылицы о сыновьях — председателях красных

особых отделов и полковниках — их отцах. Сергей завтра отправится вновь на фронт. Сергей — коммунист, доброволец. Но разве все приговоренные за подобный побег отказались бы броситься на передовые позиции?

Мучила двойственность. Завтра Макар будет глядеть в глаза другим подсудимым и читать в них слова, которые не дали ему вчера уйти из лагеря, не повидав Сергея. Насмешку прочтет он в глазах подсудимых, злобу и ненависть. «И тут бражничество! Что ж, Бражкин всегда оправдает Бражкина. Так было, так будет».

Так ехидно скажут они глазами Макару, не рассчитывая на такое же «родственное» оправдание себя.

На нелепой, казарменно узкой скамье, исподтишка пересмеиваясь, подмигивая друг другу, ерзали Алька, каптенармус, Сергей.

По этому краю скамьи трудно было догадаться, что здесь начнется сейчас заседание ревтрибунала. Едва их свели вместе, Карачов принялся откалывать шутку за шуткой, точно дарил друзей кусками хрусткого сахара:

— Вот нам и нечего теперь терять, кроме цепей! На практике-то скорей всю оптику выучишь. Что, Сергей, голову вешаешь? Все равно от прекрасной жизни постепенно все умирают! Гляди веселей, а то глаза у тебя! Не глаза — сплошное рыдание!

— Алька, — шептал он лукаво в следующую минуту, — скажи Сергею фамилию нашего коменданта. Втроем никогда бы не выдумали. Этой мре фамилия — Мряков, разрази меня суд!

И сам первый смеялся нелепым своим остроумам. Ему удалось отвлечь приятеля от невеселых дум о вчерашнем. Сергей потеплел под дружескими взглядами тех, кто из-за него очутился сегодня на скамье подсудимых. Вызванная на его лице Карачовым улыбка когтями молодости крепко вцепилась в щеки и, упорная, она уже не пыталась больше с ним расстаться, становясь задорней с каждой минутой.

В тон всему улыбалась и Алька особой, борющейся улыбкой. Она старательно морщила лоб, пытаясь придать лицу выражение сугубой серьезности, но пухлые губы и подбородок спорили с ней, разламываясь в улыбке, отвоевывая от строгого лба глаза.

Карачов, еще не зная подлинной причины опечаленности Сергея, догадывался — случилось что-то неладное. Сергея нужно было развеселить, чтобы «единым фронтом» смять судебное заседание, превратив побег его из преступления в шутку. И он из кожи лез вон, строя ему гримасы, выдумывая смешные нелепицы.

Другой конец скамьи жил обособленной угрюмой жизнью. Как зачумленных, сторонясь недавних приятелей, комендант старался самой строптивой позой своей показать, что не имеет ничего общего с «теми». Искося взглядывая на сочащуюся веселостью троицу, он усердно, до пота на переносице, готовил мысленно свое последнее слово.

Со стены на него глядел из рамы худощавый, со светлой бородкой уездный предводитель дворянства. Этот пережиток расстрелянного человека как-то никто до сих пор не догадался выбросить на чердак. Почти молитвенно на него взирая, комендант усиленно вспоминал — что за вождь? Не Дзержинский ли? И нельзя ли поклясться им в последнем слове в полной своей невинности?

За такими трудными соображениями застал его выход коллегии, Он беспокойно забегал глазами по лицам судей, стремясь по их первому взгляду определить, насколько жестко они собираются повести дело.

Сергей пытался припомнить, каким было вчера лицо у отца. Макар в караульном помещении лагеря стоял почти спиной к лампе. Эту ночь отец, наверно, не спал. Чувствовал — злобы на отца не было. Сергею внезапно припомнилось совершенно другое, давнее, о чем не вспоминал никогда.

...Еще малыша лет восьми Макар однажды застал Сергея за свежим, пахучим ометом сена. С погодком, соседской девчонкой, они самозабвенно предавались наивным исследованиям — чем природа отличила их друг от друга.

Макар безжалостно нарушил идиллию, с меньшей строгостью, чем в свое время было сделано это с Адамом и нетерпеливой его подругой. Он отшлепал по голому, удобному месту девчонку, а у Сергея долго после того болели уши и шевелились от воспоминаний волосы.

Но тогда, — в следующий после расправы момент. — Сергей воспринял отцовское раз'яснение по-своему. Схватив случайный оломок дуги из-под ног Макара, он с размаха брякнул им в спину отца, попав ему меж лопаток. Макар, нешуточно крикнув от боли, едва отдышался, но бить Сергея больше не стал.

Выходка сына понравилась. Поймав убегающего удальца, Макар как умел, попытался ему раз'яснить, присев на опрокинутую возле омёта плетущку дрожек:

— Помни, за что отец всыпал! Всегда за это попадать тебе будет, не от меня, так от прочих. До гроба не забывай, от юбок бегай пуше, чем от волков! И вырастешь, избегай этой каверзы...

Потом, глядя густые волосы сына, растрепанные таской, горделиво добавил:

— А что и мне от тебя попало, — хвалю! Никому не давайся в обиду. Не задирай, но и сам обидчикам не поддавайся. Расти, сынок, большущие зубы. Мы, Бражкины, все таковские, не подступись — разорвем!

...Вспомнив слова отца, Сергей закусил губы, чтобы не рассмеяться неволью вслух. Старик был прав. Что если бы напомнить ему сейчас эту сцену. Жаль, не видно его лица, — Макар, Олендэр, укомовец сидели спинами к окнам. Не замечая смешливых подталкиваний каптенармуса, Сергей впивал в себя каждый отблеск, случайно брызгавший от бумаг на обветренные, схожие с молодой картофельной шелухой, щеки Макара.

— Во всем виновен! — простодушно заявил суду Карачов, лоя ободряющие взоры Олендэра. — Не время теперь человеку клопам на ударный паек изводиться. На фронте люди нужны. И товарища потерять ни за что похабно. Я один все подстроил. Сначала ту угробить хотел в отместку, да нрав мой веселый остановил. Лучше, думаю, шобоны с плеч — головой в печь, чем сидеть у печки, жечь свечку!

Макар Олендэру:

— Записывай все! Вон. что прохвост удумывал. Тут не тем бы еще запахло. Нет того, чтобы, как эта рыжая, — «виновна, прошу прощения, по несознательности». Таким и прощение не впрок.

Артур, подмигивая укомовцу — машинисту, прокопченному куревом и кочегаркой уездной паровой мельницы, — размашисто клал на бумагу синие хвостики буквы «с»:

— чистосердечно
раскался...

Сергей сказал коротко, чувствуя, чем дихорадится все это время отец. Сказал, не скрывая улыбки, покорно глядя Макару в глаза:

— Не знал я, что будет такая волынка. Сам себя укокошил бы. Одна мне пуля, что здесь, что на фронте! Мрякова хоть отпустите, не будь его, — судил бы меня на том свете Духонин.

— О вине своей говори! — не дал ему усесться Макар. — Мряков тут не при чем, а что пороть тебя в детстве мало пришлось — это правда. И Мряков из-за тебя тут сидит. Видать, ничему на фронте не выучили, — и он сердито взглянул в смеющиеся его словам лица Олендэра и машиниста.

— Вина моя не закрыта! — уловив в голосе отца нотки, знакомые в детстве, повеселел глазами Сергей. — Не в лес убежал! После побега четыре станицы забрал для власти.

И вдруг всех окончательно развеселил комендант. Начав речь свою тщательно подготовленными торжественными словами, он неожиданно поперхнулся, закашлялся, запричитал по-женски:

— Шутки им... шутки! Девять лет без перерыва в армиях прослужил, ни в чем не был замечен. Девку пустили в ход и споили... Я, говорит, такого тебе ребенка рожу. Я, говорит, тебя никогда не брошу теперь. А на кой она чорт мне, хоть и с ребенком? У меня своя жена и ребенок в Хвалынске. И теща...

— Тещу не трогай! — рискнул сострить каптенармус. — Чрезвычайный налог за тещ не платили, декретное раз'яснение было.

Но смешить уже было некого, — все без того смеялись. Олендэру надоело. Он не был связан, как на этот раз был связан в своих проявлениях, в силу особенности процесса, Макар. Он дакнулся шопотом за спиной Макара с укомовцем, стряхнул со лба волосы:

— К чорту эту... комедию! Чего из суда оперетку делать? — убежденно заявил он Макару. — Грудь разломило от смеха. Выпроваживай арестованных, голоснем и... точка!

Конвойные выполнили распоряжение, удивив Макара звоном шпор, как-будто никчемных на этой службе.

— Кавалеристов в наряд прислали, — почему-то захотелось ему объяснить себе эту мелочь.

Олендэр встал и сверху вниз взглянул на Макара. Макар в ответ взвел глаза на Олендэра. Артур улыбался с мягкой хитростью, как в первый день знакомства, когда о комиссарстве Макаровом заговорил.

— Ну, Макар, выкладывай на ладонь душу. Знаю, в какой воде ты размылился. Только учти, — вся мура пошла от клеветы на Сергея. По-настоящему — надо бы ту привлечь, что Сергея сюда толкнула.

— А побег? Побег, Олендир! За побег их, чай, судим! — ломился Макар глазами в нутро Артура.

— На фронт их! Само собой там все разберется. Пуля каждая на учете теперь! — определил Олендэра машинист. — Да что мы, спорить, что ли, будем с тобой? Кто за мое предложение?

Макар кулаком по столу. Вскочил... И вновь упал в кресло, чувствуя, как подкашиваются от волнения ноги:

— Олендир! Себя, психологически, преступником буду считать... Был побег! Не замажешь!

— В штрафные роты их упекать, — отозвался спокойно Олендэр, — только хуже ребят испортишь. Да ты мне-то веришь, наконец, Макар, или нет? — возвысил он с внезапной досадой голос. — Все трое одной революции служим! А то получается — ум хорошо, два лучше, а три и вовсе базар!

И он приказал ввести обвиняемых...

Революция

БОРИС СОЛОВЬЕВ

Колыхая весеннюю Сену,
Заклубилось дыханье твое...
Революция! Даже Верлену
Ты вручаешь, как брату, ружье.

Облик твой в наше время суровой,
Но и раньше была ты такой —
Ты родство признавала по крови,
За победу твою пролитой.

Ты мне друга и матери ближе,
За тобой, куда хочешь, пойду,
Мне горящие крыши Парижа
Вспоминаются в смутном бреду.

Снова плечи согнулись от груза
И опять тяжело мне теперь,
Если ты старика Делеклюза
Посылаешь спокойно на смерть.

Свист свинца оборвет марсельезу,
Станет сумрак суровый сырей,
И запомнит стена Пер-Лашеза
Тех, кто гибли по воле твоей.

Снова выстрелы, снова расстрелы,
И по камню бегущая кровь...
Сквозь туман наплывающий, белый
Эти сны прорываются вновь.

Ты лежала в крови, на граните,
Кони топали по голове,
Когда в'ехал в Париж победитель —
Твой палач — генерал Галифе.

Ты казалась совсем бездыханной,
Мнилось — ты отошла навсегда...
Обретая смертельные раны,
Оживала ты через года.

Просыпаются новые струны,
Рвутся песни побед и потерь,
Ты звался Парижской Коммуной, —
Ты Октябрьской зовешься теперь.

Революция! Скачут вагоны,
И железный взрывается мост,
Как подбитые падают клены,
Эшелоны летят под откос.

Ты идешь — закурчавилась вьюга
Над задорной твоей головой,
На дорогах востока и юга
Поднимается гул боевой.

Ты мне встретишься на перевале,
Ржали кони в тревожную тьму,
Снова раненые бормотали,
Вспомнив детство в родимом дому.

Но глаза твои без сожаленья —
Мне таких не встречалось глаз —
Осмотрелись вокруг. В наступленье! —
Ты опять отдавала приказ.

И с проверенной, точной сноровкой
За снарядом заухал снаряд,
Даже раненый вскинул винтовку
И прицеливался наугад...

Десять лет! Словно все за туманом,
Перепутались жизнь и смерть,
Ты с плакатом неслась и наганом —
Ты с портфелем шагаешь теперь.

Ты — озоном насыщенный воздух,
Ты весеннего ветра свежей,
Ты — железо и лязг производства,
Клетка выверенных чертежей.

Ты меняешь наряды и лица,
Но всегда я тебя узнаю,
И враги твои знают десницу, —
Беспощадную руку твою.

И твои непреклонны законы,
Как биение наших сердец,
И с тобою — поэт и ученый
И рабочий, и просто юнец.

Революция! Даже Верлену
Ты вручаешь, как брату, ружье,
И в горластых распевах сирены —
Тоже веет дыханье твое.

Г. ОБОЛДУЕВ

* * *

Скачет босой жеребец.
Тащит мальчонка хомут.
Девочка гонит овец.
Встречные ветры поют.
Нежен вечерний простор
Голых весенних полей.
Неба кисейный узор
Льется по коже моей.
Я — городской завсегда́тай —
Еду землей конопатой,
В дряблой телеге трясусь,
Пыли гутирую вкус.

Волей белья и еды
Ближе мне улиц ряды:
Обыкновенный уют,
Где ундервуды поют.
Ближе мне служащих бег;
Нежной бездельницы кольца;
Быстрые двери аптек;
Крепкая рысь комсомольца;
Нервных трамваев возня;
И сам я день ото дня.

П о в е с т ь

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ О ИВАШКЕ БОЛОТНИКОВЕ, О ЕГО
ТУРЕЦКОМ ПЛЕНЕНИИ, СЛАВНОМ ЖИТЬЕ В ВЕНЕЦИИ
И О МНОГИХ УЧИНЕННЫХ ИМ НА РУСИ МЯТЕЖАХ

ГЕОРГИЙ ШТОРМ

(Продолжение ¹⁾)

Ча с т ь в т о р а я

ЗА РУБЕЖОМ

Безглазый от джерида

Я поднимаюсь на кровлю Айя-Софии,
и мне внятен язык ветра и облаков.

Г а ф и з.

I

Джерид — опасная джигитовка на Атмейдане — мясной площади Стамбула, где турки справляют байрам.

Старому Еми-Али выбили на Атмейдане глаз и веко другого глаза изорвали в клочья. «Безглазым» звали его, и то была неправда. Могло случиться и так, но — велик Аллах! — Еми-Али только окривел.

Селом Топханой шел Еми-Али — местом, где выливают пушки. Множество их, синих и гладких, лежало у воды.

Матросов-новичков обучали на корабельной службе. Над людьми на веревках висели овощи. — «Репу крепи!» — раздавалась команда, и неловкая рука крепила парус. — «Капусту отдай!» — кричал усатый чауш, и матрос поспешно отдавал конец.

Знакомый каикчи повез старика на другой берег.

Высокая корма плясала на зыбях. Зеленым семихолмием вставал Стамбул. На галере турок с сизым, как боб, носом пил кофе. Чашка в его руках дымилась, похожая на цветок. Из воды вылетел шумный веер весел.

Каикчи пристал к галере. Старик взобрался на палубу и подсел к турку. У Еми-Али были длинные волосы, лицо в сетке морщин и брови — бритые, как у дервиша. Ноздри его раздулись: галеру окутывали все запахи Леванта. Ему подали кофе. Потом каикчи повез турка и Еми-Али в Стамбул.

Водоносы шли им навстречу, неся тяжелые кожаные мешки. — «Вода свежа, — кричали они, — как начало человеческой жизни! Запасайтесь в засуху! За мешок — деньга!».

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 4-я с. г.

Спуск от Адрианопольских ворот привел путников к оконечности сєраля. Оттуда — снова подѐм, и у мечети Сулеймана дорога уперлась в невольничий рынок — Аурит-базар.

Еми-Али, толмач, рассказчик и завсегдатай кофеен, посредничал на Аурит-базаре.

— Эффенди Гиссар, — сказал он, — ты будешь стоять в тени и курить, а я тем временем побегаю на солнцепеке. Невольники будут у тебя мигом, — пророк дважды не обѐдет на своей кобылице рай.

У входа на рынок продавали голубей. Три голубя, один за другим, исчезли в небе, выпущенные Гиссаром. — Таков был обычай: прежде, чем купить человека, турок выпускал на волю птиц.

За каменной стеной тянулись похожие на курятник клетки. Женщины стояли в них, закрытые до пояса пестрыми платками, либо фатой.

Напротив теснились невольники. Каждый раз перед началом торга читалась молитва о здоровье султана. — «Хан... сын хана... всегда победитель...» — бормотали купцы. — «Не надо спешить, — смеясь, говорил им Еми-Али, — не надо спешить и уподобляться петухам, клюющим ячменные зерна...».

Он отобрал невольников: двух горских черкесов и одного русского — Ивашку, которого привез Мус-Мух.

Гиссар осмотрел будущих гребцов: согнул им руки в локтях, велел широко открыть рты и каждому постучал чубуком о зубы.

Бирюч об'явил цену. «Слаб». Не куплю» — сказал Гиссар, укаывая на Ивашку.

— Эффенди! — возразил толмач. — Цветок алоэ ждет двадцать лет, пока улыбнется солнцу. Скажи, когда Еми-Али обманывал тебя?..

Толмач приблизил к Ивашке лицо, косясь большим и страшным глазом. На руке русского он заметил перстень. Однорукий бородастый старик был вырезан на широкой дужке. Цепкие пальцы потянули перстень. Ивашка с силой толкнул в грудь толмача.

Еми-Али сел на землю. Гиссар засмеялся.

-- Вот и неправда! — сказал он. — Цветок алоэ улыбается солнцу раньше срока.

А Мус-Мух шепнул бирючу, склонив тошую шею:

-- Уступи немного. Гиссар покупает трех...

Когда торг был закончен, Еми-Али получил б а к ч и ш. Невольников связали рука с рукой и повели. Толмач тронул за плечо Гиссара.

— Я получил немного, но больше и не прошу.. Позволь только снять с русского перстень. Еми-Али очень ценит амулеты.

Гиссар кивнул головой. Старик снял перстень со связанной руки, мигнул Ивашке рваным глазом и скрылся.

Они покинули базар. За воротами сухой ветер нес пыль. Толпа высматривала в небе дождь. В пряной духоте розовели олеандры.

Шли янычары. Впереди несли котлы, в которых варят плов ¹⁾. Их

¹⁾ Символ братства.

брали в битву и опрокидывали, когда затевался бунт. Гудели тулумбасы. Мулла, верхом на осле, вез Алкоран. По ветру веял шелковый «кипарис побед» — зеленое знамя калифов...

Невольников на каике перевезли в Топхану.

На берегу на подпорах стояла галера. На ней жили гребцы. Бритые казацкие головы были повернуты к Гиссару и его людям. Певучая жалоба долетела до Ивашки вместе с брызгами воды:

— Подай нам, господи, з неба дрибен дождик,
А з низу буйный ветер!
Ой, чи бы не встала по Черному морю быстрая хвиля,
Ой, чи бы не повыврала якорив з турецькой каторги,
Да вже нам ся турецька бусурманска каторга надоела!..

Звон железных «кайданов», горючие слова песни и шорох волн потрясли Ивашку. Впервые всем сердцем он понял: «Неволя!»... Не его, одного Ивашки, горемычный рок, а всех этих кандальников общее круговое горе!.. Он даже рванулся вперед, — рука, связанная с рукой черкеса, заныла. Их ввели на галеру. Бородатый турок тотчас набил им на ноги колодки и сорвал рубахи. Спину каждого заклеил огненный завиток...

Казаки окружили Ивашку, спрашивали о родине угрюмо и тихо:

— Да уж остались ли на Руси какие люди?

— Чаем — не всех ли хрестьян турки в полон побрали?

— Верно ли, што по нашей степи саранча шла великая?..

Галерный ключник окликнул гребцов и велел стать на работу. То был принызший турецкую веру лях Бутурлин.

— Недоверок христианский, — шепнул Ивашке казак Самийло. — Лю-ю-ут он. Про него в песне поется: «Потурчився, побусурманився для панства великого, для лакомства несчастного».

— В воду б его! — нежданно для самого себя вспыхнул Ивашка. — Живцом кинуть!..

— Га! Сокол-белозорець! Твоими б крилами да росчерпать море!

Они вытянулись на берегу в звенящий кандалами ряд...

Плотные тюки запрыгали с рук на руки, сносимые с галер Гиссара. До вечера сгружались парусные полотна и конские гривы, мускус, юфть, левантский кофе, аравийская камедь...

Протянулись тени. Загустев крутою синевою, волны пошли на берег суровым походом.

— Притомился? — окликнул Ивашку Самийло, отводя со лба потный смоляной чуб.

— Ништо!.. Невдомек мне, што за люди меж нас из ряду до ряду захожают?

— Еничеры то, воинский жалованный караул... А ты, сокол-белозорець, Царьграда не знаешь? Вон, гляди: то — град малой Галата. А здесь будет село Топхана. Пушки тут выливают; лежит их многое число близ моря, у воды.

— А пошто колокольного звону не слышно? — спросил Ивашка.

— Да паши в колокола благовестить не велят: султан-де от звону полошается...

С холма ударила вечерняя пушка сераля. Небо зардело, как облитая вином кольчуга.

Солнце, дрогнув, зашло.

2

Так началось «полонное терпенье».

Гиссар ходил к Румелийским берегам за душистой желтизной лимонов, возил из Смирны и Родоса гранатовую корку и орех.

Две пары рук качали трехгранную рукоять весла. Самийло сидел ближе к проходу; Ивашка — у борта. Галерный флюгер — «колдун» — с навязанным хвостом из перьев то вяло опадал, то летел по ветру струной.

Гребцы дышали соленой синевой, недоброй свежестью засмоленного грозою окоема. Когда небо и земля становились одинаково черны, Гиссар впивался глазами в компас. Большой, обтянутый кожей барабан он называл «неподвижною душой».

Раз в две недели галеры возвращались в Стамбул. Они проходили под самыми стенами замка Румили-Иссари, где казнили мальтийских рыцарей и рубили головы казакам. «Шайтан-Ашиндиси» — «Чортово течение» ударяло в пристань, построенную еще во времена византийских правителей, и полоса воды, вся белая от пены, вонзалась в море подобно длинной стреле...

На многих галерах гребцам давали целовать крест, вынуждая навеки бросить думу о побеге. Все же, мало доверяя русским, турки набивали им на ноги и по две и по три пары кайданов, а на берегу то и дело сменялся янычарский караул.

Второе лето горела от суши земля; в водоемах кружились пыльные вихри; янычарам не платили жалованья, и они грозилась спалить город; от недорода пустела султанская казна.

Однажды галера стояла у стамбульских причалов. Ивашка увидел скороходов, которые крепили дорогу водой.

За ними — верхом на коне — проехал султан. Его окружали пешие слуги с перьями на головах. Султана за ними почти не было видно. Цыгане-музыканты дудели в венгерские дудки, повторяя все время один и тот же мотив.

У крайнего дома слуги остановились. Связанного турка вынесли из ворот и, раскачав, швырнули в море. Потом начался грабеж. Султан легко и быстро пополнял казну.

В другой раз — это было в Топхане — в лавку старого торговца вошел кривоногий паша с двойными щеками. «Львом без цепи» называл его народ. Он проверил весы, подбросив на ладони несколько гирек, и приказал повесить старика на дверях. Торговец выложил на прилавок деньги. — «В моей лавке правильный вес, — сказал он, — смилуйся!» — «Повешу тебя!» — крикнул паша. Старик выгреб из

ящичка все, что у него было. — «Теперь весы верные», — сказал паша и засмеялся. А старик заплакал: «Да продлит твои дни Аллах!»...

Еми-Али приходил к невольникам, до розовых звезд просиживал в сарае. Гребцы любили слушать о священных войнах пророка, о том, как верблюды одного шейха наелись кофе и затанцовали... Еми-Али по многу раз повторял одно и то же, но галерники всегда с охотой слушали рассказ.

Многие из них благодаря толмачу перешли на другие суда, иные и вовсе были увезены купцами из Стамбула...

Еми-Али как-то сказал Ивашке: «А перстень я продал. Хозяин кофейни носит его на среднем пальце»...

И, смеясь, закрыл рваное веко страшного глаза. Ивашка промолчал.

Стамбульское солнце спалило ему брови, соль и ветер выбелили волос. Тощее тело его стало крепким и ладным, а на сгибах рук, под гладкою кожей, взыграли крутые желваки.

Однажды две женщины в цветных фередже прошли мимо галеры. У одной были синие трубчатые косы, и сердце Ивашки зануло по Грустинке. Встала Черниговщина с запахом меда, с сонным пчелиным гудом. Но только на миг. Его еще не тянуло на родину. Смутная дума боролась Ивашку. Он должен был додумать ее в чужой земле...

Шум ливня пронесся, наконец, над иссушенным Стамбулом. С холмов, рыча, сбегали в море потоки. Вечером в свежей синеве махрово распустились звезды. Мокрый и веселый, пришел на галеру Еми-Али.

— Наконец-то! — сказал он, усаживаясь в кругу гребцов и подбирая под себя ноги. — По молитве гяура Аллах послал дождь. А труды наших мулл пропали даром, хотя они и молились по пять раз в день, как велит закон.

— Вот дивно! — вскричали галерники. — Бусурманьскому богу наши попы полюбились!

— Э, нет! — быстро возразил Еми-Али. — Аллах так не любит гяуров, что спешит исполнить всякую просьбу, лишь бы они ему не докучали.

По галере дружно прокатился смех.

— А чего то ради? — спросил Самийло. — Пошто турки по пять раз на дню молятся?

Еми-Али потер ладонью правое веко и заговорил:

— Когда пророк раз'езжал по небесам на своей чудной кобылице, миновал он одно за другим семь небес. И вот вступил он под свод, где расстилались ветви великого древа, один плод которого может насытить всех людей. Оттуда попал он в изумрудное жилище Аллаха, и туть господь повелел, чтобы правоверные творили по пятьдесят молитв в день. Поехал пророк обратно и задумался: «Кто же станет пятьдесят раз в день молиться? Разгневанным застал я Аллаха. Вернусь, упрошу, чтоб число молитв было уменьшено». — Вернулся Магомет, господь уступил его просьбе и пять молитв сбавил. Уехал

пророк и снова вернулся... И так торговался он с Аллахом, как последний нищий на Аурит-базаре, пока число молитв не уменьшилось до пяти...

Ивашка, хмурый, смотрел на темное море и будто не слушал.

— Эй! — окликнул его Еми-Али. — Не нравится тебе сегодня мой рассказ?

— Дивуюсь тебе, — тихо проговорил Ивашка, — сколь много в твоих речах звону, старой!.. И все-то сказки твои — про велблюдов да про кобылиц... Я вот на Руси жил, горя-обиды набрался — на век хватит, а гляжу и в турской земле живут не лучше. Нынче в Топхане двоих без вины в море метнули. Вот и сложи старину да и звони по всему Стамбулу... Были люди, и — нет их. Как тому быть?..

Гребцы переглядывались. Таких слов еще не слышали они от Ивашки. В темноте совсем близко кипело море. Жирная пена, лопааясь, стыла островками на песке.

— Злой какой! — с досадой сказал Еми-Али. — А все оттого, что никогда не курил кальяна и не пил кофе. Кофе, невольник, это — капля радости, отец веселья; человек, отдававший его, «поднимается на кровлю Айя-Софии, и ему внятн язык ветра и облаков», — как сказал певец.

— Не глумись! — закричал Ивашка, и кайданы его зазвенели. — Паши двоих ваших метнули в море. Были люди, и — нет их. Как тому быть?!

— Слушай! — серьезно сказал старик. — На земле нет никакой правды. Правда вся — у одного Аллаха. В раю паши и утопленники будут лежать рядом и мирно беседовать, как лучшие друзья.

— Не клади на землю хулы! Есть правда, только сыскать ее как? — не ведаю еще куда. Одно знаю, всей кровью чую: землю пройду с востока на запад, с полночи на полдень, — где ни есть, а добуду себе правду, сыщу!..

Еми-Али ушел поздно. Тьма клочьями валилась с неба, а над темною чашей моря свет возникал, как выдуваемый стеклодувом шар.

Гребцам не привелось заснуть под это утро. Едва последние шаги старика проскрипели по песку побережья — рыжий веер огня опухнул Топхану и Стамбул.

— Пожа-а-ар! — всюду завопили дозорные тулумбаджи и стали колотить по земле палками. Это — янычары опрокинули котлы и подожгли город. Кривые ятаганы еще раз вписали в летописи бунт.

На рассвете караул побросал оружие и разбежался. Галерники подобрали и спрятали несколько турецких секир.

Гребцы сдирали с ног кожу, сбивая кайданы. Веселые голоса переключались на галерах:

— Гей! — кричали казаки. — У нас караула вовсе не стало.

— А наши турки до вас итти мыслят! — упреждали с моря.

— Ништо! У нас секиры припасены!

— У пень рубайте!.. Вызволяться с каторги время пришло!..

Над холмами густо темнел круглый недвижный дым.

Сбитое железо, слитно звеня, летело в воду. Ни Гиссара, ни ключников не было видно. Галерники уже собирались уйти в море. Внезапно топот коней просыпался из-за багровой стены дыма, и набережную оцепил сильный отряд.

Это были спаги и левенды — высланная к галерам конница султана. Впереди, закутанный в зеленую чалму, скакал пеннобородый турок. Он кричал, рубя воздух широкою саблей:

— Да разорвет Аллах нити жизни преступных людей, ослабляющих царство! Буйная душа их еще не обуздана мундштуком!..

3

И снова тянулись несчетные дни «полонного терпенья». Опять, протирая кожу, скрипели на руках кайданы, и галеры шли «от одного горизонта до другого», — как говорил Гиссар.

Зной растекался по спинам червонным золотом ожогов. Невольники надрывные слагали песни. И тогда всех изумлял Ивашка: легко и дивно давался ему горючий песенный лад.

Четвертую весну встречал он на галере...

В Топхане шла спешная погрузка. Солнце пласталось на воде, белым огнем стекало с полумесяцев мечетей. Холмы, поросшие сплошь миндалем, стояли в розовом снегу.

Гиссар, молча, курил. Ключники ускоряли работу бранью.

Двое людей быстро спустились с холма к галерам. Бывший впереди, временами почти бежал. За ним едва поспевал Еми-Али.

Толмач с важным видом, прикрывая от солнца глаз, разыскал Ивашку.

— Где ты это взял? — спросил он, показывая перстень, снятый на Аурит-базаре с Ивашкиной руки.

У спутника Еми-Али была светлая, в кольцах, борода, а правый рукав камзола пустовал до локтя.—«Посечен!»—мелькнуло у Ивашки, и вдруг все поняв, оторопел и смешался; глядя на иноземца, он позабыл про свой ответ.

— Ну?! — нетерпеливо крикнул Еми-Али.

Ивашка рассказал все, как было. Толмач перевел. — Как звали пленника? — спросил старик.

— Франческой.

Иноземец кивнул головой, и две большие слезы разбились звездами на полé его камзола.

— Куда повезли его?

— К Москве, ко двору царя Бориса.

Стало тихо. Трудно переводили дух казаки. Они стояли неподвижно, и плечи их давили тяжелые тюки.

Иноземец подошел к Гиссару. Тот, вынув изо рта мундштук, приказал ключникам отомкнуть Ивашку...

— Идем! — весело сказал Еми-Али, когда старик заплатил просимый выкуп. Ивашка, будто хмельной, обвел глазами гребцов.

— Корите меня? — томясь и хрипя, тихо спросил он. — Ей, братья, не самохотою вас покидаю. А неволен я, ино кличет меня кто да и уганивает от галеры прочь.

— Правда тебя несысканная кличет, — зло усмехнувшись, произнес Самийло, и все казаки разом принялись за работу. — Ну, ступай, — без гнева уже добавил галерник, — песен твоих не станет — о том горюю, а зла-обиды в нас нет...

Иноземец повел Ивашку в город. Толмач, услужливый и болтливый, бежал рядом.

Они прошли «лестницу усопших», миновали древний водопровод и вышли на Диванную — главную улицу Стамбула. Множество собак грызлось, поднимая пыль. Седые писцы сидели у ворот, положив бороды на большие развернутые книги.

У входа в Оружейный базар Ивашке купили платье: куртку без рукавов, цветные в полосах чулки и широкие малиновые шаровары. Торговался и выбирал Еми-Али.

Потом овевала их прохлада каменных, покрытых сурами Корана сводов. Чинно проходили молчаливые сонные турки. Длинные чубуки торчали у них за поясами. Место почиталось священным. Никто не курил.

Только правоверные могли покупать на этом базаре. И опять, суетясь без меры, торговался Еми-Али. Купцы показывали им пищали с колесом и фитилем, бросали вверх пуховую подушку и на лету рассекали ее саблей; с отметинами на тыльной стороне (по числу убитых) вздрагивали туманные клинки.

С базара они с купленными вещами отправились в кофейню, где поджидали иноземца армянские купцы.

— Ну, — сказал Еми-Али, входя в обставленную диванами курильню, — разгоним облако скуки облаками дыма!..

Он огляделся. Пол кофейни был выстлан соломенниками и цыновками. Восемь небольших подушек лежали правильной звездой.

Иноземец, казалось, не замечал Ивашки. Что-то сказав толмачу, он повел с купцами тихую беседу. Еми-Али молчал, пока ему готовили кальян.

Слуга сдернул с молочно-янтарной трости чехол с шелковыми кистями. Трехаршинный чубук уперся одним концом в бронзовое блюдо на полу, а другим был подан гостю прямо в зубы.

В кофейне, кроме холодной воды и шербета, обычно, ничего не подавали. Но Ивашке принесли миску плова. — «Сначала ешь, — сказал Еми-Али, — слова идут после мяса». — И он затянулся с журчанием и свистом. — «Ешь и слушай хорошенько. Я буду говорить».

— Купец, взявший тебя от Гиссара, очень богат; ты, сам того не зная, вернул ему сына. Это было три-четыре года назад; юношу взяли в плен корсары и с тех пор старик искал его по всем восточным

торгам. Они — из Венеции, города, стоящего в море, как галера. На родине юноши осталась его невеста; она живет сейчас в Калабрии, в монастыре. Старик поедет отсюда в Трапезунд, а потом — к русским, в Москву, за сыном. Ты же сейчас морем отправишься в Анкону, разыщешь монастырь и передашь радостную весть и письмо...

В углу горячились купцы в бараньих шапках в виде пузырей, и сухо постукивали зерна четок. Образ города, выходящего из синих недр моря, встал перед Ивашкой: на стенах его таял и возникал дым.

— И то не худо,—сказал он, следя за бесшумною игрой кальяна. — По новым местам и я затомился. Да и охота дознать, живут ли где люди советно да вольно. Чую—не срок мне еще на Русь брести.

— Эх, какой! — с досадой произнес Еми-Али. — Все о своем... Вот, что скажу тебе: конец твой будет горек.

— Конца моего не ведаешь, и как тебе то знать?

— Еми-Али все знает: как звездочет; ты разве никогда не слыхал об этом?

И толмач засмеялся, широко распылив рванный глаз.

— А звездослов што? И он, мыслю, того знать не в силах.

— А вот послушай на прощание одну историю, — лукаво сказал старик.

— Жил в Стамбуле человек по имени Рашид. Он смеялся над предсказателями и ни одному из них не поверил бы в долг денег. Однажды султан предложил ему занять место реиз-эффендия. Такое счастье два раза редко выпадает в жизни, и Рашид так обрадовался, что, забыв о своем неверии, просил одного дервиша предсказать ему судьбу. Дервиш тотчас же ответил: «Тебе предстоит большая удача, но погоди до завтра, ибо сегодняшней вечер неблагоприятен для тебя». — Рашид так и сделал. Он не пошел в тот день к султану, а за время ночи соперник оклеветал Рашида и занял его место. Как видишь, дервиш оказался прав...

— Хитер ты, старой! — громко смеясь, сказал Ивашка.

— Это не все, — добавил Еми-Али, — Рашида постигло еще большее горе: он совсем утратил веру в звездочетов...

Однорукий старик незаметно приблизился к ним и, сев на диван, велел подать все необходимое для письма.

Принесли медную чернильницу с длинной ручкой, камышевую трость и турецкую бумагу, которую полируют особою костью. Старик долго писал; чернила были густы и блестящи, а левая рука ставила буквы вкось.

Потом он дал Ивашке денег и велел зашить письмо в полу куртки. — «Русский хорошо понял, что он должен сделать?» — «Да», — ответил Еми-Али.

Они вышли из кофейни и направились к морю. Дул резкий северо-восточный ветер. Ивашку ввели на генуэзскую галеру. Хозяином ее был смуглый иноземец, одетый так же, как и однорукий купец.

Старик, ничего не сказав Ивашке, сошел на берег.—«Прощай!»— крикнул Еми-Али и, взмахнув рукой, сел у воды на камень. Море сверкало. Галера скрипела и всхлипывала косыми латинскими парусами. Была весна того года, когда в Москве умер Борис.

„Inperator“

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

«Тарас Бульба».

«Буде всеблагий господь откроет мне путь к отчему моему престолу... молю ваше святейшество не оставить меня без покровительства и благоволения. Может ведь всемогущий бог мною недостойным расширит свою славу... в воссоединении с церковью столь великого народа; кто знает, на что благоволил он присоединить меня к своей церкви?»¹⁾.

I

Слепой дед деревянным голосом пел:

А сплachtetся на Москве царевна
Борисова дочь Годунова:
Ино, боже, Спас милосердный,
За что наше царство заглохло?
За батюшково ли согрешенье,
За матушкино ли немоленье?..

Живой мост на бочках через Москва-реку был затоплен народом. Всадники в атласных жупанах теснились на нем, как речные волны. Кони их, украшенные крыльями, казалось, летели; они скакали и ржали, и пена стекала с их золотых удил.

Хмурый рыжеватый человек ехал медленно, вывернув локтем вперед упертую в бок руку. Криво раздернутые брови тянулись к самому околу собольей шапки. На носу, вровень с правым глазом, сидела бородавка, и большое пятно оплывало от нее вниз...

А светы-золоты ширинки,
Лесы ли вами дарити?
А светы-яхонты сережки,
На сучье ли вас задевати
После батюшкова преставленья
А света Бориса Годунова?..

Слепой дед допевал и тотчас повторял запев сложенного им плача. Одни слушали слепца тихо, со страхом, другие гнали его прочь, но он не уходил. А воздух, от звона густой, как вода, рвало громом фальконетов и пищалей. — «Дай бог тебе, господарь, здоровья, солнышко наше праведное!» — кричали москвитяне. — «Дай бог и вам

¹⁾ Письмо Самозванца папе Клименту VIII. Пер. с латинского.

здоровья!» — отвечал всадник, и лицо его при этом выражало радость и испуг.

Золотой верх собора вспыхнул вдали. Он увидел: гнутый, как боевое зеркало, лист меди чуть колыхался. — «Кровли переправить бы» — подумалось ему, и он тотчас же крепко, наглухо забыл об этом...

Вперед были высланы трубачи и литаврщики для проводыванья измены и шептунов в народе. Сверкучий строй польских жолнеров сменяли отряд стрельцов, и снова веяли пешие хоругви шляхты. И уже после всех прошли грязные, пораненные, «допровадившие» царевича на Москву казаки. День был ясный и тихий. Но, когда проехали Москворецкие ворота, пыль взвилась столбом и на миг всех ослепила; поднялся такой вихрь, что валил коней и всадников, и народ, смутясь, закричал: «Помилуй нас бог!»...

Потом в Успенском соборе служили молебен. Поляки в шапках и не сняв оружия стояли во время службы. Товарищи их били в бубны и трубили в трубы, сидя на конях у самых соборных дверей...

Богдан Бельский вышел на Лобное место и крикнул: «Государь ваш есть прямой царевич — сын Ивана Васильича, и вам бы на него зла не мыслить!». — Еще раз шатнуло небо громом аркебузов, и пальба смолкла. Бояре и шляхта вошли в терема; челядь наполнила запустелый Борисов двор.

Шуйский, суетливый, как мышь, не отходил от Дмитрия ни на шаг; он всхлипывал и поминутно прикладывал к глазам руку. А тем временем двое посланных им людей шныряли по слободам, сея слухи; посадские: Костя-лекарь и Федор Конь мутили народ.

На Балчуге в старом кружале целовальники выставляли ведра пенника и полугара. Мохнатые казацкие кони были закутаны по глаза в холщевые торбы. Атаман Корела, окруженный вольницей и слободским людом, говорил:

— Как пришли мы к царевичу в Тулу-город и туда ж наехали с Москвы бояре. И Дмитрий Иваныч пустил нас к руке прежде бояр. А с ними был старой князь Телятевской. И мы тех бояр лаяли матерны, а князя Телятевского мало-мало до смерти не убили, — знал бы старой, как противу нашего господаря стоять!

— Вестимо так, — сказали слободские, — царевич крест целовал землю в тишине устроить. Да и вас пожалует, чаем, не худо: кого казною, кого — землей...

Поодаль, меж распряженных возков слышались и другие речи:

— А што, как земли на всех не хватит? Да и жалованья царевичу взять откуда? Задолжал он в Польше панам, они его теперя из платья вылупят; гляди, — какую себе на Москве волю взяли!..

— А верно ли, крещеные, что прямой он сын царской?

— Прямо-о-ой! Сам видал: как бобр, плакал сердешной на гробе отцовском. Да и боярин Шуйский вмещал нам тое ж.

— А монахи, сказывают, признали в нем Чудова монастыря чернеца Гришку.

— Да хто сказывал?

— Посадские наши: Костя-лекарь да Федор Конь...

Стороной, верхами, с'ехались два поляка: пан Жовтый и казацкий ротмистр пан Богухвал.

— Ну, как? Ваши люди еще не «воруют»? — сдерживая коня, спросил пан Жовтый.

— Казаки стоят за своего господаря, — ответил ротмистр, — хотя немного и ропщут. И то сказать, — добавил он со смехом, — каждый из них сам не прочь стать царем...

«Всех же Годуновых и Сабуровых и Вельяминовых с Москвы послаша по тюрьмам в Понизовые города и в Сибирские. Единово же от них Семена Годунова сослаша в Переславль Залезский... там его удушиша»...

Димитрий в'ехал в Москву вскоре после убийства Федора. Тотчас начались большие перемены. Романовы и Нагие воротились из ссылки. В село Тайнинское привезли Марфу. Шуйский был схвачен, едва не казнен и со многими другими угнан на север. Новые люди сменили их по областям и на Москве...

Поляки стояли по боярским дворам, тесня москвитян и постоянно затевая ссоры. За столом у царевича играли гусельники и «скрыпотчики», чего доселе в теремах еще не бывало. В послеобеденные часы, когда вся Москва ложилась отдыхать, Димитрий расхаживал по аптекам и немецким лавкам. Он кричал на бояр, что против иноземцев они ничего не стоят, и грозил послать их учиться за рубеж.

Тайный католик причастился у православного патриарха. Раньше, чем дозволял московский обычай — до 1 сентября — он венчался на царство; велел именовать себя «непобедимый цесарь» и поселился в новом терему, где все было — на польский образец.

В октябре из Кракова прибыли: посол папского нунция — аббат Луиджи Пратиссоли, посланник Гонсевский и два езуита. Недобрыми взглядами встретили их в Москве.

Пратиссоли привез дары: икону Мадонны и четки, по-итальянски называемые «коронай». Дмитрий, услав бояр, взял его за обе руки, и вывел на середину палаты. Аббат был стар, но лицо имел совсем юное и смотрел, не мигая, глазами белыми, как молоко.

Он сказал:

— Его святейшество, папа Павел пятый, шлет вам свое благословение и поручает вашему расположению орден Иисуса, полезный целому свету. Его святейшество весьма озабочен вопросом о походе на турок и еще более того — скорейшим воссоединением церквей...

Димитрий стоял, прислонясь к зеленому печным изразцам, рыжий, вихрастый, быстро и криво дергая бровью.

— Я исполню все...

(Речь его внезапно стала искусной и гладкой; говоря же с боярами, он был прост и груб).

— Я исполню все... Помощь папы привела меня к престолу, ибо святая римская церковь указала мне верный путь. Молю лишь, что его святейшество и вперед не оставил меня без своего благоволения. О, сколь много я испытал и сколь еще велик передо мною труд!..

— Многие годы жил я один со своей тайною думой. Переходя реки вброд, пускаясь вплавь — как дикая птица — чутьем отыскал я дорогу в Сечь. На косматых камышчатых островах навек я владать копьем и рубить саблей. Я ходил с казаками в море, плавал в порогах, где вода, прогремев меж камней, текла плавно и, покружив, повергалась, так что солнце застил гулкой водяной прах...

Туго схваченный в бедрах кафтаном, он ходил взад и вперед, упершись в бок правой рукою. Аббат тихо подвигался за ним по палате, и две белые точки высветлялись в его глазах.

— Я ушел на Дон, в таборы. Пищаль и коса на длинном ратовище — было оружие наше. Татары искрадывали коней. Тучи стрел свистали над моей головой... Бог призрел на мою правоту. В Польше нашел я приют и помощь. И вот ныне мыслю строить отчую землю, чтоб все у нас, как за рубежами было, да людей-то нет, не можно таких на Москве сыскать...

Аббат быстро сказал:

— Надобные вам для строения крепостей и прочих дел люди имеются в Риме. Все они — слуги церкви, но их легко одеть подобно мирянам, чтоб того не узнал народ.

— Добро! — молвил Димитрий. — А то бояре мои ничего не знают. Уча их приличным манерам, сломал я об них не одну палку...

Он подтянул аббата к столцу с развернутыми на нем плоскошариями.

— Вон — Азов... Вон — Крым... А вот — путь через Московию в Индию... Молви его святейшеству: я подолею султана... Тесно мне на Москве. Грудям тяжело. Прордыху нет...

Пратиссоли медленно вышел, довольный и важный. Солнце било Димитрию в лоб пыльной золотой трубою. Волоса его, дыбясь, встали раздельно: каждый — как налитая охрой игла.

В палату тотчас вошел Гонсевский. Он привез письма от воеводы Сендомирского и пана Бучинского.

Войдя, он склонил голову и держал ее так все время, пока царь читал письма. Складки жира полезли за его тугой ворот, когда он заговорил:

— Господарь обещался пану Бучинскому на завтра, как придет в Москву, дать его людям по тыще злотых. И господарь им того не дал.

— Дал им столь, что они того проесть не могли...

— А еще пан воевода сказывал: коли господарь не откажет

дочери его Пскова и Новагорода — ясновельможная панна не сможет вступить с ним в брак.

— Обещался я,—сказал Димитрий,—и слово свое держу твердо. Чего надобно пану воеводе еще?

— А помнят ли господарь, что брату панны Марины отойдут Сибирь и земли самоедов?

— Памятую!..

Боярин князь Григорий Шаховской появился в дверях. Он был сутул, живоглаз. Неровная, хлопьями павшая на волос седина оканчивала низ темной бороды белым клином.

У Димитрия играл лоб, и криво раздергивались брови. Гонсевский переменял речь:

— ...Пан Стадницкий прислал господарю дивного коня, называемого «Дьявол». То — лучший во всей Польше аргамак...

Царь скоро отпустил его. Шаховской заговорил, не спеша, смотря по углам, нет ли еще где поляка.

— Государь, многие крестьяне в голодные лета сбрили от помещиков от бедности, и о тех крестьянах дворяне теперь бьют челом, — сыскивать их хотят.

— Дворянам норовить не стану. Пошто не кормили крестьян в голодные лета?

— А как тому быть? Указ надобен.

— Вестимо, указ.

— Да вот, государь... (Шаховской заговорил еще медленней, тише) От поляков наши дознали, быдто многие земли Литве отойдут. То верно?

Димитрий с хрустом выбросил вперед руки (одна была немного короче другой).

— Ни единой пяди в Литву не дам!

— Да еще про езовитов, что наехали нынче, неладно толкуют. Опасаются, не станешь ли християн в люторскую веру перегонять?

Царь топнул ногой.

— Езовитов не хочу! Веры не трону! Латынских школ на Москве по церквам не будет!

— Ино, так... — робея, сказал Шаховской. — О запасе ратном, государь, что прикажешь?

— В Елец ратного запаса возили бы вдоволь. Летней порой хана будем доступать.

Боярин, стоя уже в дверях, тихо промолвил:

— А все лучше: от'ехали б скорейча от Москвы поляки; не было б в народе шатости, смуты...

— Ступай!..

Едва Шаховской вышел, Димитрий ударил кулаком по столцу, где было тонко выбито море, и корабли шли с клубившимися парусами.

Он в щепы разбил столец...

2

«... которые крестьяне бежали в голодные годы, а прожити было им мочно..., и тех, сыскивая, отдавати старым помещикам... А про которого крестьянина скажут, что он в те голодные лета от помещика сбrel от бедности, и тому крестьянину жити за тем, кто его голодные лета прокормил, а истцу отказати: не умел он крестьянина своего кормити в те голодные лета, а ныне его не пытай».

Опять, как при Годунове, бредут Ивановской улицей в Кремль. Шумит Постельное крыльцо — место челобитчиков — Боярская площадь.

Только нет у крыльца столов. С утра идет снег, пушит тульи бобровых шапок, звенит поземкой у стен, налипает на цветную слюду оконниц. Царь с боярами, стоя, принимает челобитья. С ним рядом — Молчанов, похожий на него, сечоный при Борисе кнутом; поляки, Шаховской и милостиво возвращенный в Москву Шуйский.

«...не умел он крестьянина своего кормити в те голодные лета, а ныне его не пытай...»

Вот дочитан дьяком указ, и, красные с морозу и гнева спорят дворяне-истцы, крестятся и гомонят челобитчики-крестьяне.

Сухой снег дымится у ног царя. Он неловок и хмур; глядит вниз на гладкие свои бархатные сапоги с подковами, плохо слышит докучные слова жалоб.

— ... Шли мы, сироты, из Клинского уезда к Москве, и доехали нас на дороге боярские дети, Красковы, и поймали и разделили по себе, и ныне держат у себя в селе без крепости, — насильством...

Холопы отдадут дьяку челобитную,—их место тотчас занимают другие люди.

— Сироты мы твои, государь, Новые слободы Олександровы деревни Бориско Степанов да Петрушко Темной. Приезжают к нам ратные люди литовские и наших людей бьют и грабят. А иные из них возьмут с собою мальца по два, по три, и покаместа ратной с холопом стоит,— те робята по поветям кур и гусей и утят крадут. А неприлично было б то их рукоделье, и они тех кур и гусят зовут польскими именами; на образец сказать: куря они «быком» называют, утя — «немецким государем», а гуся — «копченою сельдью». А учнешь спрашивать, и говорят: «Расспроси копченую сельдь!»...

Царь засмеялся.

— Ишь, удумали! Про «копченую сельдь» дознайте, бояре!

Старая черница подошла к крыльцу, стряхнула с груди снег и ударила челом.

— С Черниговщины я, в миру была князя Телятевского дворовая жонка. Жила я с дочеришкой своей у него на селе, и похолопил он нас да взял же сын его Пётра дочеришку мою к себе для потехи. И я

о сем деле царю Борису била челом, и та моя жалоба стала впусте. А как сведала я, што посадили дочеришку мою на чепь, и я с той страсти-кручины сошла в обитель. А ныне не знаю, жива ль дочеришка моя. Вели, государь, сыскать, што с нею случилось.

— Телятевской? — хмурясь, спросил Димитрий. — Не тот ли, кого казаки мои в Туле едва не убили?

— То, государь, старой князь, — сказал Шаховской, — а дочеришку ее поймал сын его, Пётра.

— Добро, жонка! Про дело твое велим дознать... Ну, ступайте, люди. Недосуг. Еще мне и без вас достанет дела!..

Алебардщики, тесня народ, побежали по снегу. За ними двинулся царь. Среди ратных людей началась смута. На задний двор, где по воскресеньям травили медведей, согнали безоружными два приказа стрельцов.

Сбившись толпой, они переговаривались глухими, испуганными голосами:

— Што-то будет?

— Не посекли бы нас.

— Пошто царь гневается?

— Гляди-ка-сь, гляди! Входы-то чего ради все оцепляют?

Завидев царя, они сняли шапки и стали на колени.

— Затворить ворота!.. — крикнул Димитрий и, усмехнувшись, добавил: — О, кабы все вы были умны!

Он взшел на крыльцо. Поляки и бояре жались от него друг к другу. Стрельцы молчали. Снег таял на их серых лицах. Царь заговорил:

— Сколь долго хотите вы длить смуту? Бог сохранил меня. Почти что без войска овладел я престолом, а вы опять замышляете завести крамолу? Не довольно ли вам, что вся земля вконец разорена?..

— Неповинны мы! — закричали стрельцы.

— Все за тебя стоим!

— Никто зла не мыслит!

Стрелецкий голова Микулин крикнул:

— Выдай нам изменников! Я им не то что головы поскусаю, а и черева из них зубами повытаскаю!..

Димитрий махнул рукой. Вывели связанных стрельцов.

— Вот они замышляют против меня. Я-де — еретик. Поляков держу в чести, а своим жалованья не даю, о вас не радею!..

Клубок тел завертелся у крыльца с ревом и бранью. У связанных вмиг не стало ни лиц, ни рук, ни ног.

Стрелецкий голова откусил одному из убитых ухо и долго жевал его. «Микулина от головства отставить, — сказал Димитрий, — а дать ему думное дворянство». — Пан Богухвал, бывший в толпе, сел на снег: его мутило. — «Коня!» — крикнул царь. Ему подвели искрасна-пестрого, косившего глазами зверя. То был подаренный Стадницким аргамак.

Шаховской поддержал стремя. Димитрий отпихнул подножие и вскочил в седло прямо с земли. Аргамак прыжком вынес его за ворота...

Он скакал к реке. На льду с утра дивила москвитян новая его забава. Подвигаясь на колесах, извергал дым и огонь потешный город. Внутри его сидели люди. Пестро раскрашенный «ад», уставленный пушками, громыхал листовою медью. Он имел вид пса.

Несколько смельчаков стояло на льду, а на берегу у стен теснилась толпа, сиюсь разглядеть издали потеху.

— Эко неладное што творится, — слышались речи.

— Сказывают, то — гуляй-город — салтана полошить, туркам для страху.

— Да не. То — глумы скоморошьи царь деет.

— Искони такова у нас не бывало!..

От реки вприпрыжку, без тулупа и шапки, бежал измазанный смолой старик.

— Ну, видал! — кричал он, вертясь юлой и натирая черное лицо снегом. — Стоит ад о трех главах, яко пес медяный. А как станет зевать и глазами мигать, и колокольцы шумят, изо рта огнем пышет. И выйдут из него люди в личинах, дьяволом наряжены, — рясы на них черные, што у чернцов, — почнут дехтем народ мазать и шелепугами ¹⁾ бить... Во, дела сотонински! Едва ушел. Таково мне от них досталось!..

Слова команды доносились с реки. Димитрий шел к гуляй-городу на приступ. Народ все тесней прижимался к стене и вдруг быстро, как по уговору, стал расходиться. Теплый последний снег залеплял бойницы, чешуйные кровли башен, зубчатый кремлевский воротник...

3

«...Усмотрили... и улюбили себе... ясневельможную панну Марину с Великих Конциц, Мнишковну, воеводенку Сендомирскую, старостенку Лвовскую, Самборскую, Мөзенцкую»...

Живой мост на бочках через Москва-реку был затоплен народом. Опять входило в город «многое панство». Гайдуки и жолнеры в соболюх шапках с белыми волнистыми перьями кричали: «Vivat!». Они нарочно горячили коней и теснили москвитян.

Раскрашенные лошади везли выбитую парчей карету. На подушках, чтобы быть виднее, сидела маленького росту панна. Глаза ее пожирала Кремль. Злые тонкие губы блекли и не разжимались; казалось, она вовсе не имела рта.

Димитрий искусно расставил стрельцов: можно было подумать, что их очень много. Едва Марина проезжала одни ворота, стрельцы

¹⁾ Шелепуг — кнут, витен.

скакали к другим. Поезд двигался медленно, в течение целого дня. Били в бубны, трубили в трубы часто, кто как умел, безо всякого толка.

Карета остановилась у девичьего монастыря. Марину ввели в монастырские покои (палаты в терему еще не были готовы). Боярин Шаховской сказал царю: «Гляди, государь, — голову Марина убирала б по-русски!». — «Ступай прочь!» — зашипел на него Димитрий... Всюду шумно ликовала шляхта. Бояре стояли понуро и тихо. — Случилось неслыханное: в Кремль не пустили простой народ...

А люди собирались на «Пожаре»¹⁾ меж рундуков и шалашей мелких торговцев.

— Ахти нам! — кричали они. — Станут поляки нашу кровь проливать, а жен наших за себя имать!

— Ходят окаянни с оружием, и ништо против них говорить не смеет!

— Да еще похваляются: вера-де будет у вас люторская и латынская.

— Худо, крещеные! А только сему на Москве не быть!..

В Гостином дворе раскрывались погреба с фряжским вином, выкатывались бочки с немятой икрой, доставались из ларей лучшие товары.

— В убыток торгуем, — говорили купцы. — И жалует нас царь, а того не видит, что иноземцы понаехали, — веселей нашего торг ведут.

Во многих лавках лежали вещи, привезенные из Кракова, Аугсбурга, Милана. Шелк, перлы, штофные обои и цепковое кружево брались в терема, и казна без счета уходила за рубеж...

Пришлые ратные люди собирались на Гостином дворе. То были головы и сотники шедших из Новгорода и Пскова ополчений.

— Во, докука, — тихо, с оглядкой говорили они. — Заместо Крыма-то на Москве дела будут.

— Вестимо! Государь, бают, старейших бояр побить замыслил.

— А земли-то служилым его нехватило. Наши вотчины делить станет?.. Пошто за него стоять? Да и прямой ли он царь?

— А на Тереку, — шептали ратные, — был муромской посадской человек Илейка, а ныне прозваняся царевичем Петром...

— Вот што, служивые! В середу о полночь к боярину Шуйскому на совет сходитесь!

— Дело молвишь!

— Своих упредите!.. Чуете?

— Чuem...

Забряцало оружие. Поляки с песней проехали мимо.

Ратные выскочили из Гостинного, бранились, грозили им кулаками.

— Гуляй, гуляй! Недолго живет та ваша гульба!..

¹⁾ «Пожар» — Красная площадь.

Дневник польских послов

5 мая. — «В сей день воевода представлялся Димитрию... Дворец его деревянный, но красивый и даже великолепный. Дверные замки в нем вызолочены, печки — зеленые, а некоторые обведены серебряными решетками... Царь сел за отдельный стол... Из большого, вышитою в человека сосуда вода лилась кранами в три таза, но никто не мыл рук... Царь разослал каждому по большому ломтю белого хлеба, из коего мы сделали себе тарелки. В половине обеда пану воеводе сделалось дурно; он вышел из-за стола в царский покой».

8 мая. — «Царь ездил с паном воеводою на охоту. В числе разных зверей выпустили медведя. Когда никто из панов не отважился вступить с ним в бой, вышел сам царь и, одним ударом убив медведя, саблей ссек ему голову при радостных восклицаниях москвитян».

12 мая. — «Был везд царицы в Москву»...

13 мая. — «Царица просила царя, чтобы для нее готовили особое кушанье, так как приносимого из дворца она есть не могла. Царь тотчас призвал кухмистра и поваров польских и велел им готовить для царицы всего вдоволь... Камерфрейлинам также приказано было прислуживать царице. Они весьма грустили, опасаясь, что останутся в неволе навсегда»...

17 мая. — «В среду в три часа ночи русские проводили царицу из того монастыря, где она жила пять дней, в приготовленные для нее покои. Проводники несли в руках льняные свечи, похожие на наши похоронные»...

18 мая. — «Царица была коронована... При выходе из церкви бросались народу золотые деньги; русские дрались за них палками. Нашим, особенно из свиты посольской, досталось довольно палочных ударов. С огорчением приняв такие подарки, они разошлись по домам и не провожали царя во дворец. Подходя к палатам, Димитрий заметил толпу знатных панов и приказал бросить между ними несколько португальских червонцев, к коим, однако, никто не прикоснулся. Когда же два червонца упали одному пану на шляпу, он сбросил их. Русские же бежались за деньгами и производили тесноту... Царь, видя сие, не велел более бросать монеты. В сей день, кроме коронации, не было ничего».

Утро пятницы пришло недоброй тишиною. Народ укрылся в домах. Железные ставни задвинули окна лавок. Поляки ходили по городу, спрашивали свинец и порох. Им ничего не продавали. — «Все вышло, — отвечали купцы, — а скоро будет, тогда всем вам хватит». — В город приходили холопы — люди Шуйского и Куракина, тайно вызванные из вотчин в Москву.

В полдень один дьяк, человек смиренный и благочестивый, оделся во все новое и пошел на смерть. — Он пробрался в терема, увидел

царя и крикнул: — «Истинно, ты — Гришка, не цесарь непобедимой, не царской сын, а греху раб и еретик!»...

Басманов, ближний боярин, с лицом, как сырое мясо, известил государя:

— Неладное дется, — умышляют на тебя Шуйский и многие с ним.

— Докука мне с вами, — весело сказал Димитрий, — да вместе ты Шуйскому: меня-де бог сохранил, а он, Василий, во мне не волен. Эки люди, нет на них тишины!.. Ну-ка, боярин, молви што иное.

— А иное што ж? Слух вот есть: был-де у царя Федора младень Пётра и подменил его Борис-царь девкой Федосьей... А ныне муромской посадской человек Илейка назвался царевичем Петром и пришел под Астрахань. А сказывают и такое, што верно, — прямой он Петр.

Димитрий, помолчав, молвил, высоко заведя бровь и упершись в бок рукою:

— Вели ехать на Волгу гонцам да звать Петра на Москву. Такова мне припала охота. Чуешь?..

Отпустив боярина, он ходил из угла в угол; сидел и читал грамоты, подписывая их: «Demetrius Imperator». Потом кликнул Басманова, долго толковал с ним о медвежьей потехе и как бы невзначай велел удвоить в теремах немецкий караул...

А по слободам жаловались друг другу пришлые холопы:

— При Димитрие Иваныче нисколь легче не стало.

— Што было хлеба ржанова, и тот хлеб свезли, и сено, и скот на потребу панам, — все побрали!..

— Промеж дворов скитаемся! К царю бы дойти!

— Аль чело свербит? Не, братья! Едино — на Комаринщину брести надо!...

В терему Марины готовились к веселью. Всю ночь примеряли платья, потешные маски... Было тихо. Лишь поляки для страху били из самопалов.

Низко стояла тяжелая мутная луна...

На рассвете Димитрий увидел сон.

Белоглазый аббат вел людей в черных сутанах к гуляй-городу на приступ. — «Уймитесь! — говорил Димитрий. — Не то и мне и вам худо будет!». — А они все шли по льду, тихие и немые; и только белоглазый кричал и прядал, как барс. — «Гляди ж, коли так!» — сказал Димитрий и повернул аббата лицом на восход солнца. Но там ничего не было. Только пар клубился и тек и будто был полон звона. — «Видишь?» — спросил он. — «Нет!» — «Неужто — нет?» — закричал Димитрий. — «Да вся ж Москва собралась на тебя!»... — и проснулся...

Потешная маска свалилась с одеяла.

Басманов, потный и красный, тряс его, что было мочи.

— Сам ты, повинен, государь!.. Не верил?!.. Гляди — вся Москва собралась на тебя!..

Частый сполошный звон ударял в подволок и оживал во всех вещах, стоял по углам палаты. Димитрий вскочил. Золотой верх собора вспыхнул вдаль. Гнутый, как зеркало, лист кровельной меди бросало ветром...

Эту же носимую ветром медь приметил, когда проезжал Москворецкие ворота... Он стоял в сорочке, рыжий, босой; дрожь ручьями текла по ногам. Вдруг топот забился о своды. Грянула брань...

— Я вам не Годунов! — завопил он и сорвал со стены палаш. И тотчас хриплый и будто веселый голос спросил:

— Ну, безвременной царь, проспался ли?..

Первый загудел набат на Ильинке, на Новгородском дворе. За ним — кремлевский колокол «На лд», в который всегда били при тревоге.

— Кремль горит! — закричали смутники. — Царя убить мыслят! Литва бьет бояр!..

Шуйский и люди его, отгеснив народ, кинулись к теремам и, лишь окончив с царем, дали толпе дорогу...

Искали Марину... Царская утварь летела из окон на Житный двор. Волокли шубы, одеяла. Разрывали парчу. Уводили из стойл польских аргамаков...

Из палаты в палату пробирались Молчанов и Шаховской. Они спотыкались о вороха теремного скарба; под ногами трещали кубки; вот с треском разодрался холст: то была парсуна Димитрия, написанная в Польше.

Большую горницу начисто вымыл свет. Русый веселый холоп шел им навстречу. Одной рукой он загнул полу однорядки, и в ней звенело и каталось серебро; другой — прямо, не таясь, нес царскую печать и державу.

— Аль у плахи не был?! — ступив вперед, крикнул Шаховской. Холоп остановился.

— На рухлядь мою не зарься, боярин! Биться стану!

Шаховской смотрел на его руки.

— Рухлядь не надобна! А пошто печать скрал?

— Ерш бы в ухе да лещ в пироге! — сказал холоп. — Служил я тебе восьми лет в золотой палате да знаменил блюд серебряных без числа, и на той работе глаза мои потускли. И в прошлом годе за все дела велено мне сделать платья, а сделано не все: шапки, кафтана, портов и сапогов не сделано. Ныне вот рухлядь сию взял, унесу, кому ты есть сбуду...

— Добро! — перебил Молчанов, и в руках его звякнул кошель. — За едину сию печать што просишь?..

Холоп взял деньги, отдал печать и побрел.

— Во, Михайло! — сказал Шаховской. — То нам — нечаянна удача!..

Солнце ломилось в окно. У Молчанова был покляпый нос и лицо на свету — веснушчатое, худое. Он провел сапогом по разорванной парсуне, высоко завел бровь и уперся в бок правой рукой.

— Чем не цесарь?.. Ведь схож?!. Ну, коней я добрых припас!.. Бегим, боярин, отсель, бегим, куда живы!..

Едва они вышли — жаркого цвета опахала двинулись в углу. Скрипнула жердь. — Вдовый цареборисов попугай все еще жил в островерхой клетке.

Птица, повиснув вниз головой, качнулась и быстро завращала круглым глазом. Потом крючковатым клювом долбанула жердь и прокричала, ясно позвала кого-то:

— Це-сарь!..

Дома поляков в канун субботы поместили русскими буквами: Бушевал погром. Дым выстрелов простирался, низкий, как болотный пар.

На Посольском дворе крепко засели паны: Гонсевский, Жовтый, Богухвал, Заклика. С ними была челядь, — известные всем в городе: Сенька, сапожник из Львова, шут Балцер Зидек и Талашка, повар и музыкант.

— Убили царя! — говорил повар. — У москалей господари живут недолго. — Кто повинен? — отвечал сапожник. — Обещался он землю в тишине устроить. А что сделал? Где тишина?

Один шут Балцер тешился в бранной суматохе. Его больно били, и никто не смеялся. Но он все бегал по двору и кричал докучно: «Панове! Панове! Седлай порты! Давай коня!»...

Три дня лежало тело у стены, на «Пожаре». — «Глядите, — смеялись москвитяне, — у нас таких царей на конюшне вдоволь!». — Живот был изрублен и вспучен. Лицо закрывала овечья харя. Гулящие бабы, задирая подола, скакали через него.

Потом его увезли за город и бросили в божедоме. Вскоре сказали, что на теле сидят два голубя. Многие подумали: «Точно ли был он повинен?». — А то были не голуби, а воронье.

Подули северные ветры. — «Гришкино чернокнижество!» — сказали попы. Скверная жонка кричала по городу: «Будете жить ни сèро, ни бèло!»... Народ смутился. — «Что будет?.. Опять волю возьмут бояре?.. Погинем за ними!»... — И пустили слух: «Димитрий потаенно ушел!»

В среду к Марине пришли старейшие на Москве люди.

— Муж твой — вор и прелестник, — сказали они, — тебе ведомо было, кто он, а ты вышла за него замуж. За это вороти все, што тебе вор в Польшу пересылал и на Москве давал.

Казалось, у нее не было рта, так крепко сжала она блеклые сухие губы.

— Вот—ожерелья мои, жемчуга. Я заплачу и за то, что проела у вас с моими людьми.

— Мы за прѳестъ ничего не берем, — сказали бояре, — а ворота нам, Маринка, пятьдесят пять тысяч...

Тут сильный шум донесся из-за стен Кремля.

Дул ветер. Народ кричал и бранился, и лица у всех были темны и жалки. Потешный гуляй-город подвигался со скрипом, громыхая листовую медью. По совету попов везли тело на урочище Котлы.

Там, меж курганов, сожгли его, пепел забили в пушку, и гром развеял его по ветру...

В тот же день пан Богухвал отослал в Польшу письмо:

«...То не было тело Димитрия, но человека какого-то дородного, со лбом оголенным, с персями косматыми, а Димитрий был тела умеренного, стригся... и перси имел не поросшие для малых своих лет. Того же дня пропал боярин знатный Михайло Молчанов... да... листы прибиты были на воротах боярских от Димитрия, где давал он знать, что ушел, и бог его от изменников спас. Притом пропала турецкая лошадь царская, называемая «Дьявол»... Как бы то ни было, но то верно, что Димитрий I в Москве не убит, чего очевидным свидетелем был также некий Круширский из Скржынек, слуга пана Мартына Стадницкого... Во всем этом своею верою, честью и совестью клянется пан

Богухвал».

Солнечный град

В Италии тень как ножом отрезана от света.

Герцен.

«Если кораблю угрожает гибель, то для спасения его следует выбросить omnes res existens: золото, серебро, лошадей, рабов и прочих скотов».

(Генуэзский Статут, 1558 г.).

I

В Анкону пришла генуэзская галера со сломанной мачтой, разбитым бортом и порванными бурею парусами. На ней почти не было людей.

У мола стояло несколько груженных трирем. Над ними высилась городская стена с направленными на море бомбардами. Человек в куртке без рукавов и малиновых шароварах сошел на берег. У него было лицо, сожженное ветрами многих морей, и синие, разные глаза с беловатой струйкой.

Во время бури, когда бросали в море рабов, Ивашка сжалился над немым испанским юношей и отдал хозяину галеры все, что у него

было... Он не остался в городе и, немедля, вышел из Анконы... Тепло обтекало его. Смуглые крестьяне шли навстречу. Веселая зелень полей лежала перед ним.

Виноделы дали ему ночлег и работу. На другое утро стадо коз об'ело большой участок. Человек с круглым животом и косматыми руками показал ему шесть раз по десять пальцев. — «Два месяца!.. За одну еду!.. И почти без платы!..». — Ивашка поник. Письмо, зашитое в полу куртки, гнало его в дорогу. Но он кивнул головой и пошел стеречь козу.

Он обходил с лейкой холмы, густо одетые шершавою, туманной по утрам, листвою; работал у точила, где бондарь готовил к осени чаны и бадьи. Легко и живо перенимал он речь, и виноделы вскоре слышали его неловкий говор. Когда прошел срок, он расспросил их о дороге и побрел в горы, пробираясь в Калабрию, к монастырю...

Спустя десять дней, он пришел в деревню Стеньяно. Его привело к ней ущелье Стильяро. Оттуда был виден Тарентский залив, и даль резала глаза до боли. В версте от деревни он увидел монастырь.

Сонный привратник впустил его за ограду. Он выслушал Ивашку, подержал в руках его письмо и сказал:

— Это — мужской доминиканский монастырь. А тебе нужен женский кармелитский. Он лежит в двух часах ходьбы отсюда. Мы по утрам возим туда молоко и сыр.

— Однако ж, войди, отдохни, — добавил он, видя, что путник покрыт пылью и потом...

Прелый навоз лежал на дворе, тек ручьями и дымился. Каменный трилистник входа встал перед Ивашкой. Сбоку мелькнули: белые башни, бойницы, острый шпиль.

Часть кельи занимал очаг. На полу горел огонь; мохнатый от сажи горшок на цепи лизало разведенное на железном листе пламя. Ивашка принялся за еду.

— Я знаю, кого ты ищешь, — заговорил привратник, — это — «золотая Мариучча». Так мы зовем ее, потому что волосы у нее — желтые, как мед... Слушай, — сказал он вдруг, — Батиста, что возит кармелиткам молоко, стар. Ему трудно гонять мула ежедневно. Хочешь, я скажу настоятелю — он возьмет в помощь тебя?..

В полдень Ивашка пришел в кармелитский монастырь.

Он долго стоял у решетки. От цветных стекол были прохлада и полумрак, и клонило ко сну. Жестко звенели мухи о железо.

Наконец, он ее увидел. Голова девушки была «золотой»; волосы светлым густым литьем тяжелили край скрывавшего лоб синдаля. Ивашка отдал письмо. Она положила руку на решетку вровень с плечом, и глаза ее чем-то напомнили ему Грустинку...

Лицо ее побелело — сделалось розовым — побелело опять. — «Ну, вот!» — сказала она. — «Франческо жив!.. Как хорошо!»... — И, сложив губы, посмотрела на Ивашку. Он стоял перед ней оробевший, грубый, смешной. — «Что ты за человек?». — Рот его набух. Он

молчал. — «Расскажи о Франческо!». — Он опять не ответил. — «Ну, что ж ты?!» — «...В иной раз... Как привезу молоко»... — «Какое молоко?!» — в испуге закричала она. Он, весь в поту, быстро пятился к дверям и тоже смотрел на нее со страхом...

В монастырском саду смутный гул кочевал по кронам дубов. Он вбежал в чащу олив, притянул губами ветку и, забирая ее в рот, жевал душистые сырые листья.

Едва рассветало, он запрягал мула и гнал его к воротам монастыря. Дряхлый Батиста улегся в келье привратника и сказал, что ему очень хорошо, но работать он больше не станет.

Мул был оливковый, в проплешинах; стриг ушами и бил задней ногой. Дорога тянулась полями до большого, похожего на овцу, холма. На нем открывался монастырь с густой синевою садов и белизной порталов...

Он сдержал слово. В один из воскресных дней Мариучча услышала краткую повесть о Франческо. Говоря с ней, он смотрел по сторонам и прятал глаза в пол. Она поняла, что он робеет и сказала, смеясь: «Приходи опять, только не смотри в пол и не будь таким робким»...

Но он не пришел... Келья, привратник и мул скоро стали ему в тягость. Он хмуро, подолгу слушал звон монастырских колоколов и смотрел исподлобья на тихих людей, бродивших вдоль стен с вечным шелестом бурых таларов и костяным стуком четок.

Самые старые из них держались в стороне от всех. Молодые же собирались в саду, о чем-то спорили и совещались. До Ивашки доносился крик, иногда ясно слышались слова угроз, и он спрашивал себя, — к чему этим крепким румяным парням затвор, когда им впору сидеть на коне, либо ходить за плугом?..

Однажды с ним заговорил молодой монах. У него были веселые глаза. Его звали Паскуале. Они понравились друг другу.

Монах протянул Ивашке книгу. Тот покачал головой.

— Хочешь? — я научу тебя читать?

— Грамота латыне — не пиво в братине, — тихо по-русски сказал Ивашка.

— Что?! — не расслышав, переспросил монах.

— ...Пожалуй, брат, обучи!..

Паскуале повел его в библиотеку...

С тех пор они часто сидели под низкими косыми сводами, пока медные волны «Angelus'a» не разбивали тишины. В деревянных досках и в желтой маслянистой коже таились пухлые «Vitae Sanctorum»; лежали связками папские «бреве» и списки песнопений, переложенных на нем в вы — затейливую вязь квадратных нот.

Монахи-молчалыки, на которых настоятель наложил эпитимию, приходили в книгохранилище. Одни из них тянули себя за уши, наме-

кая этим на свое скудоумие и прося дать неканоническую книгу; другие же, — складывая ладони чашкой, показывали, что расположены к чтению благочестивых книг.

Ивашка быстро запомнил латинские буквы. Вскоре, найдя среди хлама случайную книгу, он даже одолел пять листов трактата «Об осаде и защите замковых стен». Но его все сильнее тянуло на волю, и монастырские камни сдвигались вокруг тюрьмою. К тому же — он это заметил — монахи стали его в чем-то подозревать...

Как-то он спросил Паскуале:

— Чего иные из вас таятся в саду и все между собою шепчут?

— Они говорят о брате Фоме, — сурово ответил монах.

— Это кто?

— Брат Фома родом из этой деревни. Прежде он жил с нами, но святые отцы упрятали его в тюрьму.

— За какие ж дела?

— За то, что он был умней этих крыс в черных сутанах и хотел, чтобы народ выгнал испанцев из захваченной ими земли!

— Так-то!

Ивашка смотрел на монаха большими потемневшими глазами.

— ...Брат Фома нашел истину. Он открыл врата нового века. Он написал великую книгу и назвал ее «Солнечным Градом»... Это — путь к правде и миру на земле...

— Чтò в той книге?! — Ивашка схватил Паскуале за плечи и едва не порвал на нем талара. — Какая то правда?!.. Скажи!.. Не томи!..

Монах отстранился, строго посмотрел на него и вдруг улыбнулся.

— Слушай! Я расскажу тебе о «Солнечном Граде»...

И он заговорил...

II

На самом дне неаполитанского «Castello Nuovo» проснулся узник. Темный колокол рясы, казалось, врос в ледяные плиты пола. Узник повернул к двери курчавую голову на тучной шее и удивился. — Днем ему никогда не давали спать.

У него были круглые зеленые глаза, но солнце низвергалось в каменный лаз, и празелень сменялась угольною чернотой, — «Джакопо! — крикнул он. — Одного из нас зацепят за брюхо колом! Я не стану тебя щадить и просплю до ночи!»...

Он встал и шагнул к столу. Груды свитков и книг раздвинулись под его локтями. Он взял связку с надписью: «Civitas Solis» и положил на солнце — сушить. Мелкий бисерный пот сиял по углам, а снизу темнела и будто шевелилась — грибная корка.

Мышь уселась с краю стола. Она была белая, с пунцовыми глазками и не боялась. — «А! Брат Бильбия!» — воскликнул узник и, взяв мышь на ладонь, заговорил с нею, вытянув руку к свету:

— Почему вы одни?.. Или вам неизвестно, как ведут допрос?..

«Не менее двух хороших ученых людей»!.. Как сказано в «Practica» Людовика Парамо!..

Лицо его стало белым, а глаза глубоки и черны. Еще одна мышшь взобралась на стол и свесила хвостик с корешка книги.

— И брат Фабио тут? Теперь — все в порядке. Итак, начнем?.. Что?.. Верю ли в бога? А вы? Верите? — Я тоже... Постойте! Что это пишет ваше перо?.. — «Он верит, что мы верим»!.. Ну, нет! Если так, — пишете: «не верю!»... Дальше?!

— Откуда я знаю то, чему не учился? — Для этого я извел в лампе масла больше, чем мы успели выпить вина!.. Что? Вы говорите — плохо кончу?.. Бильбия! (Он сжал пальцами мышшь). — Я в твоих руках. Мои кости треснули и срослись. За сорок часов пытки я уже потерял шестую часть своего мяса... А! Это вы, герцог Тосканский!.. (Из углов выбегали мыши и тихо кружились у его ног.) Как?.. Не слышу! — «Misericordia et Justitia»? А что они сделали с Антонио Серра? А костер Джордано Бруно? А кровь — всюду, куда ступает нога испанского солдата?! Будущие века будут судить нас!.. Все книги мира не утолят моей жажды!.. Вы ничего не можете отнять!.. Колокол ¹⁾ мой зазвонит, и народ сметет королевских псов, продающих кровь и попирающих свободу!..

Он топнул ногой. Мышь, пискнув, прыгнула с руки...

Загремел засов. Джакопо боком переступил порог. Дверь медленно затворялась, и стрижами взвизгивали петли.

— Опять вы говорили с мышами, брат Фома? Правду сказал брат Бильбия, что в вас нет никакого страха.

— Запиши, Джакопо, — он не солгал!

Тюремщик был худ и лыс, с жировой шишкой у виска. Узник стоял перед ним гневный, большой, как глыба камня перед обвалом.

— Где ты пропадал все утро? Я не получил еды, но зато спокойно спал.

— Брат Фома, не говорите никому об этом!.. У меня нынче — праздник. Вернулся сын, которого я не видел восемь лет. Он, бедняга, — немой и едва не погиб из-за своего несчастья во время бури... Едва они отошли от Мальты — на галере появилась течь, — весь груз и рабов (как велит закон) стали бросать в море. Его приняли за раба и уже собирались утопить. Спасибо — нашелся добрый человек и хорошо заплатил хозяину галеры...

— Добрый человек нарушил закон. Брат Бильбия должен подвергнуть его пытке.

— Сердце ваше ожесточилось, брат Фома. Верно говорят, что вы хуже Лютера и Кальвина. Ваши писания читают одни мыши.

Ряса качнулась. Узник взял с солнечной полосы на полу связку бумаг и захохотал.

— Я обманул вас! «Солнечный Град» вышел на волю из тюрьмы!

¹⁾ Campanella — «колокол».

Немцы тискают его теперь на своих печатных станах, и колокол звонит по всему миру!

— Вы — еретик!

— Ступай вон, Джакопо!

Тюремщик поспешно открыл дверь.

— Больше вы не будете спать днем, — прошипел он, пока, визжа, поворачивались петли. — Молитесь святому Антонию, брат Фома... Кого не слушает бог — слушает тех святой Антоний!..

III

— ...Я расскажу тебе о «Солнечном Граде»...

Ивашка медленно брел межой, удаляясь от монастыря. Был час «Angelus'a». Будто от звона, волновались поля. По дороге пылил скот. Везли сено. Солнце не жгло, и пастухи снимали шляпы.

Его окружал звон, и звоном оживал слышанный рассказ. От этого тело наливалось, как колос, и он шел, полный шума своей крови...

Ивашка поднял голову и удивленно посмотрел перед собой. — Бронзовела синева садов, белели стены и порталы; он стоял у монастыря кармелиток... Круто повернув назад, он спустился с похожего на овцу холма. Простирались тени; они были быстры и легки. Он шел, слабея от непривычных дум... Образ города возник перед ним, выходя из синих недр моря и качаясь, как галера...

Затемно он пришел в монастырь. Привратник спал. Встревоженный Паскуале открыл ворота.

— Наконец-то! — прошептал он. — Я давно хотел тебе сказать... Старшие братья донесли настоятелю, что ты — не католик... Не знаю, так ли это, но только тебе грозит суд. Хоть ты и ни в чем не повинен, но лучше — беги, пока сюда не вызвали испанской стражи...

— А мне тут не жить, — сказал Ивашка. — Я и сам надумал уйти. Спасибо тебе!.. Прощай!..

И, не заходя в келью, он быстро вышел за ограду...

Дозорный колокол, возвещая приход корабля, прозвонил на укрепленном берегу венецианского предместья. Море у Киоджи цвело рыжими, красными и почти черными парусами. Они разворачивались с легким треском на подобие крыльев морских птиц.

Грязный рыбацкий городишко лежал перед Ивашкой. Тотчас за карантинном гудели льнопрядильни. За ними поднимался кряж канатных и стеклянных мастерских. Вдоль мутных, зелено-голубых каналов сновали матросы, рыбаки, картежники, комедианты. Киоджоты, толпясь на выгнутом мосту, ждали прихода кораблей.

В тесной таверне пахло ореховым маслом, и стоял такой дым, словно там спалили целый фунт пакли. Едва Ивашка вошел, двое людей в узких камзолах и круглых шляпах приблизились к нему.

— Я — Джино, он — Биндо, — сказал один, картавый и горбоносый. — Мы — гондольеры. А ты кто? Что умеешь делать? Не хочешь ли стать гребцом?

— Я был галерником.

— Тогда — весло и гондола найдутся.

Они стояли, обнявшись. Их лица были открыты и ясны.

— Теперь — жаркое время. Гребцы нужны. Пойдем с нами. Будем жить дружно!..

Они отправились в Венецию по длинному мосту на сваях, лежавшему в мертвом забытии лагун...

Это был славный народ. Они называли друг друга братьями и умели крепко держать слово... Старшина их дал Ивашке одежду и показал гондолу — длинную, обитую черным сукном, со стенами, мерцавшими зеркальным туском. — «Вот, — сказал он, — от Бролио до Риальто вода — твоя».

Город, весь в легких выгибах мостов, казалось, плыл, — литой, кованный, ценный. Тишь стеклянила воду. Каналы были зловонны и грязны, но от опрокинутых в них домов и «сапранилле» струилась складчатая парча.

На другой день Джино показал Ивашке город.

— Смотри, Джиованни, — сказал он, быстро взрывая веслом мутно-зеленую — на черном — пену. — Вон алебардчики в будках больших домов. Это — арсенал. Здесь льют для галер пушки и куют оружие. А видишь — в воротах стоит судно? — на нем выезжает в море дож.

Женщины в черных платках шли вдоль канала. Тафта покрывала их головы, была перепутана спереди и завязана сзади. У воды — в белой одежде с большими красными звездами — стоял портной.

— Держи к берегу, — засуетился Джино, — нас кличут!

Высокий старик в лиловой мантии с висящими до земли руками вошел в гондолу. Они перевезли его через канал. Выходя на берег, он заплатил Джино и тот поцеловал его рукав. Еще нескольких человек прошли мимо в такой же одежде.

Джинс громко чихнул и рассмеялся.

— Знаешь, Джиованни, — что было у него в рукаве? Чеснок!

— Что это за люди?

— Да наши дворяне — цитадины. Они — чем беднее — тем спесивее. Этот вот — сам ходит на рынок. Он даже не имеет слуг.

Народ толпился у разукрашенного дома; в раскрытые двери были видны стены, обитые тисненой кожей, и потолок, закопченный, словно то была тюремная поварня.

— Игорный дом, — сказал Джино, — его содержат патриции и цитадины. Выходя отсюда, многим приходится «удариться о камень». Здесь разоряется народ.

— Это что: «удариться о камень»?

— А у нас такой обычай: если человеку нечем уплатить долг, он садится у ратуши на камень, и долги с него снимают.

Открылось озеро. Гондола проскочила под горбатой аркой. За нею выплыл подобный резному ларцу большой, со многими портиками дворец.

— Видишь свинцовую крышу? — Сюда лучше не попадайся. Это — «Пьомби». Тут заседают провекторы, Совет Десяти, проклятые «ночные судьи». Меня водили как-то к ним на допрос...

Они проехали мимо лавок с выставленными напоказ чашами в виде дельфинов и кубками, игравшими на солнце, как стрекозиные крылья.

— Гроби сильнее, — говорил Джино, — не стоит смотреть! Эти товары даром хвалят. Зеркала наши — либо черны и желты, либо показывают человека кривым и уродом; бумага — протекает, а хрусталь похож на стекло...

Четыре медных коня бурно мчались над порталом собора. Море омывало площадь. Кричали лоскутники, продавцы печеных тыкв и рыбы. На жаровнях лопались каштаны. Всюду была ужасающая нечистота.

Ивашка, уставший от гребли, с радостью встретил венецианский вечер. Он сидел в кругу гондольеров, слушая смутное дыханье моря. Вода цвела, и город обдувало теплым мохнатым ветром. Не утихало и к ночи мелькание черных гондол и черных платков...

Это был честный народ. Они топили своих товарищей за воровство и неправду. У них все было общим, и дневная выручка без утайки сдавалась старшине.

Шло время. В зеленую гавань приходили корабли. От лодок и фелюг веяло знакомыми запахами Леванта. В каналах часто возникал затор, тогда стучали весла. — «Эй! Fratellino!» — «Братец!» — покрикивали гондольеры. Эхо летело от стены к стене.

Однажды монах в черной хвостатой мантии с капюшоном поминал их с берега. Они подехали. Монах заговорил с Джино. У него было дряблое лицо, и ногти желтели на руках, как клювы. — «Ваше монашеское величество! — вдруг закричал гребец, — право, я ничего не знаю!». — Старик погрозил желтоклювым пальцем и ушел.

— О чем он? — спросил Ивашка.

— Это сущая беда, Дживанни. Ты еще не знаешь, что мы должны доносить о всем, что видим и слышим. Так повелось издавна, и этому ничем нельзя помочь. Сейчас они ищут кого-то, и если я ничего не разужнаю, меня заберут в «Пьомби».

Ивашка промолчал и весь день после того был хмур...

Потом наступил праздник. В Венеции не стало ни дня, ни ночи. Народ ел и спал на площадях. На самый верх колокольни поднимали в челноке гребца; он пел, кричал и стрелял из пистолета. Гондольеры с красными повязками на головах бродили по рынку. Цыгане раскладывали на мостовой тарок...

Ивашка сидел у воды, близ дворцовых портиков. Высоко над ним солнце накаляло свинцовые кровли. Тишь стеклянила воду. С моря доносился гром пальбы.

Человек в драном московитском платье, видно, истомленный долгой дорогой, подошел к Ивашке.

— Гляжу — будто русской ты, — проговорил он и показал рукой на город. — Камень-то, чай, на сваях стоит?

— На сваях. — И тотчас вскинулся Ивашка. — Отколе ты?.. Друже!.. С Москвы неужто?..

— С Москвы и есть. Горя-кручины хлебнул вдосталь. Доля-то вишь, закинула куда?

— На Руси што?.. Каково стали жить? Вольно, легко ли?

— Ты-то давно ль на чужбине?

— Да годов семь. При Борисе полонили меня.

— Ну, многово, знать, не ведаешь. Царя Бориса давно уж не стало. После него Димитрий Иванович царем был. Обещался он всем тишину оказать да милость, а скинули его бояре. Кто сказывает — убили, а кто — што жив он — в Литву ушел..

— А ныне што ж?

— А ныне пошло все на потряс. Замутилось так, что ни земли, ни неба не видно людям. Холоп в силу приходит, по украинам ворует. Скоро, чаю, большие дела будут. И то сказать: бояре великую волю взяли, — Шуйский на Москве царем сел..

— В срок повстречал я тебя, — сказал Ивашка. — Вот што, странной! Ступай ко гребцам, — они народ дружной, — работать станешь, — от меня поклонись. Я-де на Русь брести мыслю. Долю свою знаю, кровью чую... Ну, прощай!.. Прощай и ты, веселый, красовитый город!..

И, уже не глядя на изумленного русского:

— Когда железо кипит — тут ево и ковать!..

Горные тропы Тироля — переезд через Рейн — владения маркграфов баденских; переправа в Ульме через Дунай и — дальше берегом — на восток — вот был его путь.

В конце июня он пришел в Прагу.

В окрестных деревнях шел снос крестьянских дворов. Поселяне молча смотрели на свое разоренье. Барщина высушила и замкнула лица. Путнику нелегко было найти ночлег...

Город серел, раскинувшись по обоим берегам Молдавы. Связанные мостами, грядою островерхих кровель пластались в дымке острова. Ивашка миновал старый Карлов мост с башнями по концам, и тотчас открылись узкие извилистые русла улиц. Многие дома стояли заколоченные досками. От них тянуло по ветру смолою и воском. — В городе недавно была чума.

В пустовавшей корчме висело над стойкой грубо оттиснутое изображение: человек в черном плаще вылетал из погребка верхом на бочке. Под нею стоял год — 1525 — и чернела подпись:

Doctor Faust zu dieser Frist
Aus dem Keller geritten ist...

В углу — немец угощал пивом чешских крестьян.

Он был длиннонос и походил на умную ручную птицу. Белый льняной венчик окружал его колпак, как седая тулья. Он то и дело, будто крылом, взмахивал маленькой красной рукой.

Временами заикаясь, он путал чешскую речь с немецкой. Крестьяне слушали его, насупясь. Лишь изредка какой-нибудь из них вздыхал и принимался кому-то грозить кулаками. — «Mit grossen Herren ist nicht gu-gut Ki-kirschen essen!» — говорил длинноносый, опрокидывал в рот кружку и со стуком ставил ее на стол...

Наконец, все разошлись. Хозяин корчмы уже дремал за стойкой. Последним ушел немец. Едва за ним затворилась дверь, — с улицы донесся крик.

Ивашка кинулся наверх. Мутная слепая луна висела меж двух башенных шпилей. Лежал человек. Он казался огромным и плоским. Тень у его головы сливалась в густое черное пятно.

Человек молчал. Ивашка помог ему подняться.

— Кто тебя таково убил?

— Русски?.. Я карашо снай русский ретшь... Добрый госпотарь, который спасаль мой жиснь, как софут тебя?

— Я не господарь, а Ивашка... Иван Исаев, сын Болотников.

— Спасибо тебе, Ифан Бо-болотникофф!.. Слой шеловек крепко биль по голбва... Он гавариль: не деляй в чужая земля никакой бу-бунт!..

— Вона што!.. Дом твой далече ль?

— Ошень близко.

Ивашка довел его до ратуши. Они пересекли улицу и вошли в дом.

Немец высек огонь и зажег свечи. Тьма метнулась к потолку и крылато закачалась по углам.

Суровый резной дуб таил за стеклом лубяные коробки, масти, пластыри, сулеи, белые глиняные чашки.

— Дохтур! — оглядывая утварь, смекнул Ивашка.

Немец, громко кряхтя, обмыл водкой голову и перевязал лоб.

Стол был завален костями, травами, всякой сушеной трухой. У окна висели потешные карты: рыба-обезьяна, рыба в гнезде и птица с завязанной узлом шеей.

— Ну, вот, Ифан Болотникофф, — сказал немец, усаживаясь против Ивашки. — Какой же есть твой путь? В русский земля или в Литва?

— На Русь бреду. К Москве ль сволокусь, в иное ль место — того еще не знаю.

— Мой брат Каспар жиль в Москва. Он писалъ, чтоб я ехаль к царь Борис. Но там биль cholera morbus и голодный смерть. А потом царь Борис умираль от зелья...

— Я есть ше-шестный шеловек, — продолжал он, будто крылом, взмахивая рукой. — Еще до Москва — брат Каспар жиль в Рига. Царь Борис посылалъ туда свой слюга Бекман и давалъ наказ: «Проведати, где есть цесарь, в Праге ль, или в ином котором городе. И война у цесарь с турский салтан есть ли»... О, я имей ошень крепкий пам'ять!.. Брат Каспар просиль меня уснафать... Но я есть ше-шестный шеловек. Я разрываль скферный письмо и бросаль его на фетер...

Резной дуб темнел. Утро возникало на склянницах в шкапу. Они сидели долго, пока совсем не оплыли свечи.

— Ты усталъ, — сказал немец, взглядываясь в Ивашкино лицо. — Сейчас будет наступать день. Тебе надо спать перед дорога... Снаешь, Ифан, я люблю русский земля. Здесь меня бо-больно биль по голѡва. Могут убифать совсем. Я бу-буду сѡоро-скоро к Москва ехать...

Еще через две недели он пришел в Подъшу.

Раздольные шляхи с серыми волнами крестьянского быдла, нивы тучного з б о жья и пасмурная синева пущ привели его в Самбор.

Небольшой городок на левом берегу Днестра окружали строем белые, со слепыми бойницами домишки. У подножия горы — над водой—каменело бурое гнездѡвье башен. Опускные г е р с ы ворот были приспущены. Перейдя висячий мост, Ивашка увидел замковый двор, службы, угодыя и сады.

Шляхта, польская и украинская челядь толпились подле рыжего, облитого ярким кумачом ката. — «Поспешай — паны гневаются!» — покрикивал кат и ударял по деревянному козлу плетью. — «Щоб тебе не минули кативьски руки!» — откликнулся голос. Рослый чубатый холоп весело вышел, как в гости к куму, глянул по сторонам и быстро лег на козла.

Гнусный постыдный звук рассек тишину. Плеть зачестила, ссадня и нежно расписывая алым кожу. Холоп не кричал. Он только вертел головой и, отыскав глазами какого-нибудь пана, твердил, усмехаясь: «От говорылы, що буде болыты, а ни крохи не болыть!».

— Rustica gens — optima flens, pessima — ridens! ¹⁾ — хмурясь, сказал старый светлоусый пан и отошел в сторону.

Ивашка спросил стоявшего поодаль холопа:

— В чем сей повинен?

— Шкод натворил: повитовому старосте зуб выбил.

— Не напрасно, чай, — за обиду какую?

— За побыванье, пораненье, и помордованье слуг, — ответил холоп.

¹⁾ Хорош холоп, коль горюет, засмеется — вот то худо будет.

Светлоусый пан незаметно подошел к Ивашке.

— Москаль? — спросил он. — Как сюда попал?

— На Русь бреду с Венеции-города, а допреж того на турецких жаторгах томился.

Пан сощурился и зорко оглядел обветренное лицо Ивашки.

— Ступай в замок. Господаря увидишь. Не можно тебе без того на Русь казаться.

«Какого еще господаря?» — подумал Ивашка, глядя на поляка, и опасливо, с неохотой двинулся за ним...

В низкой сводчатой горнице стояли длинные столы с отводными гнутыми ногами. Шляхта — в парчевых кунтушах и кафтанах из лосиной кожи — то и дело затевала споры. Гайдуки, полыхая алым огнем бешметов, разносили черемховый мед и венгерское вино.

Ивашку посадили в конце стола. Светлоусый пан сел рядом и придвинул к нему пузатую, налитую всклянь, чарку. Напротив, одетый в желтый камчатный кафтан, отороченный соболями, сидел смуглый человек с подстриженной бородой.

Хмель закружил, ударяя в ноги, быстро натекая в руках истомой. Поляк выспрашивал: кто таков, давно ль с Руси, знает ли о московских переменах?.. Ивашка сквозь дрёму отвечал невпопад и сам себе дивился: он, холоп, сидит за одним столом со шляхтой, пьет панский мед, и никто его не гонит!.. — «И чего надо от меня сему ляху?» — подумалось ему. Тут крики: «Vivat!» — грянули кругом, и все встали с мест, поднимая чарки.

— Господарю Димитрию — vivat! — закричал светлоусый пан.

— Vivat, Жигмонт, круль московский! — некстати раздался чей-то голос. — Тучный хмельной ротмистр лег грудью на стол, и, расплескивая мед, вопил: «Жи-и-игмонт! Жи-и-игмонт!.. — Паны смутились, поднимая крик; все смешалось и более Ивашка ничего не слышал...

Спустя два часа его нашла под столом стража. Все разошлись. Бахромчатая скатерть свисала до пола в черных уродливых распльвах пятен. Гайдуки подняли Ивашку. — «Пани воеводша ожидает тебя Прочнись!» — «Догостился!» — подумал он с досадой и, перемогая хмель, побрел за ними.

В горнице, куда его привели, висели по стенам мушкеты и кольчуги. Наступал вечер. Пыльные олени рога, ветвась, простирались в сумеречный свод.

Смуглый человек в жолтом камчатном кафтане быстро ходил из угла в угол, упершись в бок правой рукою. У окна сидела старая пани. Казалось, у нее не было рта, так крепко сжала она блеклые сухие губы. Вкруг шеи, топырясь, стоял раструбистый белый воротник.

— Узнаешь ли Димитрия? — спросила она Ивашку.

Глаза его метнулись. Он тотчас все понял.

— Как мне знать? Я ево никогда не видал.

— Вот он — Димитрий. Его и дочь мою бояре ваши едва не убили. Они ж ему и землю не дали в тишине устроить...

Смуглый в желтом кафтане перестал ходить, смотрел на Ивашку. У него был покляпый нос и лицо — на свету — веснучатое, худое. Подошел ближе. Тихо заговорил:

— Здорово, бывалой человек! Живал ты неколи на Руси во холопах. То верно?

— Так, государь.

— А каково ныне холопам за Шуйским — того не знаешь?

— Знаю, што худо.

— А пошто опять в кабалу идешь?

— Затем и иду, штоб холопъей воли добыть, сколь силы моей достанет.

— Удал ты. Я вот тож: легчил оброчным людям, да скинули меня бояре...

Он умолк, выжидая.

— Государь!.. (С Ивашки слетел хмель. Он был весел, бледен, все в нем играло) Как тебе, государь, надобна ль службишка моя?!.

Крепкая худая рука легла на плечо Ивашки.

— Смекай, Болотников!.. На Руси молвят — убит я, а народ не верит, вестей ожидает... Шуйский беглых всех воротить, выход крестьянам заказать умыслил... Ступай на Русь, сказывай всем меня жива. За мною-де панство, жолнеры, а украинные люди — лишь об'яви слет — встанут без числа... Кладусь на тебя во всем и жалую: будь у нас большим воеводой! Скажи в Путивль к боярину князь Григорию Шаховскому, скажи ему, что видел меня в Польше и говорил со мной. Покудова еще не могу тебе много дать, однако ж, возьми вот саблю, коня и тридцать червонных. Да повезешь князь Григорию грамотку. Он даст тебе денег из моей казны и людей!..

Крутосиняя ночь шла над полями. Шлях у придорожной корчмы белел, круто сворачивая на Львов.

Ивашка сидел на корчемном дворе в пяти милях от Самбора. У ворот был привязан его конь. Из халупы, хмельные, доносились голоса.

— Вот она — доля моя, — одними губами шептал Ивашка. — Пришла сила. Ну, Иван, теперь гляди — не плошай!.. Слово свое сдержу: за господаря того буду стоять твердо, а и своо дела то ж не закину. — Подниму мир, тряхнет Поле ¹⁾ бояр, — холопъей кабале на Руси не бывать!..

— Экой дивной мой путь! — подумал он, опуская голову на руки. Вспомнились: галеры, волжский учуг, ловцы, Неклюд... Он задремал. В корчме говорили:

— Ступай, Гриць, до дому. Тут лавки смоляные — как сел, так и прилип, дурень!

¹⁾ Поле — вольные казацкие земли.

— Дай послухати, що про Самбрьского господаря размовляють;

— Да то не господарь, а вор—Михайло Молчанов, што с Москвы збежал...

...Большую реку видел Ивашка. Из воды выходил народ (ему не было конца) и складывал на берегу камни. От народа и от камней исходил мутный красноватый жар. — «Што строите?» — спрашивал он и сам же отвечал: «Град Солнешной, правду холопью». — «А што вы за люди?». — «Искони мы со дна речнова пышем!»...

Конь заржал. Ивашка проснулся.

— Лишь силы б достало! — тихо сказал он. — Братство добыть!..
Град построить!..

В корчме погасили свет. Солома на крыше вздохнула под ветром.
Шляхами — пущами — полями шла высокая густая ночь.

(Конец второй части.)

Выдающийся город

ВИКТОР ГУСЕВ

Надвинулись серые горы
На наш выдающийся город.
Пойдемте со мной по проспекту
«Имени Гари Бальди»:

Герой неизвестного века
Висит, маляром исковеркан,
На вывеске странного цвета
С кривою звездой впереди.

Гитары романсами лечат
Жасминную скуку крылечек.
На домиках, ставших грибами,
Советские жмутся слова.

Их черная ночь захохотуя
Задушит, задавит, не пустит.
Лишь пылкая тень Гарибальди
Пытается протестовать.

Напрасен порыв, итальянец!
Гуляет пшеничный румянец.
На лицах домашних хозяек.
Незыблем семейный обет.

Мяжки и просторны кровати.
И фельдшер, мой старый приятель,
Единственный местный прозаик,
Философ, артист и поэт.

Говаривал часто:
О, нравы!
В сметане утонут октавы.
Едва ли оценит вас, Пушкин,
В поэмы завернутый сыр.

И где же застряла заря там?
И надо ж ударить зарядом
Такой удивительной пушки,
Которой не выдумал мир...

Но здесь я, читатель, не скрою,
Что автор активно настроен.
Он сам в этот город поедет
Дабы ликвидировать мрак.

Он скажет о пользе науки...
Зачем? Что б крестились старухи
Что б смачно жевали соседи
Мясистое слово: «чудак»?

Что б девушки вечером черным
Мечтали о муже ученом:
— Ты в тихие сети попался,
— Ты в щедрые очи взгляни.

И он поглядит — и без боя
Зажжет корабли за собою,
Ермолкою Санчо-Пансо
Берет Дон-Кихота сменив...

Но рано становятся точки —
Товарищи! Автор настойчив.
Найдутся же в городе этом
Союзники! — так он кричит.

И, знаете, кажется, завтра
Без них не останется автор;
И уж не ему ли ответом
Над городом песня звучит?

От злобы хрипят самовары.
От зависти вянут гитары.
И шали цыганского спектра
От страха дрожат на груди.

Спускается сумрак зеленый,
И с песней приходит Буденный
И скачет в ночи по проспекту
«Имени Гари Бальди».

Р у д а

Рассказ

Н. НИКАНДРОВ

I

— ...Всем понятно?

— Всем! Всем!

— А то я, может, не так хорошо выражаюсь, потому как я от рабочих, от станка, не так развитой...

— Нет, нет! Чего там! Тут все от станка! Тут нет ни одного не от станка!

— Товарищ Длиннов, у тебя осталось две минуты!

— Хорошо... Сейчас кончаю... Я еще только то хотел сказать, товарищи, что наши красные хозяйственники, партдиректора, когда говорили нам о наших достижениях, то пропустили одно, по-моему, очень важное. Они приводили много таблиц, цифр, процентов, но почему-то ни один из них ничего не напомнил молодым рабочим из истории. А надо было. Для нашей заводской молодежи надо было между нынешним временем и прошлым провести примерно такое сравнение: что вот, дескать, ребята, в этой нашей медвежьей глуши, среди темных еловых лесов и черных торфяных болот когда-то, лет двести тому назад, крепостные мастеровые в подневольных трудах воздвигали для своих господ, графов Чуваевых, эти рудники и заводы. А после, еще этак с сотню лет, наш брат, наемные рабочие, потом и кровью своей создавали тут капиталистам громадные богатства. А теперь, при советской власти, мы — рабочие — здесь хозяева! Мы распоряжаемся всей тутошной промышленностью... Мы пользуемся и вот этим «Домом Культуры», построенным для нас Гомзой на месте графской церкви из церковного кирпича... Эй, старики-рабочие, которые десятки лет трудились здесь еще до революции, что же вы попрятались, попритихли? Расшевелитесь-ка, оглянитесь вокруг, посмотрите только, где мы с вами сейчас сидим, в каком роскошном дворце, и скажите по совести: ну, разве же это маленькое достижение?

— Оо... Уу... Куды там... Еще бы... Понятное дело... Даже нельзя сравнить... То было время и — это... А нашим внукам будет еще лучше... Свет перестраивается... Не остается ничего похожего...

— Товарищ Длиннов, твои две минуты кончились! Говорит товарищ Смыслов, приготовиться товарищу Догадину!

II

— Смыслов есть?

— Есть!

— А Догадин тут?

— Тут!

— Но нет, нет, Смыслов, из партера говорить нельзя! Выходи, как все, сюда, на сцену! Как это так «не все ли равно»? Конечно, не все равно! А зачем же ты хочешь снимать пальто? Пальто можно не снимать, иди так! Да по-то-рап-ли-вай-ся ты там! А то желающих выступать рабочих записалось так много, что мы должны дорожить каждой минутой, каждой ми-ну-той! Вот так, становись здесь, впереди нашего стола, где становятся все... Да повернись лицом к партеру, спиной к нам, ведь ты собранию будешь говорить, не нам, не президиуму! Ну, начинай, не теряй время зря...

— Товарищи! Согласно директиве ЦК ВКП, а также призыву ВЦСПС, мы, рабочие-металлисты четырех заводов, расположенных по речке Шулейке, собрались здесь сегодня, как это видно из повестки дня, для проведения широкой массовой самокритики. Лозунг, долетевший из центра до нашей лесной глуши, гласит: «Всю работу, все строительство — под огонь рабочей самокритики». Лозунг, конечно, хороший, очень хороший и нужный, давно нужный... Но, товарищи!.. Надо прямо сказать, что опыт таких собраний по цехам уже показал нам, что пользы от нашей пролетарской самокритики не получается никакой, решительно никакой. Мы, например, критикуем, а непорядки в цехах, например, остаются, и выходит, например, болтаем собаке под хвост. Если кто помнит, еще и раньше, до объявления лозунга о самокритике, в наших центральных газетах, в «Известиях», в «Правде», писали, что как заводоуправления, так и профорганы должны побольше прислушиваться к рабочим низам. Но, товарищи!.. Наш заводской командный состав как не прислушивался к нам тогда, так, видно, не собирается прислушиваться и теперь. Но, товарищи!.. Кажется, пришло время, когда мы сможем заставить их считаться с голосом рабочих от станка. За нас ЦК металлистов, за нас ЦК партии, за нас вся советская власть. Вот почему, товарищи, прежде чем начать свою критику в общешулейковском масштабе, я спрашиваю у президиума собрания: ведется ли здесь, наверху, на эстраде, запись всех предложений, которые раздаются оттуда, снизу, из партера, от рядовой рабочей массы? Потому что говорить на ветер, говорить просто так, для легкого провозждения времени, сейчас ни один наш рабочий не согласится: мы только что отработали смену в горячих цехах, на домнах, мартенах, сварках, прокатах...

— Товарищ Смыслов, ну а сам-то ты неужели не видишь, что у нас тут ведется запись речей всех выступающих?

— Где? Кем?

— Как «где», «кем»? А вон из-за рояля две кучерявых головы виднеются, два молодых товарища вперемешку пишут!

— Ага, значит, пишут? Ну, хорошо. Тогда я буду говорить. А то бы ушел... Но, товарищи!.. Раньше я должен указать еще на одно большое злоупотребление. Призыв критиковать, как известно, был брошен из центра ко всем пролетариям, а у нас на Шулейке далеко не все рабочие выступают. Как в прочих кампаниях, так и здесь опять отдувается одна рабочая верхушка, один профактив. Взять, к примеру, меня: я у нас, в сортопрокатном, председатель цехбюра. А рядовая рабочая масса, самый, можно сказать, низовой пласт, он как молчал раньше, так молчит и теперь. Смотришь, стоит на собрании человек, — вовсе не такой глупый с виду или тихий, скорее даже наоборот, озорной, — стоит и молчит, как в рот воды набрал, даже не чхнет, только слушает да курносится, а потом, видишь, — сидит в уборной, окруженный слушающим народом, и так разливается там, таким, можно сказать, разносится соловьем, ну прямо как приезжий московский оратор! И это я считаю, товарищи, для пролетарского государства ненормальным. Ненормально, когда большая часть рабочих все еще боится у себя на фабрике раскрыть рот, все еще остерегается высказать свое наболевшее мнение...

— Смыслов, будет тебе зря жалобиться-то! Ну, чего же они остерегаются-то?

— Как «чего»? Известно «чего»! А вдруг заводоуправление с четвертого разряда снизит на третий! Или со сдельщины перебросит на поденную! Или по «табели взысканий» наставит «пунктиков»! Или, под видом рационализации производства, вовсе сократит с завода, — походи тогда на биржу труда, пооратурствуй там, покритикуй...

— Верно, товарищ Смыслов, верно! У нас, в сталелитейном цеху, это уже было!

— А у нас, в листопрокатном, думаете этого не было? Было!

— И у нас, в тысячесильном, тоже!

— А в бандажном?!

— Ти-хо! Товарищи, ти-хо там на местах! Смыслов, продолжай...

— Поэтому, товарищи, я предлагаю в нашей сегодняшней резолюции потребовать принятия против зажима критики рабочих самых суровых, самых ожесточенных мер! Товарищи за роялем, запишите там у вас это мое предложение, а потом, во время перерыва, покажете мне то место, где записали...

— Что ты, что ты, Смыслов?! Ты нам, президиуму, не доверяешь?!

— А понятно, я своим глазам больше доверяю, чем чужим. Ну, как там? Уже записали? Записали, вот и хорошо. Теперь, значит, можно продолжать... Но, товарищи!.. Еще одно, тоже очень важное!.. Тут наши хозяйственники очень красноречиво объясняли нам, что критика бывает разная: бывает критика, от слова критиковать, и бывает к р ы т и к а, от слова крыть, и бывает еще третья, к р и

чика, от слова кричать, это когда малосознательные рабочие кричат на ими же выдвинутого партийного директора, кричат без толку, сами не понимая, отчего и зачем. И докладчики просили, чтобы мы только критиковали их, но не крыли и тем более не кричали. И многие из выступающих рабочих уже придерживаются этого. Но, товарищи!.. Я считаю такую линию неправильной. Никаким церемониям с нашей стороны тут не может быть места. И мы должны чисто-сердечно заявить нашим директорам: что хотя вы, друзья, и из рабочих, выдвинутые на ответственные посты из низов, все-таки, где нужна будет, например, кри-ти-ка, там мы будем вас критиковать, где же, по ходу дела, понадобится, например, кры-ти-ка, там мы будем с полным удовольствием вас крыть, а если где потребуется, например, кри-чи-ка, там, извините, мы не побоимся на вас и покричать, да, да, не без этого, дорогие...

— Bravo, товарищ Смыслов!

— Bravo, ха-ха-ха!

— Крой, не смотри!

— Помни слова партдирективы: «критикуйте всех не взирая на лица»!

— А понятно, товарищи не буду смотреть и начну сейчас крыть! За этим на эстраду, к роялю вышел! Раньше сроду не выходил! Вот только скину пальто, — а то сделалось очень жарко, — на рояль его положу, очень удобный рояль для польт... Но, товарищи!.. Раньше еще одно!.. Уже последнее!.. Хорошо, что вспомнил!.. Чуть-чуть не забыл... А ведь оно-то и есть самое главное!..

III

— А молодец этот Смыслов из сортапрокатного. Ловко их откатал. Можно сказать, с песком продрал. И, заметьте, нигде, ни в одном месте не запнулся. Сказал, как все равно по книжке прочитал.

— Дд-даа... Сейчас есть многие из рабочих, которые так наловчились говорить, столько всего понахватались, такое необыкновенное получили развитие ума, что за ними не угоняется ни один инженер... Иного слушаешь и глазам своим не веришь, что это говорит наш брат, рабочий... Слушаешь и думаешь: и откуда он все это знает, и откуда у него берутся такие подходящие слова?.. А вот я, наоборот, двух слов как следует слепить не могу, сколько ни стараюсь... Охота выступать на собраниях есть большая, даже очень большая, прямо зудит и зудит, а выступишь — ничего не выходит... Или стыдно громко произносить слова при публике и от этого память враз отшибает, или просто голова сама по себе от рождения слабая, не может держать никаких мыслей, — не знаю, не знаю... Но только сам говорю на собрании, а сам вдруг ка-ак позабуду, о чем это я людям проповедую!.. Позабуду и вдруг замолчу... Стою это на освещенной сцене, для развязности одну руку на тот рояль кладу, стою, напирая

одним боком изо всей силы на рояль, так что ребра трещат, смотрю прямо в партер, на всю публику, на несколько тысяч человек, и все время молчу, как дурак, и каждую секунду желаю себе скоропостижной смерти... А — публика!.. А публике нашей только этого и подавай!.. Она — смеется!.. Она — хохочет!.. Она — радуется, что я провалился!.. Она — хлопает в ладоши, стучит в пол ногами, ломает мебель руками, кричит с мест вся, как бешеная!.. Кричат: «Нет, нет, товарищ Прыгалов, ты хотя и в годах, с хорошей лысиной, а выступать за оратора все-таки еще не умеешь, поди раньше поучись»!.. Ну, и помолчав под общий хохот минут пять или больше, в конце концов, понятно, уходишь, спускаешься со сцены вон по той лесенке вниз, обратно сюда, в партер, идешь через весь зал, сам себе на ноги наступаешь, — то на одну, то на другую, вот-вот брякнешься мордой в пол, а тут еще это проклятое электричество лезет во все глаза, со всех сторон — слева, справа, сверху, исподнизу, окончательно ослепляет, потом, порядочно проблуждав по хохочущему залу таким чучелом, находишь, наконец, в рядах свое место, занятое галошами и пальтом, садишься и сидишь, как насквозь проплеванный... Брр! Даже вспоминать про это как-то нехорошо, конфузно... И уже сколько раз со мной так было, сколько раз!.. А все опять тянет итти выступать, все тянет... Есть, есть такая неизвестная сила в человеке... Вот, кажется, сейчас опять пойду, запишусь... Нет никакой возможности удержаться... Или лучше немного переждать, пока крупные ораторы, — политические, — пройдут, и на эстраду хлынет разная мелочь с жалобами на муку, на крупу, на семейный вопрос?..

IV

— Говорит Догадин!.. Готовится Слухов!

— Товарищи! Одиннадцать лет прожили мы и проработали так, без ничего, без никакой самокритики, в роде вслепую, молчком и, наконец, на двенадцатом году заговорили... И как заговорили! Хорошо заговорили, отлично заговорили, крепко, по-хозяйски! Товарищи, правильно я говорю?.. Сердце радуется, глядя, как наши рабочие за каждым разом говорят все лучше, все длиннее. Взять это сегодняшнее наше собрание, — вот так сидел бы тут все время и слушал! Успехи на этом фронте достигнуты нами большие, очень большие! А ведь это, товарищи, только еще начало, первый год! Что же будет дальше, годков так через пяток, десяток! Вот почему, товарищи, мы должны стараться, чтобы эта самая самокритика оставалась за нами, за рабочими, надолго, навсегда! И следить за этим надо сегодня же поручить нашим высшим профорганам! Прошу занести это пожелание в резолюцию... А теперь перейду к самому делу. Товарищи! Как вам хорошо известно, все советские фабрики и заводы управляются, во-первых, дирекцией, куда входят хозяйственники и прочая высшая администрация; во-вторых, инженерно-технической секцией, с высшим, средним и низшим тех-

персоналом; и в-третьих, нами, рядовой рабочей массой, сплоченной вокруг своих профсоюзов. Товарищи, правильно я говорю?.. И в настоящее время все эти три живые силы наших заводов имеются тут налицо. Две из них уже полностью высказались: хозяйственники и инженерá. Высказывается третья, последняя, — мы!..

— Товарищ Догадин, а почему же мы последняя? Почему не наоборот: мы, рабочие, первая, а они, администрация и техперсонал, последняя? А то нам даже обидно: мы и до революции были последние, мы и после революции оказывается последними!

— Нет, нет, тут, товарищи, у нас не об этом, кто первые, кто последние! Тут у нас только об том, как нам получше провести нашу рабочую самокритику, как пофактичнее разобрать доклады наших директоров заводов и начальников цехов! Товарищи, правильно я говорю?..

— Правильно, правильно! Продолжай, не слушай его, это он так, как всегда, бузит!

— Товарищи! Наши хозяйственники, отчитываясь тут перед нами, нарисовали нам такую веселенькую, такую заманчивую картину! В производственную работу заводов никак не могут ввести стандарт, а вот в свои доклады уже ввели: у всех у них поется одно и то же, одна и та же песня. «Производительность труда рабочего поднялась; простой машин и печей сократились; выпуск металла резко увеличился, а расход топлива, несмотря на это, резко уменьшился, сделана большая экономия; количество брака металлоизделий упало на столько-то процентов; себестоимость тонны продукции снизилась на столько-то процентов»... Слушаешь это ихнее спокойненькое чтение и думаешь: на красную доску их всех, и администрацию и техперсонал, и выдать им поскорей премиальные, пока в Москве еще не перевелись все деньги! Товарищи, правильно я говорю?.. Но это, товарищи, только начало ихней стандартной картины. А вот прочитаю конец: «Таким образом, за отчетный отрезок времени, несмотря на достигнутые исключительные успехи по отдельным секторам производства, наш завод, в общем и целом, дал нам столько-то сот тысяч или миллионов убытка»... Товарищи! Уже сколько лет под ряд я слышу тут все только про убыток, да про убыток! Когда же будет барыш? Тогда, когда шулейковские заводы станут, а мы будем на бирже труда? Товарищи, правильно я говорю?.. Вот на этом клочке бумажки я только что произвел интересный подсчет, сделал два арифметических действия — сложение и деление: сложил годовые убытки всех шулейковских заводов и полученную сумму разделил на число занятых в производстве рабочих. Получилась очень приличная цифра, достаточная для безбедного прожития в течение года семейного рабочего. И вот я спрашиваю: чем понапрасну выматывать жилы рабочих и зря переводить сырой материал, руду и уголь, не лучше ли шулейковские заводы немедленно прикрыть, а нам, рабочим, без всяких хлопот выдавать ту среднюю годовую пожизненную пенсию? В своем заключительном слове хозяйственники пусть мне ответят,

почему это для государства не лучше. Товарищи, правильно я говорю?

— Ха-ха-ха, правильно!

— Правильно, ха-ха-ха!

— Только, товарищи, не смейтесь! Отнеситесь к вопросу вполне серьезно! Вдумайтесь-ка хорошенько в то, что тут ежегодно нам преподносят! По каждой отдельной статье шулейковские социалистические предприятия успевают, получают плюсы, хотя и маленькие, а если все эти маленькие плюсы сложить, то получается огромный минус. Что это такое? Что это за математика? Не та ли это «высшая математика», которую наши инженерá недавно стали преподавать заводской молодежи на «Вечерних технических курсах»? Товарищи, правильно я говорю?.. Или, быть может, машинистка при переписке трудов красных директоров так волновалась, что получит сверхурочные, что вместо плюсов по ошибке понаставила им минусы? Товарищи, правильно я говорю?.. Как вы знаете, я сегодня подавал об этом записку директору завода № 3, на котором работаю, и директор уже ответил мне на нее с этой кафедры. Ответили своим рабочим на этот вопрос и директора других заводов. Объяснение у них простое и, конечно, стандартное, у всех четырех одинаковое. Убытки, по их мнению, у нас получаются оттого, что главный наш заказчик, Государственное Об'единение Машиностроительных Заводов или, короче, Гомза, расплачиваясь с нами за нашу продукцию, ставит нам свои цены, выработанные при таких же заказах другим заводам, Уральским, Донбасским... Вот и все. На этом наши хозяйственники успокаиваются и ставят точку. Не мы, мол, виноваты в наших убытках, виноваты другие, Урал, Донбасс, Гомза, Москва, Северо-Американские Соединенные Штаты, до сих пор не желающие признавать нашу власть.. Товарищи, правильно я говорю?.. Но наши директора видно забыли, что теперь не те времена, когда шулейковский рабочий дальше своего станка ничего не видел. Теперь, благодаря войне, мы почти все кое-где побывали, а не только в Шулейке, — хотя бы в германском плену! Теперь, благодаря революции, почти каждый из нас кое-что повидал, кроме Шулейки, хотя бы Москву, — при поездках туда то так, то с разными делегациями! Товарищи, правильно я говорю?.. И я извиняюсь, что, тоже побывавши везде и повидавши все, сейчас продолжу доклады наших хозяйственников, доведу их до понятного конца, сделаю то, что должны были сделать они...

— Догадин, осталось три минуты!

— Ладно. Скажу, сколько успею...

V

— По списку следующий имеет слово Слухов! За ним готовься Думнов!

— Товарищи! Интересный вопрос! Что это означает, когда нам

говорят, что шулейковские социалистические предприятия приносят нам убыток, и откуда же они берут эти недостающие им сотни тысяч и миллионы рублей? А это означает, товарищи, что заводы их на-тяги-ва-ют. Натягивают за счет всяких кредитов, которые нам отпускает Гомза и вообще Москва: за счет капитального строительства, за счет переоборудования, за счет запасов сырья, за счет механизации, за счет введения стандарта и конвейера, за счет техники безопасности, профобразования, медпомощи, культработы, жилстроительства, кооперирования, — за счет всего-всего, за счет всей своей жизни. Получается сдирание собственной кожи, вместо роста промышленности. Товарищи! Интересный вопрос! А может ли какая-нибудь промышленность вечно жить за счет поедания самой себя или за счет московского госбанка? Не может? Ну, конечно, не может. Вот ради этого-то, товарищи, ради спасения жизни наших заводов я и призываю вас всех сейчас: проснитесь, раскачайтесь, отбросьте всякий страх и смело вскрывайте здесь истинные причины убыточности наших заводов, их отсталости от Уральских, Донбасских! Разберите по винтикам весь механизм завода, на котором работаете, стряхните с каждого винтика пыль, сорвите ржавчину...

— Слухов, а ты говори, да не заговаривайся! Разве мы, директора, сегодня вам тут подробно не объясняли, почему шулейковская металлопромышленность не может конкурировать с уральской и донбасской?

— Объясняли, объясняли. Вот этих-то ваших «объяснений» я и хотел сейчас коснуться. Товарищи! Интересный вопрос! Нам говорят, что там, на Урале и Донбассе, вокруг крупных промышленных центров, квалифицированнее рабочая сила. Там сырье на месте, в виде месторождений железной руды, — нет накладных расходов на транспорт. Там электрооборудование лучше, мощнее, — больше и силовой и осветительной энергии и т. д., и т. д. Товарищи! Интересный вопрос! Там, допустим, квалифицированная рабочая сила, а у нас она разве неквалифицированная? У нас, в нашей болотисто-лесной топи, в местности, удаленной от всяких центров, в поселках, построенных только ради руды, — народ рождается только на заводе, воспитывается только на заводе, всю жизнь проводит только на заводе, старится и умирает только на заводе. Мы, можно сказать, наследственные металлисты, с двухсотлетним рабочим производственным стажем! Мы больше других заводов, — больше Сормова, больше Коломны, больше Брянки, — даем из своей среды ценных изобретателей-самоучек! Вы их можете встретить сейчас везде, в любой крупной металлообрабатывающей организации, даже в ВМС, даже в ВСНХ, и в Москве уже знают: раз хороший металлист, значит из Шулейки!

— Товарищ Слухов! Сегодня, кажется, уже объясняли, что когда так захваливают свой завод, то это патриотизм, который пора изжить!

— Я не захваливаю, я правду говорю! И я не завод свой защищаю, я о квалификации шулейковских рабочих говорю! Правда, мы не учились ни в фабзавучах, ни в техникумах, ни во втузах! Но зато специальность металлиста у нас в роду, в жилах, в крови! Она у нас как неизлечимая болезнь! Ей у нас заражается каждый житель Шулейки с первого дня своего появления на свет! Мы ведь и во сне видим только руду, только чугун, только ценные изобретения! А вы нам суете Урал, Донбасс... Йэх!... С досады выругаться даже хочется!..

— Так, Слухов, ха-ха-ха, так! Хорошенько!

— Просим Слухова продолжать!

— Просим! Просим!

— Ти-хо!.. Товарищи, в партере и на балконах! Президиум просит вас не аплодировать выступающим!

— А это-то по-че-му?..

— Чтобы никому не было обидно, ни хорошим ораторам, ни плохим! И здесь все-таки не состязание в ораторском искусстве, здесь как вы сами знаете, вечер пролетарской самокритики рабочих-производственников!

— Ну, ладно, ладно...

— Чего там...

— Больно строг...

— Если скажет опять хорошо, опять будем хлопать..

VI

— Говорит Думнов!

— Товарищи! Тут наши инженерá стараются забить нам голову Уралом, Донбассом и прочими далекими местностями, которых отсюда не видать. Там, говорят нам, и руда на месте и все. Товарищи! Там, на Урале, Донбассе, не спорю, руда, а у нас разве нет руды? Еще ни одному человеку во всем свете неизвестно, где больше железной руды: на Урале, Донбассе, Кавказе, Сибири, Шулейке или на какой-нибудь голой тульско-курской равнине! Кто мерял??? Товарищи! Я спрашиваю: кто мерял??? А между тем, у нас, на Шулейке, когда роют на кладбище могилы, то редко-редко какого покойника закапывают не в железную руду! У нас в лесу коровы, а на дорожных колеях лошади копытами выворачивают из почвы руду! У нас крестьянские детишки по ярам и промоинам руками собирают руду и со всех окружающих деревень возами везут ее на заводские дворы!

— Она низкопроцентная!

— Кто это там крикнул, что шулейковская руда низкопроцентная? Кто? Наверное, какой-нибудь заезжий служащий? Во всяком случае, не рабочий, который тут вырос! Говорите, низкопроцентная? А вы ее искали, высокопроцентную? Кто искал, где, когда? Никто, нигде, никогда! Правда, ходили в очках, с портвелем, смотрели, ковыряли кой-где лопатой. Но вы почитайте-ка, я вам дам, московский

журнальчик «Наука и Техника», и вы увидите, что в наше время эти дела делаются не лопатами, а электромагнитными приборами. Товарищи! Я не патриот своей местности, я не стану чересчур расхваливать Шулейковский Горнозаводский округ, не буду сравнивать его ни с Сибирью, ни с Кавказом, как это делали тут другие рабочие, выступавшие до меня. Но и я тоже не меньше, чем они, верю в будущий расцвет горной промышленности нашего края. Товарищи! Смешно сказать! У нас, на Шулейке, уже долгое время нет ни одного представителя высшей горной технической силы!

— А средняя есть?

— Средней, товарищи, тоже нет, это правда. Ни высшей, ни средней. А низшие специалисты, рабочие-горняки, те давно переменили квалификацию, из союза горняков перечислились в союз металлистов и рассеялись по разным заводам. Как раз я сам много лет работал здесь рудокопом. И я хорошо помню то время, когда шулейковская рудопромышленность кипела во всю, — здесь даже английское акционерное общество имело свои рудники. И я хорошо знаю, отчего все вдруг остановилось и стоит без движения до сего дня. Вышло это, можно сказать, без намерения, случайно. Дело было, если кто помнит, вскоре после империалистической войны. За время войны на заводах, работавших на оборону, накопилось миллионы тонн металлической стружки. Стружку сперва сваливали куда попало, выбрасывали наравне с прочим негодным мусором. Потом сделали опыт, пустили ее в переработку, и пробное литье стружки в домнах на чугун и в мартенах на сталь дало очень хороший экономический эффект. С той поры, вот уже десять лет, на Шулейку везут и везут стружку со всех концов СССР. Вы видите, товарищи, какие высокие ржавые горы тянутся вдоль всей нашей узкоколейки: это все она, навезенная к нам железная стружка. Слов нет, сама по себе она обходится заводу дешевле руды: приходится платить только за погрузку, транспорт, разгрузку. И при плавке в печах она пожирает топлива в три раза меньше, чем руда. Но зато качество чугуна и стали из стружки много хуже, чем из руды. Причина этого в том, что в каждом ста пудах железной стружки обязательно находится не меньше полпуда примеси разных цветных металлов: олова, алюминия, латуни и больше всего меди как желтой, так и красной, в красной же, кроме того, как известно, всегда содержатся еще малые дольки золота и серебра. А цветная примесь, в особенности медь, она портит черный металл. И медистый чугун, который мы льем из стружки, и медистая сталь плохо пригодны для разных металлсделаний. Хороший пример этого — трубопрокатный цех завода № 3, где я сейчас работаю сварщиком. Вы посмотрели бы, товарищи, как бьются там рабочие при сварке труб из нашего медистого железа! Ну, никак не сваривается металл, никак: ни в стык, ни в накладку! И после громадных мучений рабочих цех все-таки выпускает процентов 75 брака. А из остальных 25 процентов, годных, половина тоже никуда не годится. И в нашу

контору все время возвращается наша продукция со всех концов СССР обратно, с бранными письмами, с требованием возратить деньги, уплатить неустойку, с угрозами подать на нас в суд и пропечатать в «Правде», в отделе «Каленым железом» или «Под контроль масс». Ну, разве, товарищи, это работа? Скажите откровенно, какой частник держал бы такое предприятие? Вот откуда получаются наши убытки...

— Думнов, что же ты предлагаешь реальное, конкретное?

— Я предлагаю, товарищи, внести в резолюцию такое требование рабочих: «немедленно, в кратчайший срок, без волокитства произвести самый точный математический подсчет, что для предприятия выгоднее: катать ли изделия из чистого черного металла, выплавленного из «дорогой» руды, или же из медистого, полученного из «дешевой» стружки?» Я кончил.

VII

— Товарищи! Я немного скажу, меньше других, меньше всех. И я вовсе молчал бы, не выступал. Но подозрительно! Очень подозрительно стало работать на наших заводах! Я не знаю, может быть, в теперешнее время во всем СССР так. Например, тут, с этой кафедры, нам сегодня открыто заявляли, что в центре в настоящее время разрабатывается проект об импорте к нам в СССР из-за границы чугуна. Что это? И как нам, рабочим, отнестись к этой последней столичной новости, в каком именно смысле ее принять, в хорошем или дурном?

— В дурном!.. В дурном!..

— В дурном? И я думаю, товарищи, что в дурном... На самом-то деле! Ведь всем и каждому известно, что как Европа, как Америка, так и прочие великие державы с хищной завистью глядят на наши, необъятные природные богатства: на уголь, нефть, руду... И вдруг мы сами обратимся к ним за чугунами болванками. Тут прежде всего приходит на ум вопрос, а не поднимут ли они нас на смех? Потому что обращаться нам к загранице за железным сырьем это все равно как если бы крестьяне Воронежской губернии, для поднятия урожайности своих полей, додумались бы снарядить на казенные денежки кругосветную экспедицию в Австралию за... черноземом! Ум для этого, товарищи, надо иметь одинаковый как там, так и тут. Товарищи! Подозрительно! На двенадцатом году революции обращаться к империалистам за доменными болванками это значит позорить наше социалистическое строительство и всю нашу советскую страну! А кому это нужно? Нам, рабочим, это не нужно. Неужели мы, товарищи, в нашей шестой части света своей железной руды не сумеем достать? Неужели мы, товарищи, в нашей СССР не в состоянии построить десяток—другой новых доменных печей? Поэтому, товарищи, я предлагаю собранию потребовать от НК РКИ срочно расследовать, нет ли в проекте импорта к нам из-за границы чугуна сознательного — «шахтинского» — вредительства?

— Требуем! Требуем!

— Внести в резолюцию!

— Товарищи! Раз я коснулся одного подозрительного, то уже не могу умолчать и о другом! Тем более, что оно еще подозрительнее, чем первое! Вы, наверное, уже заметили, что по нашим цеховым и общезаводским производственным совещаниям с некоторых пор гуляет одно новое, ученое, очень и очень подозрительное словечко, занесенное туда, как видно, из тех же нечистых источников...

— Какое? Какое словечко?

— Вам сказать какое? Гмм...

— А понятно, скажи!

— Говорите, сказать?

— Ну, говори же скорее, не томи! Чего же ты стоишь, бледный, как смерть, и ничего не говоришь, молчишь! Только народ волнуешь!

— Словечко это, товарищи... про-бле-ма...

— Как?

— Про-бле-ма...

— Громче!.. Повтори!.. Тут не слышать!..

— Проб-лем-ма, товарищи. «Проблема чугуна». «Проблема черного металла». «Проблема железного сырья». А самое слово «проблема», если кто не знает, означает окончательно безвыходное положение, крышку, могилу, смерть. А какая же, товарищи, у нас в СССР может быть «проблема железорудного сырья», когда нашей советской руды хватило бы на весь мир, если только начать как следует ее разрабатывать! И русских рабочих рук оказалось бы мало, пришлось бы выписывать китайцев! И начать разработку месторождений нашей руды государству было бы много выгоднее, чем держать на социальном обеспечении, — по биржам труда да по страхкассам, — такую громадную часть здорового безработного населения, точно каких-нибудь буйно-помешанных или безруких-безногих калек. Но у нас ведь как привыкли смотреть на собственную руду? У нас она и 50 процентов считается низкопробной, нам подавай 70 или 80 процентов! А в Европе или в Америке и 30 процентной были бы рады, — только давай! Подозрительно, товарищи! Очень подозрительно стало работать на заводах! Кто-то путает и путает! Придумывает и придумывает! Придумали — «проблему руды». А у нас такой проблемы нет и быть не может! У нас скорей есть другая «проблема». Проблема технического руководства. Проблема хозяйствования. Проблема...

— Товарищи! Президиум просит сейчас же прекратить курение в зале! За дымом не видать народа!

VIII

— Широков, выходи же!

— Иду, иду... Записную книжку искал... Товарищи! Тут у меня в книжке занесены такие слова из сегодняшнего доклада наших

правленцев: «несмотря на уменьшение числа рабочих, занятых на Шулейке, на 9,8 процентов, выпуск металла в отчетном году увеличился на 31,2 процента»... Товарищи!... Число рабочих рук уменьшилось, а количество сработанной продукции увеличилось. Примите при этом во внимание, что работали наши заводы в этом году так же, как и в прошлые годы, в тех же самых условиях, а именно: по старому, без введения какой-нибудь новой рационализации или механизации, без стандарта, без конвейера, при прежних изношенных машинах, при том же допотопном оборудовании. А скачок в количестве выпущенного металла не маленький: на 31,2 процента! Что же этот китайский фокус означает? Означает он, товарищи, то, что проценты наших «частичных достижений» дирекция берет только горбом рабочих, хитрой механикой сдельщины, ловкой политикой тарифно-нормировочного бюро, ТНБ!

— Верно, Широков, верно! Постановка табельного дела у нас никуда не годится!

— Да! Да! Отметка в табелях большею частью ставится наугад! Сотни ошибок каждый месяц по цехам, сотни жалоб, сотни расследований! В конторе по неделям задерживают расчет, сверяются, ищут и выправляют ошибки!

— Почему табельщиков дельных никогда у нас нет? Почему они долго не живут, уходят? Почему старшие контролеры вместо того, чтобы своими указаниями учить их делу, лепят им тоже «пунктики»? Что-о? Говорите, местные рабочие отказываются работать в ТНБ, боятся ножевых расправ со стороны товарищей? Тогда обратитесь в профорганизацию другого района, и вам оттуда пришлют работников!

— Хронометражисты подкрадываются к работающим из-за угла, за это в морду надо давать и уже дают!

— Ти-хò! Товарищи, ти-хò! Что за выкрики с мест? Тут не базар! Президиум предлагает товарищам выступать только организованным путем, только по предварительной записи!

— По «записи»? Мы не умеем со сцены говорить, не научены. Мы можем только с места поддержать товарища, если он к делу говорит, вот как сейчас Широков! Почему у нас всякую новую работу нормируют и расценивают по полгода, разве это порядок? А постоянная урезка норм зачем? Через это рабочему стало невыгодно показывать повышение производительности труда: ты покажешь, а тебя еще подхлеснут, жилься дальше!

— Ти-хò! Товарищи, не срывайте собрание, дайте ораторам говорить, соблюдайте пролетарскую дисциплину!

— А мы разве против? Мы не против пролетарской дисциплины! Мы только говорим, что следует! Почему, например, процент приработка так мал, надо увеличить! А как оплачивают сверхурочное! А за брак! А за простойные часы, — не по вине рабочих, а по стихийным причинам! А работающим по субботам, вместо 6 часов, по 8,

за переработанные 2 часа! А бригадирам, обучающим бригады молодежи или новых рабочих!

— Товарищи, ти-хо же! Что вы, наконец, делаете?!

— Мы ничего такого не делаем! Мы только правду поворим! Клепальщики у нас, в мостовом цеху, получают не как штатники, а как временщики!

— А у нас сверловщики?!

— А у нас? Тоже самое! Бе-зо-бра-зие!

IX

— Товарищи! Поступило предложение: прекратить запись новых ораторов и ограничить время тем, которые уже записались! Президиум предлагает давать ораторам по 5 минут! Кто за это, поднимите руку! Большинство... Предложение принято. Итак, товарищи, вы теперь имеете только по 5 минут! Дорожите временем, экономьте слова, очень не распространяйтесь, ни вширь, ни ввысь, не повторяйте того, что уже говорили другие рабочие, держитесь своего завода, сообщайте только об известных вам дефектах! Помните, что в связи с реконструктивным периодом в хозяйстве нашей страны перед партией и советской властью встали огромные новые трудности, преодоление которых потребует максимального напряжения сил всех трудящихся! Помните, что помимо внешних международных задач; о которых я вам подробно говорил в начале нашего собрания, партии и советской власти приходится разрешать колоссальные задачи социалистического строительства внутри страны! В таких вдвойне тяжелых условиях классовая выдержанность и большевистски-ленинская четкость являются тем единственно надежным вооружением, которое в настоящий исторический момент должно быть особенно отточено и приведено, так сказать, в полную боевую готовность!.. Карл Маркс в своих известных письмах к Энгельсу на странице девяносто седьмой сказал...

— Товарищ председатель, твои пять минут давно прошли! Ты уже полных пятнадцать говоришь!

— Как пятнадцать?

— Так!

— А чего же вы молчали?

— Все думали: вот-вот сейчас кончишь! А ты все дальше забирал, все выше!

— Ти-хо! По списку слово принадлежит товарищу Чистову!

— Товарищи! Я извиняюсь, что не умею так гладко говорить, как тут говорил выступавший до меня председатель собрания. Скажу, как смогу. Нас просили сообщать факты. И я на живом факте хочу показать, как у нас в цехах иногда понимают и выполняют декретное «повышение производительности труда». Возьму свой сортопрокатный цех завода № 4, в смену мастера Збруева. Хотя, конечно, знаю, что то же самое творится и в смены других мастеров нашего цеха; и в других

цехах нашего завода; и в других заводах Шулейковской группы. Мастер Збруев с того дня, как вышел декрет, совсем не обращает внимания на качество продукции, гонится только за количеством. Требует от нагревательных печей, чтобы они как можно чаще подавали к стану раскаленные болванки. И печники-нагревательщики гонят во-всю, с такой частотой подают к стану раскаленный металл, что ни прокатка, ни резка, ни правка сортов железа не успевают за их подачей. И все делается как попало, лишь бы побольше пропустить штук. Не успеет прокатная полоса выйти из последних вальцев, не успеют ее даже как следует поставить для точного обмера, не успеют обрезать концы и выправить кривизну, как смотришь, уже подают из вальцев другую прокатанную полосу, за ней сейчас же третью, четвертую... И обрабатывают полосу, можно сказать, на лету, не зачищают аккуратно концы, не отмеривают точную меру, не замечают погнутых мест, — лишь бы поскорей освободить руки для следующей полосы. А править и отделять нарезанные полосы после нет никакой возможности: железо уже остыло. И правщикам приходится производить целую новую работу: класть искривленные полосы на стелюги. При всем том, суэта и крики среди работающих стоят всю смену прямо невозможные! Все спешат, хватают, бросают, торопят друг друга, обвиняют, жалуются, грозят! А какой мат висит в воздухе все восемь часов! Не цех, а ад! Не работа на мирном строительстве, а активное участие в гражданском бою, в котором не разберешь, где революция, где контрреволюция, потому что с разных сторон приходится слышать разные слова... Какая же выходит из этого столпотворения продукция? Известно, какая: где укороченная против нормы, где удлиненная, где погнутая, где с раковинной, где с грибком, — сплошной брак! И направляется она, вы думаете, на продажу? Конечно, нет, — в сталелитейный цех, как лом, как та ржавая стружка. Оттуда, из сталелитейного, тот же кусок металла, в виде болванки, может снова попасть в наш сортопрокатный цех, там, в том гражданском бою, из него опять сделают негодное изделие, которое снова отправят как брак в литье, из литья к нам, в прокатку... Так один и тот же брусок железа может иметь у нас бесконечное хождение внутри заводского двора, — из цеха в цех, — и приносить социалистическому государству неисчислимые убытки. А в заводской конторе в это время будут, на основании данных местера Збруева, вычислять проценты «повышения производительности труда», сравнивать число тонн металла, пропущенного сейчас через цех, с тем, что пропускали раньше. И таких бросовых изделий у нас в одну смену наберется тонна, полторы, две. А истинную цифру брака никто не знает и не узнает никогда, потому что изделия с явным дефектом не допускаются до инспекции, прячутся от нее, выбрасываются самими работающими раньше, просто вывозятся во двор, на железную свалку. Там, в этих железных могилах, похоронена наша заводская правда! И я вот сам тут громогласно раскрываю «тайны мадридского двора», а сам чувствую, ох, и налепят же мне за это в цеху «пунктиков»!

— Нет, нет, товарищ Чистов, не бойся! Мы тебя, если надо будет, во всякое время поддержим!

— Да, знаю я, как вы «поддержите». Конечно, пожалуй, я тут многое зря наболтал...

— А понятно зря! Чего же ты не сказал, где во время этого «гражданского боя» бывает ваш инженер, начальник цеха?

— Когда появляется в цеху инженер, тогда работа безусловно начинает итти порядком. Он только накричит на нагревальщиков, чтобы те реже подавали из печей, и работа сейчас же начинает итти нормально, без завала, без брака. Но как только он из цеха, — так опять начинается прежнее: гражданский бой, мат...

— Чистов, твои пять минут кончились!

— Товарищ председатель! Делаю от имени собрания запрос, а почему члены президиума потайком курят? Я почти что целый час наблюдаю за ними: курят и еще смеются, думают, никто не видит! Если не курить, то не курить всем!

— Да! Да! Всем! Всем!

Х

— Товарищи! Моя речь будет итти о «снижении себестоимости», о том, как оно у нас проводится и за чей счет. Товарищи! Предупреждаю, если буду волноваться, то вы на это не смотрите... Товарищи! Ради декретного «снижения себестоимости» труд рабочего на шулейковских заводах уплотнен до последней степени! Рабочего можно сказать, гонят и в хвост и в гриву, а премиальные за это снижение получают... спецы, инженерá! Заводы, все до одного, приносят убытки, а инженерá, все до одного, получают премиальные! И одни премиальные инженера составляют более крупную сумму, чем весь заработок рабочего! Товарищи! Как мы должны все это понимать? Может быть, так, что мы, рабочие, как люди более сознательные, за свой тяжелый труд получаем утешение, что участвуем в социалистическом строительстве, а они, инженерá, как народ более отсталый, предпочитают получать наличными? И вот мне хочется сказать им, нашим рвачам-спецам: довольно, многоуважаемые! Довольно! Мы не двужильные вам какие-нибудь, чтобы из пода в год на своих шеях вывозить ваши проценты «частичных достижений»! Потрудитесь вспомнить, что вы специалисты инженерá, что вас чему-то учили, и покажите проценты как «снижения себестоимости», так и «повышения производительности труда» не напором на мускульную силу рабочих, а введением новейших усовершенствованных способов работы, применением на практике последних открытий технической науки как русской, так и иностранной! В № 299 «Известий» председатель ВСНХ, товарищ Куйбышев, пишет: «производительность наших доменных печей на одного рабочего в год составляет 330 тонн, а в САСШ эта цифра на одного рабочего в 10 раз больше и равняется 3.300 тоннам. То же

самое,—продолжает тов. Куйбышев,—и в металлообработке и в машиностроении»... Что же, шулейковские спецы, вы и Америку перегонять будете одной голой физической силой рабочих? А где ваша обещанная «новая техника?». Мы ее что-то не видим: как работали, так и работаем!

— А мы ви-но-ва-ты??? Мы виноваты, что на переоборудование двухсотлетних шулейковских заводов Гомза не отпускает нам необходимых кредитов??? Ведь если, как вы говорите, «перегонять Америку», то для этого надо срыть до основания старые заводы и на их месте поставить новые!!!

— Нет, нет, товарищи-спецы! Признайтесь, что дело тут вовсе не в кредитах Гомзы! А дело тут в том, есть ли у вас охота к советскому строительству! Рабочим говорят: «творчества, творчества побольше проявляйте в вашей работе, вносите побольше дельных предложений». И мы проявляем, и мы вносим. А вы? А вы, товарищи-спецы? Где же ваше творчество? Вы, как чиновники, отбываете на заводах свою служебную повинность от первого числа и до первого! И—только!

— Это неправда!!! Мы р-работаем!!!

— Нет, правда! И я не говорю, что вы не работаете! Вы работаете! Вы аккуратно исполняете обязанности, перечисленные в советском тарифном справочнике, но больше этого палец о палец не ударяете! Поднять завод вы не интересуетесь! А чем вы интересуетесь, мы даже не знаем! Ни завод, ни заводское дело, ни заводские рабочие не привязывают вас к месту, вы долго не засиживаетесь на одном предприятии, порхаете с завода на завод, как бабочки с цветочка на цветочек! С Урала кидаетесь на Донбасс, оттуда в Сибирь, оттуда на Шулейку! Шкурники, везде ищите личных выгод, спешите туда, где вам обещают больше платить!

— А вы?! А вы, товарищи рабочие?! Вы разве не ищите лучших условий труда?!

— Мы? В своем заключительном слове вы еще будете иметь время сказать об нас, какие мы, а пока речь идет об вас, какие вы! И разве можно сравнивать вашу нагрузку работы с нашей! Мы—везде, вы—нигде! Вы не показываете вашей активности ни в чем, ни на общественном участке, ни на чисто техническом! Вас нет в наших кружках изобретателей, вы редкие гости на производственных совещаниях, вас не видно ни в одной культкомиссии!

— А вы нас при-гла-ша-ли???

— А как же вас еще приглашать? Вы члены нашего союза и все, что делается в союзе металлистов, должно касаться вас, без всяких приглашений! А вы—нет! Вы, инженерá, живете среди нас, рабочих, как иностранцы среди русских! Вы в нашем СССР как подданные чужой страны, как, бывает, приезжают из Америки технические эксперты!

— Ложь!!!

- Кле-ве-та!!!
- Трав-ля спе-ци-а-лис-тов!!!
- Пок-леп на ин-тел-ли-ген-цию!!!
- Де-ма-го-гия!!!
- Аг-гит!!!

— И как бы мы—ин-же-не-ры ни ста-ра-лись—вы все рав-но во всем бу-де-те ви-нить нас!!!

— Товарищ председатель!!! Вы видите, что у вас тут творится??? Ответьте же честно, что это: критика, крытика или кричика??? Ааа!!!

ХІ

— От заводских чернорабочих слово имеет крестьянин Аввакумов.

— Товарищи пролетарии. Прошу обратить внимание. Мы, конечно, из села Малые Ельники. В заводском поселке нету квартир, и мы каждый день ходим пешаком на завод и с завода, туда 8 верст и отудова 8, всего 16. Прошу обратить внимание. Как чернорабочие, работаем мы большая часть не в штату, а поденно, ни от какой работы не отказываемся, с часами и минутами не считаемся, как считаются пролетарии. Прошу обратить внимание. Тянем, как волю. Ни спины, ни рук, ни ног не жалеем. Не говоря об одеже и обуви. А получаем всего по первому разряду, каких-нибудь 30 рублей в месяц, наравне с заводскими сторожами. Но сторожа, те хоть находятся под крышей, а мы работаем под открытым небом, на заводских дворах, в складах, при узкоколейке, во всякую погоду. В дождь, в мороз. Прошу обратить внимание. Мы ворушаем десятипудовые тяжести, вручную нагружаем и сгружаем платформы. А пролетарии работают в помещении, под прикрытием, в тепле, на себе тяжестей не таскают, а все на тележках да на роликах, да на таях, и получают по 4, 5, 6 разряду. Прошу обратить внимание. Когда во время долгого простоя или рационализации пролетариям, заместо увольнения, предлагают временно заступить на нашу работу, то они отказываются, говорят: «это лошадиный труд», «от него можно сдохнуть с непривычки», и берут лучше расчет, тем более, что они будут получать с биржи труда, ничего не работая, почти такие же деньги, какие получаем мы за свой тяжелый, ненормированный труд...

— О, уже запел, запел Лазаря!

— Завел волюнку!

— Затянул!

— Дайте ему там, которые поближе, копеек 30 на лапти, он и уйдет! Ха-ха...

— Товарищи! Без замечаний с мест! Не мешайте ему говорить! Он вам не мешал! Чернорабочие имеют точно такое же право на самокритику, как и вы, квалифицированные рабочие!

— Прошу обратить внимание. Как пролетарии лаются сейчас на

меня здесь на собрании, так они постоянно измываются над нами на заводах. Редко, редко который пройдет мимо и не бросит в нашу сторону какую ни то насмешку. Мы и «деревенщина», и «лапти», и «кушаки», и «навозники», и «темнота», и «не перекипели в заводском котле», и «на производство нам наплевать», и «ни в каких обществах» не участвуем, и «лишь бы отработать смену и поскорей в свою деревню, к своему свинушнику». Мы и на работу ходим 16 верст не из нужды, а из «жадности». Мы и хлеб у других отбиваем, потому что у них по поселку ходит без дела много своих безработных, членов союза. Прошу обратить внимание. Когда на заводе из цеха пропадает инструмент или со двора полоска железа или со склада готовое изделие, пролетарии говорят: «больше некому взять, как только работающим на заводе крестьянам, потому крестьянину для его хозяйства железо нужней всего, деревенский кузнец из куска железа сделает ему любую вещь». И у сельского кузнеца Малых Ельников постоянно делают обыски, но никакого железа не находят, кроме полосок, которые он покупает на заводе за деньги и проводит по заводским книгам. Прошу обратить внимание. На заводе № 1 больше двух лет крали с моховиков приводные ремни. Накрали уже на громадную сумму денег, а кто—неизвестно. Понятно, опять все думали на крестьян, работающих на заводе. Перетрясли всех деревенских сапожников, рассчитывали найти у них хотя кусочек кожи с тех ремней, но ничего не находили. Когда вдруг как-то перед вечером, во время второй смены, заводский пожарник вышел из проходной наружу и глянул вдоль деревянного заводского забора. Смотрит—какой-то человек сидит на земле и в роде подкапывается под доски забора. Пожарник сразу подумал, что поджигатель, сразу дал во дворе свисток, сразу прибежали еще двое пожарников и дежурный милиционер, вчетвером они сразу словили того человека, а при нем сразу нашли громадный приводный ремень, который он протаскивал под забором. И в том воре сразу признали штатного шорника, который заведывал ремнями на заводе. А два года думали на крестьян! Прошу обратить внимание, занести мои слова в резолюцию, что от нас, значит, есть просьба, от крестьян...

— Аввакумов, твои пять минут прошли! Довольно!

— Прошу обратить внимание. В обеденный перерыв, когда в цеховых столовках играет радий, мы тогда туда не заходим, закусьваем на воле, где придется, чтобы ничего не подумали на нас, потому в тех столовых каждый день пропадают ложки, алюминиевые кружки, хорошие такие миски...

— Аввакумов, довольно!

— ...Прошу обратить внимание, новенькие, целенькие пропадают, а старые, помятые, остаются...

— От заводской рабочей молодежи! Выпускник фабзавуча! Комсомолец Поступаев! Есть?

— Есть!

XII

— Товарищи! Мне придется говорить очень о многом, можно сказать, обо всем, и я не знаю, как это уместить в пять минут...

— Говори, сколько успеешь! Остальное в другой раз!

— Ну хорошо... Товарищи! Как индивидуальное заводское ученичество, как бригадное, так и наши «фабзайцы» поручили мне довести до сведения настоящего собрания, что на Шулейке слишком мало уделяется внимания рабочей молодежи. В этом повинны: и заводская администрация, во главе с партхозяйственниками, и наши профорганы, во главе с райкомом металлистов. У техперсонала все еще не изживается взгляд на молодых рабочих, как на малонадежных, и в цехах есть много квалифицированной рабочей молодежи, которую заставляют возить по заводскому двору железную стружку, таскать дрова, убирать в цехах мусор. И инструктора, и мастера нисколько не считаются ни с их просьбами, ни с их заявлениями. «Когда мы обучались, так мы лет 5 мастеру за водкой да за табаком бегали, а вы нервничаете, спешите, хотите в два года квалифицированным рабочим стать, больно зеленые, поживите, поучитесь еще». И если молодежь успешно сдаст пробу, скажем, со второго разряда на третий, то ей долго еще продолжают плагить по старому, по второму, и т. д. и т. д. Такое несерьезное отношение старших рабочих к молодежи, к сожалению, нередко объясняется тем, что молодежь отказывается среди работы прорываться с завода через проходную и приносить контрабандой бутылку для старшего, когда тому бывает нужно опохмелиться. Не поможешь старшему опохмелиться в цеху, и он не помогает тебе, не учит работе. Что-нибудь спросишь его, а он: «погоди ты, некогда мне, я сам сдельно работаю». Еще хуже отношение старших рабочих к ученицам ФЗУ и вообще к металлисткам-девушкам. Шуточки, усмешечки, почти презрение. Кроме того, девушку ставят обязательно на худший станок и дают ей неинтересную работу, одну и ту же. «А зачем им учиться на хорошей работе? Все равно скоро выходят замуж, и учение на казенные денежки пропадет даром: сделаются обыкновенными домашними хозяйками, будут мужьям тряпки стирать, щи варить, по очередям в потребилловках продовольственные новости собирать. А если которая-нибудь, одна единственная, самая неудачливая, некрасивая рожей, и удержится дольше других на производстве, так ее портреты будут печатать в газетах и журналах наравне со Львом Толстым!!» Такой устарелый взгляд у старших рабочих на девушек и женщин мы должны как можно скорее изжить. По случаю предстоящего перехода нашей промышленности на высшую техническую базу, нам необходимо готовить кадры культурных рабочих. В первую голову в этом отношении надо напереть на мастеров и их подручных. Сами мы этого сделать, конечно, не можем, так как мастер от свистка до свистка командир на производстве, и нам приходится только подчиняться ему. После же смены он просто знать нас

не желает. Поэтому мы, рабочая молодежь, просим собрание поставить этот пункт в резолюцию. Потом у меня тут записан еще целый ряд острых вопросов, о церковных праздниках, пьянстве, прогулах, симуляции, но я не знаю, успею ли... Товарищ председатель, сколько у меня осталось времени?

— Всего две минуты!

— Ну хорошо. Тогда я остальные вопросы отложу до следующего раза, а сейчас по поручению ячейки комсомола нашего ФЗУ сделаю вам краткий отчет о нашем первом пролетарском походе в деревню Куртамышевку, на смычку с крестьянством. В Куртамышевке мы проделали следующее: 1) раскололи куб сучковатых дров для школы; 2) отремонтировали в избе-читальне библиотечный шкаф, у которого заднюю спинку всю дочиста проел шашель; 3) починили 9 ведер для куртамышевских бедняцких крестьян: у шести вставили новые доньшки, у двух выправили помятые бока, к одному приделали дужку; 4) исправили пять самоваров, в течение многих лет дававших сильную течь; 5) одной старухе запаляли три дырки в тазу для мытья в бане, очень благодарила...

— Поступаев, две минуты прошли! Будет!

— Все куртамышевские крестьяне смотрели на нас с удивлением, как на американцев, спрашивали, чьей мы веры, наши ребята отвечали: ле-нин-скай...

XIII

— Дарья Агаповна Захаркина! От вспомогательных рабочих!

— Граждане рабочие! Я хочу высказать, как шулейковские заведующие магазинами ЦРК делают злоупотребления с продуктами. После получки пятнадцатого числа этого месяца зашла я в магазин ЦРК № 3 посмотреть, что почем, узнать, какие есть новости и в ценах на продукты. Гляжу—в магазин поступили при мне две трубки столовой клеенки! Я успела заметить, что клеенка хорошая, ноская, будет служить и служить, если взять кусок метра полтора и накрыть стол. Я к приказчикам, к одному, к другому. Те: «обратись к заведующему». Я—к заведующему, а он грубо так, невежливо: «сейчас клеенка не продается». Почему не продается? «Цена не проставлена». А когда же будет проставлена? «Зайдите на-днях». Прихожу на другой день. Прямо к заведующему: где клеенка? «Клеенки нет». Как нет? Где же она? Я хотела себе купить кусок на стол! «Поздно пришли». Значит, вчера очень рано пришла, а сегодня очень поздно, когда же к вам приходите, чтобы что-нибудь купить? «Гражданка, не докучайте глупыми вопросами, нам некогда, мы работаем». Потом от приказчиков узнала, что клеенка в магазине в продажу вовсе не поступала. Теперь я спрашиваю у собрания: где же та клеенка?

— Захаркина, ты все сказала?

— Нет еще...

— Тогда поторапливайся, а то время идет...

— Не могу сразу опомниться... Как подумаю про ту клеенку, так дух внутри переворачивается... Потом еще хотела высказать, что заведующий магазином ЦРК № 3 имеет моду относить к себе на квартиру дефицитные товары. Когда выходит из своего магазина, всегда со свертком, хоть и с маленьким, а все-таки со свертком, жадность не позволяет с голыми руками итти. В ту субботу, после закрытия магазина, он вынес: 1) три кила рису; 2) полтора кила сливочного масла; 3) три четверти кила китайского чаю... А когда проходил через площадь Карла Маркса, то опять не утерпел, остановился, постоял—постоял среди площади, подумал—подумал, потом завернул к хлебному ларьку ЦРК и прихватил буханку хлеба,—а мирным жителям дают только по полбуханки на семейство.

— Откуда ты все это знаешь? Не член ли ты лавкома?

— А понятно, член. И приказчики мне все на заведующих показывают.

— Аа! Чего же ты раньше не сказала, что ты член лавкома? Об этом надо было сразу сказать. Еще имеешь что-нибудь заявить?

— А понятно, имею.

— Ну, заявляй, заявляй. А то время твое истекает.

— Ваньку знаете?

— Какого Ваньку?

— Ну, Ваньку. Неужели Ваньку не знаете?

— Ты скажи, какого? А то я, может, двадцать Ванек знаю!

— Ну, Ваньку. Старшего приказчика из мясной лавки ЦРК. Так вот этот Ванька ведет дружбу с шулейковскими частниками, отпускает им мясо по пониженным ценам. Подойдет рабочий или работница к хорошему куску мяса, спросит почему,—Ванька оценивает кусок, как первый сорт, по 72 копейки кило. Потом подходит к тому же жирному куску частник, мануфактурист с нашего базарчика или обувщик или галантерейщик. Ванька засмеется от радости, что видит их, и расценивает для них тот кусок уже как второй сорт, по 53 копейки кило. И нам, пролетариям, по пониженной цене попадает мясо только изрубленное на мелкие кусочки, просто сказать, обрезки, которые иначе никому не спихнешь.

— Все сказала?

— Нет. Про манную крупу еще ничего не говорила. Привезут в ЦРК мешок манной крупы, расхватывают всю за час, за два, кому надо и кому не надо, а потом опять жди ее полгода, и матерям бывает нечем кормить малых детей. Манную крупу надо выдавать по удостоверениям только тем матерям, у которых есть дети до двух лет.

— Об этом заяви в охрану материнства и младенчества. Все? Кончила?

— А про хлеб надо? Все равно уж скажу и про хлеб. Сейчас, чтобы в пекарне ЦРК получить норму хлеба, надо простоять в очереди полдня. И хлеб дают плохого качества, неукисший, сырой, мятый,

с палками, с мочалой. И раньше спыливали буханку мукой, а сейчас мякиной, попадаются перья, а то земля.

— Что же ты предлагаешь?

— Чтобы прекратить очереди и разгрузить пекарни, мы, женщины, домашние хозяйки, предлагаем выдачу печеного хлеба заменить для желающих мукой. Весь народ кинется на муку, и всем сразу станет легче: и пекарям и покупателям хлеба.

— Ой-ой-ой!.. Ты уже знаешь сколько лишних минут проговорила?.. А мы-то слушаем тебя!.. А мы-то сидим и молчим!.. И ни один не смотрит на часы!.. Вот завлекла!.. Ха-ха-ха...

— Ну, где уж там завлекать. Завлекать—не те годы.

XIV

— От счетно-конторских служащих! Товарищ Самокатов!

— Товарищи! Что можно рассказать в пять минут? Конечно, только самые пустяки. Серьезного, научного, вычитанного из книжек ничего не расскажешь, хотя здесь, я вижу, больше половины собрания нуждаются в этом. Ну, тогда расскажу вам пустяк на пять минут. Когда наш завод № 2 решил распродать кое-какой остаток бывшей господской мебели, то единственным покупателем всей обстановки явился комендант завода, товарищ Хачипуров, член партии, с боевыми заслугами в прошлом. А я, как не за страх, а за совесть сочувствующий советской власти, как раз в то время находился в добровольных сотрудниках районного РКИ, в подсекции разбора жалоб и заявлений от мирных жителей. Ну, и, конечно, половина всех жалоб, которые к нам сыпались в то время, была посвящена покупке товарища Хачипурова заводской мебели. Редко какой житель Шулейки не писал нам об этом. Население, можно сказать, в один голос показывало, что т. Хачипуров «единолично, втихомолку, а также по слишком низкой цене» завладел всеми этими люстрами, вензелями, брензелями и прочей графской дребеденью. Не скрою, я сам, как и многие шулейковцы, тоже давно ожидал этой распродажи, имея в виду приобрести для себя в рассрочку пару английских кроватей с никкелированными головками. Не лично я, конечно, а моя жена. И вот, подучив множество заявлений от возмущенных граждан, я, конечно, сейчас же бросился собирать полномочное число членов комиссии, с которой и нагрянул на квартиру товарища Хачипурова. Но, несмотря на всю мою спешку, оказалось, мы опоздали. Когда мы подошли к квартире коменданта, там разгружали уже последнюю подводу с барахлом. Сам Хачипуров находился в квартире, сидел на застеленной английской кровати и держался рукой за никкелированную шишку. Ну, что нам было делать, не стреляться же с ним! И мы ограничились тем, что проверили формальную часть покупки, и, найдя все в полном порядке, ни с чем ушли. Ясно, что его предупредили. Товарищи! Такое поведение сознательного

партийца я называю нездоровым подходом к экономическому вопросу. Вылазка коммуниста к графской мебели, я уверен, разлагающе повлияет на отсталую часть рабочей массы. Тем более, что среди мебели попадались неплохие вещишки, которые каждый непрочь был бы купить. Лично мне моя жена всю жизнь не простит тех двух кроваей с никкелированными шишками. Будет вечно корить: «зачем же ты, разиня, в РКИ сидел! Другие хотя с пользой сидят»...

— Ну, довольно, довольно, Самокатов, твои минуты прошли, садись, не трепись! Следующий по списку: Гу-ля-ев!

— Отказываюсь!

— Почему?

— Про мебель графскую хотел рассказать. То же тогда в РКИ жалобу на Хачипурова подавал.

— Ну, тогда Бегунов выходи! Бегунов!

— Тоже отказываюсь!

— А ты почему?

— Тоже про графский шурум-бурум желал высказать.

— А еще кто-нибудь из записавшихся ораторов есть, которые гоже рассчитывали про графский хлам говорить?

— Есть! Есть!

— Тогда поднимите руки, и я сразу вычеркну вас из списка, чтобы потом не терять времени зря, не вызывать! Ого, сколько! Порядочно!.. в верхнем ярусе тоже есть... Раз, два, три...

— Товарищ председатель, а товарищ председатель! Об'ясните, что же это такое? У вас в президиуме опять курят! Вношу два внеочередных предложения: или немедленно всем снова начать курить в зале, или у всех членов президиума отобрать папиросы! Нельзя быть до такой степени мальчишками! Раз постановлено было не курить, значит не курить! А у нас одни подчиняются, другие нет! Старые терпят, молодые курят! Только людей выводите из терпения! Лично я прямо не знаю, что сейчас могу наделать! Для вырешения этого вопроса и чтобы дать желающим покурить, прошу об'явить перерыв!

— Об'является перерыв на пять минут!

XV

— Товарищ Певунов, мы тебя знаем, ты большой любитель поговорить, а времени у нас, сам видишь, мало, так что ты, пожалуйста, сообщай только факты, какие знаешь, только голые факты!

— Хорошо. Так и сделаю. Факт первый: прислали к нам в цех из-за границы три ненужных станка. Кто прислал, кто выписывал, этого до сего дня не удалось выяснить, хотя стоят эти станки у нас в цеху уже полтора года. Стоят? Ну, и пусть себе стоят. Портятся? Ну, и пусть себе портятся. Никому не нужны? Ну, и пусть себе не нужны. Гомза заплатила за них валютой громадные деньги? Ну, и пусть

себе заплатила. Не из нашего же кармана она платила. Так, прошло полтора года, и про историю со станками стали забывать... Когда вдруг я как-то разозлился и, под влиянием аффекта, минуя все профсоюзные инстанции, передал дело об импортных станках прокурору. И сейчас, через полтора года, прокурор повел это дело в спешном порядке. Факт второй: красуется в столовке нашего цеха кипятильник «Титан», поставленный там давно, еще когда Шулейке угрожала холера. Но беда в том, что «Титан» все эти годы только стоит в столовой, но не работает: прислали неисправным. И рабочие прозвали его «Золотым Титаном» и вот почему. Ежегодно на него ухлопывается масса денег, — то на ремонт, то на реконструкцию, то на покраску. А толку с него попрежнему ни на грош: не действует. Тогда однажды выписали для него насос, — для механизации, — воду в него помпой накачивать, что делалось раньше вручную. Но и насос, как насмех, прислали неисправным, и теперь ни «Титан» не работает, ни насос не действует. Тогда стали ассигновывать средства на правку, реконструкцию и перекраску насоса. Тут я как-то рассердился и, через голову всех промежуточных властей, направил дело о «Золотом Титане» прямо к прокурору. Факт третий, мелкий, — все факты нарочно выбираю мелкие, — потому что крупные вы сами заметите. Наш клуб получил средства на выписку для клубной читальни подписных периодических изданий. Но, вместо этого, завклуб сейчас же на те деньги приобрел для себя и для своего помощника два хороших портфеля. И у нас есть читальня, но на этот год без газет и журналов, а зато с двумя завами и с двумя хорошими портфелями. Дело это, благодаря мне, уже у прокурора. Факт четвертый: на конном дворе завода № 4 хиреют лошади. Хиреют и хиреют! Сбруя никуда не годится, протирает на теле раны... Копыта сбиты, не подкованы вовремя... И никто не обращает на это никакого внимания: ни конюх, ни шорник, ни ветфельдшер, ни кузнец, ни заведующий конным двором... Раз иду, а одна лошадь во время работы пала на месте, на заводском дворе, поперек рельсов узкоколейки. Через час дело о павшей лошади уже находилось на внеочередном рассмотрении у прокурора.

— Одна минута осталась!

— Сейчас кончаю, товарищи. Факт пятый. Выпил чаю с медом и разболелся у меня зуб. Да так разболелся, что я места себе не находил! Болит и болит, проклятый! Ну, думаю, смерть пришла, и какая глупая смерть, — от зуба! Жена посмотрела — дупло. Решили сейчас же вырвать. Побежал я в заводскую больницу. Ждал час, другой, третий, но пришло время итти на мою смену, и я ушел. На другой день — тоже самое, прождал часа два-три, ушел ни с чем. На третий — тоже. На четвертый день прихожу в больницу уже с бумажкой от прокурора, и мне в секунду вырвали зуб, — хотя тогда его уже не надо было вырывать, не болел, и дупла в нем никакого не оказалось, была простая чернинка. И вырвал я его только из принципа. И из уважения к хорошему прокурору.

— Ми-ну-та кон-чи-лась!

— Дать ему еще минуты две-три! Хорошо говорит!

— Дать! Дать! Очень по правилу рассказывает!

— Нет, нет, товарищи, благодарю вас, прошу не давать мне больше ни одной минуты, потому что мне и нескольких часов и нескольких суток оказалось бы мало, чтобы рассказать все, что я знаю! Только даром раздразните мой аппетит!

XVI

— Демобилизованный красноармеец Пловцов!

— Товарищи, когда не хватает квартир в Москве, это я еще понимаю! А когда жилищный кризис наблюдается даже в лесных дебрях Шулейки, то этого я уже никак не могу переварить, никак! Что это такое? Всем жителям шестой части мира вдруг стало негде жить! Короче говоря, я хочу объяснить, что наши заводоуправления совсем не занимаются вопросами жилищного строительства. Правда, Гомза идет нам на помощь, поощряет индивидуальное строительство рабочими для себя домиков, отпускает долгосрочную ссуду, почти что достаточную для всей постройки. Но при каждом сокращении на заводе увольняют в первую очередь тех рабочих, у которых имеются свои дома, — «домовладельцы», «собственники». И приходится выбирать одно из двух: или работать на заводе и быть сытым, или сидеть в «собственном доме» и быть голодным. Все выбирают первое. И я тоже. Вот почему я не строюсь, а вернувшись со службы из Красной армии, третий год добиваюсь получить себе жилплощадь в домах поселка. Я тормозил уже всех: и жилищную комиссию при завкоме, и райком металлистов, и наш партколлектив, и упрофбюро, и губотдел труда, и везде встречал очень большое сочувствие. А квартиры для меня все-таки нет. Тогда, убедившись, что тут я ничего не добьюсь, я обратился кое-куда повыше, с документом, содержание которого сейчас оглашу. Знаю, заранее знаю, что заводские власти всех видов будут мне мстить за эту бумажку в Москву. Но пусть мстят! Я не сложу оружия, пока не потеряю веры, что идеал справедливости, в конце концов, должен взять верх! Документ — огромной важности, адресован он увидитесь каким большим лицам, поэтому во время моего чтения прошу соблюдать полную тишину... Но пяти минут для такого документа, товарищи, мало. Но, я уверен, что если документ вам понравится, то вы общим собранием прикиньте мне еще минут 10—15...

— Да ты читай скорей! Читай!

— Начинаю! Читаю! «В Центральное Бюро Жалоб при НК РКК СССР в городе Москве. Демобилизованного красноармейца, потомственного рабочего-металлиста горнового доменного цеха госметзавода №4 Шулейковского Горнозаводского Округа заявление. Копия предсовнаркома т. Рыкову. Копия предвзика т. Калинину. Копия наркомвоенмору т. Ворошилову. Копия наркому труда т. Шмидту. Копия

наркому просвещения, — как к нам однажды приезжавшему с лекцией против бога, — т. Луначарскому. Копия генеральному секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину. Копия председателю ВЦСПС т. Томскому. Копия председателю ВСНХ т. Куйбышеву. Копия редактору «Правды» т. Бухарину. Копия т. Крупской. Копия т. Ульяновой. Копия, — на предмет срочной экспертизы моих умственных способностей, взятых тут под сомнение нашими заводскими партволкодавами, — т. Семашко...

— Стой, стой, погоди, товарищ Пловцов, не читай, там, в коридорах, какой-то странный шум, ничего не слышать... А это что за люди врываются в зал? Что за безобразие, — зачем же двери ломать? Откуда их столько? Прут и прут без конца дикой ордой! Товарищи, кто вы такие? Разве можно ломиться так в помещение, ведь получается сплошная свалка! Не видите, что давите друг друга? Не слышите, трещат скамьи? Окна, окна, окна там выдавите, зачем взбираетесь толпой на подоконники! Ага, вы, вероятно, из профсоюза с льготными билетами в кино? Но сейчас кино здесь не будет, на сегодня оно переведено в старый наш клуб, и картина «Усни, сердце, усни» будет показываться там, идите все туда, поворачивайте обратно! Жи-во!

Р ы н о к.

МИХ. РУДЕРМАН

Здесь в заговор утвари, платья и пищи
С воскресным азартом врывается вдруг
Неистовый гомон мальчишек и нищих,
Разносчиков юрких и хищных старух!

Он глушит прохожих, проснувшийся рынок,
Кромешным гуденьем рядов и лотков!
... И стынет, как в море, в прозрачных витринах
Оранжевый остров окороков.

Встает безголовая туша белуги,
Как меч, поднимая хвоста острие,
У хмурых и мерзлых низовий Ветлуги
Ловили ее и глушили ее!

В решетках — веселая россыпь ранета,
Лимонов и груш, заготовленных впрок:
Еще сохранившие отблески лета
И матово-нежный садовый пушок.

Я слышу глухую возню скотобоен
И круглый, медлительный мельничный гул,
Я вижу, как сети с плотвой голубою
— Кипящую прибыль — рыбак развернул!

Прекрасно упорство и тяжесть работы
Натруженных рук и бессонных ночей...
Грохочут груженные хлебом подводы,
Гремит говорливый, голодный ручей.



Струя

РУД. БЕРШАДСКИЙ

Тишину акаций у Днепра
Укачали майские ветра.

Голову горячую свою
Опусти в прозрачную струю

И раскрытым глазом под волной
Наблюдай искрящееся дно.

Ты увидишь, как из-под камней
Рвется стайка вздорных пискарей

И над прелой плотностью песка
Спину забияки-окунька.

Высоки Днепровы берега:
Чуть оступишься —
И сломится нога.

В быстроречной ясности струи
Я учусь свой робкий взгляд вострить,

Чтобы жизнь, обильную как дно,
Различал бы даже под волной.



Люди и факты

1. Дан. КРЕПТЮКОВ. Из книги «Степные восходы». — 2. А. АГРАНОВСКИЙ. Хутора безыменные. — 3. Н. ШКЛЯР. Телеграмма.

1. ИЗ КНИГИ „СТЕПНЫЕ ВОСХОДЫ“

(Очерки о колхозах)

Дан. Крептюков

В о л ы

— Семь верст в сутки, — только березки мелькают...

Но северных березок не было вблизи и в помине, может быть, в радиусе многих сотен верст. Стояли здесь поблизости, как неживые, запыленные, прожженные насквозь акации. А о березках этот низкорослый, широкогрудый человек вспомнил разве только для красного слова.

И, действительно, более меткого и насмешливого сравнения придумать нельзя было, потому что здоровые, сытые, выкормленные волю с какими-то особо крутыми рогами, плелись не быстрее одной версты в час. Они дружным дуэтом покачивали мясистыми мордами, словно утверждали этими движениями какую-то стойкую, вековую и мудрую истину, выношенную еще их отдаленными предками в этих бескрайних степях. Поблескивающие, как ледяные неподвижные босули, длинные волокна слюны свисали с тупых, малоподвижных морд животных, и тогда казалось нам, что животные плачут как-то по-особому скорбно от усталости и боли во всех своих членах. Но это было не так: просто у животных были переполнены до отказа их желудки, извергающие непрожеванную, а только проглоченную пищу для дальнейшей жвачки, и животные, перемалывая пищу, обильно выделяли щедрую густую слюну.

Такие животные в коммунах и вообще колхозах Крыма из года в год упорно вытесняются трактором. Здесь есть не только голая установка, в жертву которой приносится иногда

частично сама целесообразность. Здесь есть налицо и все признаки прямой целесообразности: как вол ни дешев для хозяйства, как ни вынослив и ни трудолюбив, — все же машина, при умелом квалифицированном обращении с ней, и дешевле, и выносливей, а что касается производственных возможностей машины, то все они целиком будут зависеть от трудолюбия человека и наличия горючих и смазочных.

Волов в одной из здешних коммун имеется 32. Все они в хорошем и вполне пригодном для работы состоянии. Они очень выносливы, удовлетворяются только об'емистыми кормами, совершенно обходясь без дорогих концентрированных. С редким упорством и аппетитом пожирают эти животные простую пшеничную солому и потом долго и медленно пьют воду из жолобов, словно раздумывая о чем-то, словно разрешая какую-то свою неразрешимую вековую проблему.

Нам приходилось подолгу наблюдать над этими животными. Занятие мало занимательное, способное довести наолюдающего до засыпания, — столь раздражительно флегматичны и малоподвижны эти животные. Когда наблюдаешь за ними, — постепенно засыпает мысль, клонит ко сну и хочется растянуться в придорожной канаве и погрузиться в оцепенелое небытие и дремоту.

Мой спутник как-то, после нескольких минут таких наблюдений, совершенно серьезно сказал мне:

— Надо перебить, уничтожить, помять городам на жрэво вот всех этих

мясных гигантов... Только тогда можно приступить к настоящей индустриализации сельского хозяйства...

Я слегка ухмыльнулся над такой ретивостью и радикальностью моего спутника и, шутя, сказал ему:

— А ты, братишка, сообщи-ка как-нибудь твою мысль агроному коммуны... Послушай, что он скажет тебе на это...

Тот всё-таки, стал похож на воинственного петуха какой-то долговязой породы и прокукарекал почти озлобленной альтовой фистулой...

— А ты что ж думаешь—не скажу?! А вот же скажу!! Ей-ей скажу сегодня же!!

И он сказал. И тогда старый, почти шестидесятилетний человек, ученый агроном, холодно ухмыльнулся, глаза у него фанатически сверкнули, он порылся у себя в столике с обтрепанным выцветшим сукном, достал какие-то мелко исписанные бумажки.

— Вот тут у меня...

Он щелкнул широким расплюснутым ногтем указательного пальца по бумажкам.

— Вот у меня есть своя бухгалтерия, которая вам со всей очевидностью скажет о том, что не трактор нам нужен, чтобы хлеба было вдоволь, а вот этот вол...

Старик как-то сразу вскипел и заторопился, словно он боялся, что вот сейчас умрет и не доскажет того важного и непреложного, что начал говорить.

— Вол, вол, вол и еще раз вол!!! Да-с!.. Да-с!..

Он уже вполне озлобленно посмотрел на нас и почти выкрикнул:

— Даже лошадей я бы постепенно свел до необходимейшего минимума... Вся работу взвалил бы на вола!.. Да-с... Да-с...

Мой спутник старательно ковырнул рваным носком желтого штиблета напитанный пылью деревянный пол в конторе коммуны и не совсем решительно буркнул себе под нос:

— Консервативнейший образ мышления... Прямо вредный... Ничего лучшего не имеющий с установкой страны...

Ученый агроном с вполне вызревшей ненавистью пристально поглядел на желтые штиблеты, на продранный но-

сок, потом в упор прямо в оголенную макушку головы горожанина и как-то даже прищелкнул зубами.

— Ни ч-черта вы не понимаете в этом деле, милейший мой товарищ, а еще беретесь рассуждать...

Он тряхнул головой, уже слегка облысолой и поношенной, с продольными и поперечными по широкому лбу морщинами, решительным рывком руки полез в карман, словно он решил извлечь оттуда по крайней мере огнестрельное оружие для немедленного уничтожения своего противника. Но он достал из кармана только короткую обсмоленную трубку с выгоревшим изъеденным мундштуком. Он тряхнул трубкой перед самым носом горожанина и, уже сдерживая себя, сказал:

— Купите агро-азбуку за двугривенный, прочтите ее, а потом будем говорить с вами...

Разговор о волах мог вылиться в ссору. Надо было уступить старику или сделать вид, что уступаешь, чтобы потом какими-то иными путями вовлечь его в откровенную беседу. Я решил вмешаться.

— Слушайте, Иван Петрович, — к чему же такая нетерпимость?.. Может быть, вы и правы, но тогда докажите нам это... Мы готовы будем согласиться...

Агроном уставился в меня своими молочно-серыми, сразу подобревшими глазами, его лицо начало расплываться в смешливые сеточки морщинок. Потом морщинки пробежали, как живые, к уголкам глаз, к носу, к плоским вискам, подернутым синеватыми жилками.

— Вот это другое дело!! Вот это вы верно!! Руку!! Руку!! Простите старика!! От души!! От души!!

Он тербил наши руки, пожимал их, добрал с каждой секундой. Через минуту он уже хохотал раскатисто и помолодому, ероша, взрывая, роясь в несметном количестве клочков бумаги разной формы и, видимо, разного назначения. Наконец, он выхватил одну бумажку за вытрепавшийся уголок и взмахнул ею в воздухе перед нашими носами:

— Вот доказательства!! Вот они, милые моп детки!! Вот они!!

Он нас назвал «детками», этот до-

бряк, — между тем, мне упорно подходило под сорок, а моему спутнику неотъемлемо стукнуло сорок пять. Но мы взяли бумажку из рук агронома и начали ее читать. Там были вполне неразборчивые для нас каракули настолько мелкого цифрового письма, что понять что-либо из этих каракуль было невозможно.

— Читайте сами...

Агроном весело хихикнул.

— Да что мне читать, если я и так знаю...

— Ну так говорите, если знаете...

Старик сделал хитрое лицо, зажег набитую махоркой трубку, пыхнул удущивым дымком в наши лица и, слегка пожевываясь, неторопливо сказал:

— А вы знаете сколько стоит гектар пахоты волами, лошаадьми и трактором?.. А?.. Вы знаете это?..

Мы еще этого не знали. Мы еще не познакомились с балансами коммуны, в которых все это выведено. И старик заметил это.

— Ага, — не знаете!.. Ну так я скажу вам...

Он вынул трубку из зубов, положил ее между безымянным и мизинцем.

— Трактор «Интернационал» — 10 р. 01 коп., «Ойл-Пуль» — 12 р. 98 коп., «Фордзон» — 12 р. 72 коп.

Я качнул головой.

-- Дороговато...

Агроном хитро осклабился, уже торжествуя победу.

— Подождите, подождите, — что дальше будет...

Мы ждали без особой охоты, потому что на этот раз наши симпатии к трактору могли совершенно определенно колебаться.

— В то же время вспашка волами обошлась 6 р. 60 коп., лошаадьми — 10 р. 48 коп. И это в 1927 году, когда трактор не является новинкой... А что было в прежние годы, — ведь уму непостижимо... «Ойл-Пуль» влетал в 27 р. 28 коп. с гектара!! А волки стоили только 6 р. 06 коп. Как это вам понравится?..

Меня начинала раздражать досада. Старик действительно, при всей своей учености, был фанатиком-волятником и не признавал никаких тракторов. Я решил пойти напролом.

— А трактористы опытные есть?..

Агроном хитро сощурился.

— Нет...

— А запасные части есть?..

Агроном провел рукой по усам и кратко ответил:

— И этого нет...

— А в своих мастерских есть опытные мастера для ремонта тракторов?..

Агроном схватил трубку, всунул ее сначала противоположным концом в рот, потом сплюнул на пол, вложил трубку в рот и хриплым, торжествующим шопотом выспел:

— И этого также нет... Думали как-то, — хе-хе-хе, — отливать у себя целые части для тракторов, перепортили десятка два пудов металла, да с тем, — хе-хе-хе-хе, — и остались... Да с...

И готов был вцепиться в лысину этому старикку, но у него глаза стали маленькими, добрыми и ласковыми, а целое сито морщинок заткало порозовевшие, возбужденные и помолодевшие щеки.

— Так чему же вы удивляетесь?! Чем же виновата прекрасная машина, если у вас нет запасных частей, нет трактористов, нет квалифицированных мастеров?!

Агроном спокойно зажег трубку.

— А я о чем и говорю... Я как раз об этом...

— Значит вы, вообще говоря, трактора, как совершеннейшее орудие обработки, не отрицаете?!

— Нет... Но... Но...

— Но что?.. что?!

Я почти выкрикнул это последнее односложное слово.

Старик выпрямился на стуле, вынул трубку из зубов и широко открытыми убежденными и осмысленными глазами посмотрел на меня:

— Через двадцать пять лет... Не раньше...

— А если обучим трактористов в два года?..

Агроном стойко покачал головой.

— Ни в каком разе...

Я возмущенно встал.

— Ну, — это мы увидим...

— Увидим...

Знакомая с балансом этой коммуны, мы действительно нашли потом совершенно пелёные, какие-то сумасшедшие цифры. Но, изучив вплотную причины

таких цифр, — мы убедились, что и тут ничего ужасного нет, потому что из года в год в этой коммуне накапливается опыт, обучаются трактористы, заблаговременно приобретаются самые ломкие и изнашивающиеся части машин. Только одна беда еще тяготеет над коммуной: это наш общий, можно сказать, первородный грех — косность и непереносчивость. Молотба идет на соломе и локобиле, а трактора стоят под навесом. Между тем, сжигается солома для топки локобиля при молотбе, а весной, по бешеным ценам, придется ее прикупать для живого инвентаря коммуны, потому что своей соломы не хватит.

Такова тракторная действительность. Такова «победа» вола над машиной. Скоро наступит день, когда все коммунары десятков тысяч советских коммун поймут, в чем сила трактора, и тогда вол уйдет на «жрэво» городу и будет только чисто «шницельным» животным. А в необозримых степях страны будут kloхтать и постанывать железные владыки степей — тракторы.

Но еще, может быть, многие годы у нас будут иметь место отдельные протестанты против тракторов, потому что таковы наши условия, когда нехватает запасных частей, когда за такими необходимыми запасными частями одной коммуне приходилось ездить сначала в Симферополь, потом в Харьков, потом в Киев и, наконец, в Москву, когда трактор еле-еле научились выпрягать только в плуги, а остальные области хозяйства обслуживает живой инвентарь. Но все же из года в год мощь трактора, его целесообразность и политическая важность осознается в наших хозяйствах со все большей силой, и, кажется, нет такой коммуны или вообще колхоза на юге страны, где бы не было совершенно хотя бы первых шагов этого большого исторического похода на землю в тесном союзе с трактором.

К о р о в ы

Большой загон. Крытые черепицей, выложенные из местного камня коровники для животных. Теплые просторные стойла. Здесь зимой, когда степные ветра злобно дуют целыми неделями, нанося гололедицы, метели и промозг-

лые ревматические дожди, — в этих стойлах должно быть тепло, уютно и не заносит сюда пронзающих сквозняков, потому что эти строения без щелей содержатся в хорошо обдуманном порядке, закрепленном на долгие годы.

Летом эти уютные «квартиры» для коров с вполне достаточной жилищно-шадью, которой могут позавидовать многие из москвичей, пустуют, протриваются, чистятся и подвергаются текущему ремонту, а животные заходят сюда только в особо знойные дни, спасаясь от пятидесятиградусной жары, когда в раскаленных степях не остается ничего живого.

Коровы рыжие, иногда золотисто-рыжие, как червонное золото, иногда каштановые, с темнеющими взмылинами вдоль спины. Занесена сюда эта порода вильстмаршских коров частично еще старыми помещиками, но теперь она из года в год крепнет, выравнивается и очищается от невыгодных примесей за счет чистопородных производителей и маток.

С 1921 года коровье стадо выросло втрое, и в данное время доходит до 90 дойных коров. Коровы в общей массе весьма высокоудойны, и нам пришлось наблюдать трогательные и показательные картинки из местного крестьянского быта.

В один какой-то вечер, когда зной спал, когда молотилка устало и скорбно добывала последние снопы в этот день, мы стояли в загоне для коров во время удою и наблюдали над тем, как сильпые загорелые женщины, захватив пальцами соски у коров, обмыв водой и вытерев чистым полотенцем, оттягивали эти соски на целый дюйм вниз от вымени к большому ведру, легонько надавливали концами пальцев на соски... И тогда, журча и обрызгивая металлические гнутые бока ведра, тонкими струйками, стремительно, как из-под маленькой помпы, билась в днище ведра, потом в густую, слегка взмыленную молочную массу белая жизне-творная жидкость.

Женщины были опытные, вышколены, чистоплотны, работа спорилась у них в руках, и оттого казались они столь же высокопородными доярками, сколь высокопородны были выдаиваемые ими

коровы. И животные и люди прекрасно понимали друг друга. Женщина подходила к поглядывающей на нее корове, ласково окликала ту:

— Краснуха... Повернись... Э-эх,—левнища...

Животное поворачивало голову, смотрело большими радостными глазами на человека, двигало широкими мясистыми челюстями, а когда доярка прикасалась легко и свободно к вымени животного, — оно глубоко вздыхало, словно осознанно готовилось к великому освобождению от давившей его молочной массы.

В этот вечер зашел в загон во время удоя шутник и балагур коммуны, добряк и ярый работник Ена Самгородок. Почесывая бока, смешно выворачивая выкрутасы ногами, поддериывая широкие штанины, между которыми, казалось, была совершенно нарушена связь и закономерность, Ена еще от ворот запел и запричитал скулящим нищенским голосом:

— Здрастуйте, квочки!! Чи не дівочки?! Тю, побей его лихая година!!

Женщины переглянулись, перемигнулись и хором голосов встретили Ену.

— Ага... Ена!.. Пойди сюда...

— Пойди, пойди!.. Я тебя всего молоком окачу!!

А высокая грудастая девушка, Параска из-под Карпатских отрожий на Подolini, выпрямилась во весь рост и голосисто брызнула в матовый гулкий вечер...

— Чем шляться от тут — шел бы подоил за меня, а я бы отдохнула...

Ена сощурил хитрецы глаз, оглядел девушку особенно долгим задерживающимся взглядом и скороговоркой мило и истомно прогнусавил:

— Ой, Парасочко... Та кого ж подоить, ей-ей, не знаю: чи тебя, чи корову?.. Обе одинаковы...

Параска смутилась, конфузно нагнулась под корову.

— От же сатана... Слепота курячая...

А все остальные женщины порснули смехом и роготом.

— От же угадал как раз!!

— Молодец, Ен!! Язык — как бритва!..

— Да что и говорить?!

Ена подошел к нам, сторожко наблю-

дая за Параской, но удой продолжался деловито и серьезно. Женщины выдаивали одну корову за другой, подходили к большим ушатам для слива молока, выливали молоко в куварты. А назначенная для этой цели советом коммуны хорошо грамотная женщина стояла тут же и записывала удой в специальную ведомость от каждой коровы в отдельности.

От ворот, широко ступая ногами, в коричневой свитке и бесподобно широкой, похожей на парус, юбке шла к середине загона крестьянка. Она оставилась у доярок и тихо сообщила:

— Добрый вечер...

Доярки ответили:

— Добрый вечер...

Женщина стояла несколько минут молча, молитвенно взирая на этот священный процесс. Потом она кончиком головного платка протерла уголки рта, облизнулась, почесала пальцем лод платком и сказала ближайшей доярке:

— Скажи, сестричка, — а сколько вон эта буланенькая дает?..

Доярка вскинула раскрасневшиеся от натуги щеки, опламененные румянцем, поправила платок на голове, разогнула спину и, большего такта ради, переспросила:

— Это какая же?.. Вон тая?..

И тут же сама себе ответила:

— Это Хвеська у нас зовется... Эта дает два ведра в сутки, если наша в степу хорошая... А в зной — сама знаешь...

Крестьянка подскочила на одном месте, боязливо озираясь, потом ликованно всхлинула губами от восторга и восхитенно вскрикнула:

— О-о-о... матиночко моя!! Будто, так-таки, целых два ведра?!

Доярка горделиво усмехнулась.

— Да еще какие ведра... По десять куварт... Он глянть-ка...

Она живком головы показала на ведро. Крестьянка завистливо окинула взглядом буланенькую корову, которая, впрочем, была рыжей, а не буланой, обошла ее кругом и всплеснула руками в неподдельном ужасе:

— Да что же вы делаете с молоком-то?.. Куды девать молоко будете?..

Уже доярки весело и игриво усмехались. Тогда грудастая, красивая, широ-

котазая, искроглазая Параска выпрямилась из-под коровы, вытерла платком румяное, пышущее молодостью и здоровьем лицо и сказала:

— У нас в коммуне, сестричко, своя сыроварня, свои сепараторы, маслобойки, много всяких молочных машин...

Потом она игриво ухмыльнулась, бросила косой взгляд на умехающегося Ену и кивнула бровью в его сторону.

— А от таких катюг годувать дя молоком поить ведь надо... Иначе какие же они работники... От видишь — працювал весь день, а вечером нет чтоб изять газетку да почитать, — так он сюда пришел мешать работать...

Ена выпятил смешно плечи, вывернул ноги и сузил глазные орбиты до узких, всхлипывающих скрываемым затанчившимся лукавством щелинок.

— Да как же я не приду сюда, если так и тянет, так и тянет?..

Он перевел голос на ласковый, почти истомно-страстный и заворковывающий, но шустрый и дурашливый шопот.

— На тебя взглянуть, ясочка моя, пришел, а ты вот лаешься, как старая ведьма...

Параска залилась краской удовольствия, но, чтобы скрыть от подруг это случайно выявившееся чувство, она схватила тряпку, плеснула в нее гордостью воды из ведра и напружилась в сторону Ены.

— Ага, ты вот так заговорил, очманан болотьяна!! Так яж тебя...

Она двумя прыжками отскочила от коровы и помчалась вслед за лопотавшим протертыми изношенными лаптями убегающим Еной. Она догнала его у самых ворот загона и с налета вытянула его по спине мокрым жгутом тряпки. Ена смешно вытопорщил спицу, закрыл руками затылок и кричал, заливаясь в смехе:

— Да что ты?! Погоди!! Сумасшедшая!! Я думал, она поцелует, а она вот что делает!..

А девушка молотила подставляемую Еной спицу мокрым жгутом.

— От тебе, с-сатана... немочь моя... катю-гя!!!

Но удары становились слабее и уже

видно было, что девушка эта, может быть, даже уснет сегодня поздним вечером, когда уснет коммуна коротким сном, будет шептаться с этим самым Еной, высоким и красивым парнем, и будет называть его милым и любимым, где-нибудь в истоме колочей, знойной степной ночи.

Параска вернулась от ворот, а Ена как-то сразу осел, обмяк и стоял мляво у ворот, подпирая спиной ворота.

А другие доярки вели спокойную, убежденную и убедительную пропаганду:

— У нас в коммуне своя сыроварня... Мы снабжаем молочными продуктами даже крымские леточные санатории... Все коровы у нас без всяких болезней... У нас есть свой ветеринар... У нас нет то что в ваших хозяйствах... От идите к нам... Берите за шиворот своих мужиков, да и ступайте к нам...

Крестьянка о чем-то упорно и выношенно думала. Может быть, она боролась со «злым духом» мелко-собственнических чувств, может быть, она готовилась к борьбе в среде своей семьи за переход в коммуну. Но она углубленно и тревожно молчала, затаив в себе всю глубину бездонной печали и прямой, некрываемой, честной и примитивной людской зависти к этим новым людям в организованном, хорошо сколоченном, одном из самых передовых коллективном хозяйстве.

Вечер был тих, прят и бестревожен. На западе меркло и розово-лилово куталась в облака вечерняя краса заката. В самой середине неба, обездоленная и одинокая, словно повисла подвешанная откуда-то из-за неведомых высот первая робкая, мигающая звезда. Выдоенные коровы, облегченные от густой молочной тяжести, тяжело вздыхая, как утомленные люди, ложились тут же в загоне. Доярки заканчивали удой. Параска поглядывала из-под очередной коровы краем глаза на ворота, а там стоял безмолвно и неподвижно двадцатисемилетний Ена Самгородок, упираясь широкой спиной в ворота и вслушиваясь в тыхканье молодого сердца и в переплески в жилах зреющей влюбленной крови.

Звонили мягко и вытжно на ужин.

С В И Н Ь И

Там, где большой — странной ломаной формы — двор внезапно подбежал к длинному каменному строению, стояло как-то слегка особняком, с лицевого фасада пристегнутое под прямым углом к конторе коммуны, выложенное из больших каменных коздреватых плит здания конюшни.

Мы вошли в конюшню запыленные, разомленные от пятидесятиградусного зноя, обожженные горячими степными ветрами.

Стоял полдень. Солнце словно остановилось в самой центровке совершенно безоблачного неба. Из-за ограды доносилось в коммунальный двор: знойное дыхание степи, обезжизненной полуденным солнцем. В безветренном раскаленном воздухе коммунального двора, защищенного слегка строениями, казалось, вымерли даже мухи. Только высоко в лиловато-синем бестревожном и ясном небе распластанно парил застывшей черной точкой небольшой степной орел. Бледно-зеленые, немощные, бескровные акации обезволенно сниклись перистой своей листвой вниз к земле. Черепица на крышах строений раскалилась на полуденном жару, и молодые неопытные, желторотые воробьята, взлетевшие целой нахохленной стайкой и усевшиеся на крыше, тотчас же оголтело вынеслись над крышей вверх, обжигаемые зноем черепицы. Шерстистые, клочкастые собаки позабывались в прохладные места навесов, погребов, заброшенных строений, спасаясь от гнетущего, всеожигающего зноя.

У водопроводного крана в конюшню собралось уже четверо коммунаров, кроме нас. Все молчали, отдыхали от степного зноя и с наслаждением зоряжали легкие слегка прохладным, пахнущим конской мочей и пометом воздухом конюшни. Мы по очереди прикладывались к крану воспаленными, изъеденными жарой, потрескавшимися губами, поворачивали медную рукоятку крана, и тогда тепловатая, словно только чуть-чуть сыроватая вода постно и скупно всполаскивала наши алкающие рты, наши пересошие, как пергамент, гортани. Но мы пили эту тепловатую воду, добываемую из-под восьмидесяти-

саженных недр земли, с небывалым наслаждением. Мы оставили водопроводный кран только тогда, когда почувствовали, что уже больше окончательно некуда помещать эту водянистую жидкость, имеющую только отдаленное сходство с хорошей, холодной, утоляющей жажду ключевой водой. А во рту, в гортани, в пищеводе горело, жгло, зноило, словно степные всеожигающие ветры гнали туда свои нагретые струи.

Тут же у крана трудился среднего роста, плотный, какой-то весь в себе человек, с рыжевато-золотистой, под пшеничную солому, клочковатой бородой. Он стонал от старания выпить как можно больше воды. Это длилось добрых три минуты. Он всхлипывал губами, тарашил глаза, воспаленные и жадные, даже кончики ушей у него, поросшие мягким гусиным пухом, слегка шевелились, как у лошади, в то время, когда он вглатывал в себя воду. Стоявший тут же на очереди пухложивотый, раздутый и водянистый коммунар с лицом встревоженного ежа и ворсистой евангельской бородачкой, сипловато и натужно выронил:

— Да будет тебе... Кровь ударится в утробу... Помрешь от крови... Костька...

Костька, не отрываясь от крана, страшно подвернул вытаращенные яблоки глаз к говорившему, потом закрыл глаза, еще раз глотнул и, качаясь, словно он пил не воду, а одуряющий спирт, оторвался от крана. Он отскапывался минуты две, потом сыто взглянул на припавшего к крану пухложивотого и сказал:

— Гляди-ко сам не обпейся... И без того брюшина, как у быка... Того и гляди лопнет...

Он встряхнул головой и клочьями бороды и усов, потом вытер губы рукавом блузы, и тогда мы увидели его глаза. Он поднял голову и устремил глаза в нашу сторону. Это были самого упрощенного типа глаза: они были в меру велики, в меру же малы, голубовато-серая их незначительность и сонность словно скользила по предметам и явлениям жизни, не анализируя их, не отдавая никакого себе отчета, касаясь только глаз. Это были какие-то «не внутренние», а только «внешние» глаза, и к ним, например, нельзя было

бы применить известное старое выражение, что они являются «зеркалом души». Человек раскрыл свой удивленный рот, и тогда мы почувствовали, что этот человек действительно удивлен чем-то издавна и надолго.

Все молчали, отдыхая в прохладе конюшни. Но я прервал молчание. Мы только недавно прибыли в коммуны, и это давало нам некое право словоохотничать и любопытствовать больше, чем это следовало бы. Я спросил:

— А где ваш свинарник, товарищи?..

Все четверо устремились глазами в пятого, с белокурой клочковатой бородой, словно хотели подсказать нам молчаливо о том, что наш вопрос о свинарнике может целиком и полностью относиться только к этому человеку. И мы тогда, как-то одновременно, увидели на губах у пятого улыбку — добрую, слегка самодовольную, расцветившую его лицо как венком из степных весенних цветов. Он шевельнул сочными вишневого цвета губами и прямо взглянул на нас.

— А... этта-а... Пойдем со мной...

Он сделал рукой столь величественный жест, словно приглашал нас посетить палату английских лордов, членом которой он бессменно и пожизненно состоял.

Я удивленно окрысился глазами на него.

— Куда пойдем?..

И тогда мы прочли особую значительность в его глазах и внутреннюю бездонную силу. Эти глаза были полностью «внутренними» и «зеркальными». Они обнажали большую устремленную душу этого человека. Для нас теперь это было несомненно.

— Ко мне... На свинушник... Разве ты не знаешь?..

Он помолчал, но и молчание у него было своеобразно-значительным, каким-то безгранично-завынным и отвердевшим. Потом он взглянул на остальных. Те тоже успокоенно молчали.

— Я же — Костя Демидов... Я же на свинушнике работаю...

И он снова, как и в первый раз, повторил свой величественный, ни с чем несравнимый приглашающий жест.

— Пойдем...

Мы радостно двинулись за Костей че-

рез закрайки коммунального двора, потом мимо курятников с разинувшими рты курами, мимо заброшенного колодца, под большим прохладным навесом. Мы шли рядом с Костей, и от этой широкой непосредственности Кости нам хотелось хлопнуть Костю по широким ветлужским плечикам и радостно зажать:

— И-го-го-го-го-го...

Но мы этого не сделали. Мы оставались посредственно серьезно-деловыми. Мы шли в другой двор через дорожку, подошли к низкорослому разбросанному зданию. Я спросил как-то внезапно и несвоевременно:

— А породистые хряки есть?..

Надо было повременить с этим вопросом, надо было дождаться, пока Костя заговорит сам. Но вопрос уже был задан. И Костя вопрошающе взглянул в мою сторону.

— Это какие ж такие хряки?.. Кнурь значит?.. Пороза?..

Я радостно закивал головой.

— Кнурь... Кнурь...

Мне нравилось, я внезапно полюбил это сверхмузыкальное короткое и колоритное слово.

Костя заносчиво усмехнулся.

— А как же. Конечно ж, есть... Кака была б камуна без кнурей...

Он с усмешкой чеснул широким сплюснутым, похожим на рыбный плавник, пальцем одно место у себя на затылке, несколько приостановился, уперся рукой в левый свой бок.

— ...А только, только...

И тут он сделал двумя пальцами в воздухе сложнейший изломанный зигзаг: вверх, в сторону, вниз, потом в другую сторону, снова вниз и снова вверх. А я осторожно и робковато спросил:

— Что только?..

Костя совсем остановился, уставился в меня глазами и умиротворенно выдохнул из себя воздух.

-- ...только... мы остались в это лето без приплода...

Я сделал озабоченное лицо. Приплод в эту минуту играл для меня решающую роль в моей жизни.

— Как так без приплода?..

— А так...

Костя восхищенно сверкнул своими

безгранично белыми зубами, словно его страшно обрадовало то обстоятельство, что коммуна в это лето осталась без свиного приплода. Но тут же Костя, скалывая белки глаз по сторонам, словно пронзая поджариваемый солнцем воздух, решительно заметил:

— А все это — из-за нашего совета...

Мы удрученно смотрели на Костю, потом мы перевели глаза на выбитые дождями стены свинарников, словно учитывались там в причины виновности совета, которую Костя так решительно приписывал совету.

— А почему же все-таки из-за совета?.. Совет тут при чем же?..

Костя слегка сгорбился, потом еще раз скосил глазами по сторонам и натужно выговорил, встряхивая головой.

— А потому...

Стены свинушника не были безупречно белы: они были сероваты и в широких, выполосканных дождями, затейливых взмылинах. Но небо было сине ровной безупречной синевой, а степь знойна и бесцветна. Но все эти предметы неперменного человеческого обихода казались нам зеленоватыми, словно слегка выкрашенными жидко разведенной ярью. У нас рябило в глазах от зноя. Солнце нещадно встреливалось в самые макушки наших голов. Но я взял себя в руки и решительно спросил:

— А почему же все-таки совет-то виноватым оказался?..

Костя с искренней жалостью взглянул на меня. Кроме жалости, в его глазах сквозило ни с чем несравнимое добродушное и снисходительное презрение ко мне. Он вдохновенно поднял свою сизовато-рыжую голову.

— Говорил я совету, — купим, ребята-коммунары, кнурей... Купим... Потому кнур — первое дело для свиньи...

Он вскинул в меня глазами.

— Не так ли?..

Я с поспешностью заклипал глазами, так как возражать я был не намерен. Это означало, что я всецело разделял мнение Кости о необходимости «кнурей». Костя взглянул в сторону нашего спутника, но там он тоже нашел безусловное и безграничное доверие. Костя удовлетворенно хмыкнул.

— А они... Что они?! Ну, — что они понимают, братишка?!

Его голос снизился до вдохновенного, страстного, творческого шопота.

— Ничего не понимают...

Мой спутник остро кольнул Костю глазами.

— А почему же не понимают?..

Костя, волнуясь, натужась, турсуча пальцами пазуху сорочки, с придыханием зашептал:

— Да как же?! Есть у меня вон тут в свинушнике, понимаешь ты, кнур... Ну, — кнур, как кнур... Известное дело — та же свинья, только, скажем, мужичица, а не баба...

Костя раз'ясняюще и убежденно склонил голову на сторону и даже высунул на одно мгновение красный кончик свежего мясистого языка.

— Все ровно как и у людей... Что свинья, что человек — в этом положении, скажем, все ровно...

Он радостно гмыкнул.

— И вот этот кнур, понимаешь ты, до-мо-о-ро-о-щенной!!

Костя выставил свой палец, похожий на неостроганную деревяшку, замурзанную чем-то пожизненно неотмываемым. Он провел пальцем перед своими носами.

— И вот же — криком кричит наш совет, — спускай своего кнуря! — доморощенного-то, — на свинок-то, на маток значит...

Он толкнул меня плечом с такой силой, что я подпрыгнул на четверть аршина от земли. А Костя радостно заржал.

Я робко взглянул на Костю. Тогда Костя, не переставая ржать, надвинулся на нас обоих и выкрикнул:

— Ну, — слышь!! Да как же я буду спускать кнуря-то, доморощеннова, на своих сестричек?! Ведь матки — сестрички евные... кнурины!! Ну, — как можна?!

Липо у Кости стало серьезным и страдальчески углубленным. В то же время мы почувствовали, что и наши лица становились точно такими же страдальческими, понимающими, проникновенными.

Мой спутник осторожно выронил:

— Почему же этого нельзя?..

Костя насупленно скосил глаза.

— Чего нельзя?..

Я, запинаясь, пояснил:

— Да кнуря-то... на сестричек?..

Костя с определенной, крайне подозрительной боязнью посмотрел как-то одновременно на нас обоих. Он помолчал и только через минуту сказал:

— Да как же можно?.. Как это можно?.. Раз они в родне своей — никак нельзя...

Он досадливо и с насадом тряхнул головой.

— Несвязная кровь!!.. Понимаешь ты?!.. Кровь, говорю, несвязная выходит... Вот оно как... Одно слово — не приплода, а так пустяк... г...о одно выходит... На яму выноси... Во-о-т та-а-кой..

Костя показал нам пространство между концами указательного и среднего пальца. Такой величины, по его мнению, должен был бы быть этот «пустой приплод с несвязной кровью».

Потом мы с ним смотрели его свиней. Он подзывал к себе лобую, по нашему выбору, розовую ласковую свинку и ночесывал ее, и гладил, и любовно лопотал:

— О-го-го-го... Соня... Сонюшка... О-го-го-го... Царица Катерина... Катька... О-го-го-го... Гимка... Гимушка... О-го-го-го...

У всех свиней клички были не просто так, с ветру, наугад: они давались с большим учетом индивидуальных свойств того или иного животного. Так — Сонька оттого и была Сонькой, что любила чрезмерно поспать: зароеется в степи в землю и спит. Царица Катерина была всегда с выразительно расставленными задними ногами, ожирела и вяловата по части приплода. Эта остроумная кличка имела все права на историческое значение и показывала, что Костя не чужд был исторической книге в долгие зимние вечера, когда коммуна имела право на отдых. Все свиньи отзывались на ласковые слова Кости особым разнеженным, приглушенно-страстным, каким-то млелым и понимающим хрюканьем.

Нам Костя прочел целую лекцию по свиноводству. У него были изрядные познания в этом вопросе, потому что он не ограничивался механическим исполнением своих обязанностей, а

брал книги в библиотеке по своей «специальности», он знал методы правильного кормления свиней, он определял чистоту породы в животном. Вообще — это был не просто свиной наймит, а тот сознательный новый хозяин-коллективист свиного стада, которому смело можно было довериться.

Все свиньи в коммуне белые, английские. Есть чистопородные хряки, за которые коммуна выплатила большие деньги. Так, один хряк чистопородный обошелся коммуне около тысячи рублей.

Здесь же нам довелось наблюдать интересный случай с больной племенной маткой, у которой был обнаружен миокардит и слабость сердечной мышцы. Болезнь, как известно, свойственная человеку, перегруженному ответственными обязанностями, оказалась у спокойной, флегматичной и беззаботной свиньи. Между тем, больное животное, кроме своей собственной ценности, еще обещало принести в самом ближайшем будущем, может быть, целый десяток. может быть, больше чистокровных поросят. И совет коммуны решил поддержать угасающие силы животного хотя бы до появления потомства и поручил это дело ветеринарному врачу. И вот здесь нам довелось убедиться в замечательном чутье больного животного: как только приближался к нему ветеринар с очередной дозой наперстянки, больная клиентка встречала своего благодетеля таким шризывным, ласковым хрюканьем, такой изумительной понятливостью.

Нам не довелось проследить до конца этого опыта с сердечно-сосудистой больной свиньей.

Когда мы уходили из свинушника, Костя сообщил нам:

— А все-таки кнуря на родных евоных сестричек спустить пришлось... Совет дал наказ такой, и пришлось спустить...

Мы не смели возражать против такого решения совета, потому что мы плохие сельские хозяева. Только тремя месяцами спустя, по приезде в Москву, разбираясь в летних черновиках и набросках, мы натолкнулись на записи о больной миокардитом свинье. Мы отправились в библиотеку и там, среди

труды специальной литературы, обнаружили, что бывают случаи, когда в мире не только животных, но и людей подобные «кровосмесительные» опыты не дают никакого отрицательного результата. Вероятно, наш Костя был неправ, обвиняя совет коммуны в «свином кровосмешении».

Но здесь, при выходе из свинарника, я спросил Костю:

— Ну, и что же вышло?..

Костя махнул безнадежно рукой и melancholично сплонул на сухую шершавую землю.

— Ну — и пропало... На яму стащил поросенок... Ма-а-а-хонькие... На ногах не стоят... Кровь у них несвязная... Вот так и вышло... Только за зря кнуря дрочили...

Я сочувственно покачал головой. Нельзя было в тот момент не разделить искреннего отчаяния Кости.

Издали доносился голодный гул молотилки. Пыхтел четко и неумолимо локомотив. Игривые и приглушенные — слышны были голоса девушек от молотилки. Подбегало время к вечеру. Уже спадала жара.

Мы пробыли на свинарнике четыре с половиной часа.

Птичье царство

Бывает так часто, что коммунальные куры, предводительствуемые солидными, с властью, доходящей до абсолютизма, петухами с пурпурно-красными царственными коронами, у водонойных колобов сталкиваются с дикой птицей степей — журавлями, тоже пришедшими сюда, в гостеприимную коммуно, к колобам на водопой.

Тогда петухи сначала издают изумленно предостерегающее кряхтенье, словно диктуют журавлям какую-то свою последнюю, еще мирно-дипломатическую ноту. В следующий момент они драчливо настраивают себя и, шелестя парусами крыльев, готовятся броситься в бой с журавлями. Но эта серая миролюбивая птица допивает воду и, не уделяя никакого внимания доморощенным выкормленным изуверам, не спеша удаляется в степь. Тогда петухи властно кукарекают, пьют воду и ненасытно ухаживают за своими пеструхами.

Куриное стадо в коммуне пока еще состоит из самых беспородных кур, но уже и здесь обновленный человек диктует свою волю, постепенно переводя все куриное хозяйство на племенные породы.

В одно утро, когда в безросных пыльных степях хлопали тракторы над перепашкой черного пара, бородатый ветеринар коммуны Иван Иванович, забежав к нам в контору, где мы, оседлав вытертые венские стулья, изучали балансы коммуны за предыдущий 1927 г., торопко сообщил:

— Я иду на птичник... Там что-то неблагоприятно...

Он тряхнул своей исполинской бородой, концы которой спускались ему чуть-чуть ниже пояса, и добродушно пробасил:

— Кто со мной, — идемте...

Мы взглянули друг на друга, и решение у нас состоялось мгновенно и единогласно. Отложили ведомости, бланки, расчеты в сторону и пошли на птичник. На дворе была жара, пахло всеми запахами человеческого многоголосого жилья, издали однотонно и без срывов гудела и напрягалась молотилка, из слесарной мастерской волнами приносило к нам подогретые запахи каменноугольного дыма и каких-то горелых смазочных масел, от кухни звякали нам в уши металлические, отрывистые, как выстрелы, клямкающие удары железа по железу. Там оковывали ход для жаровни, и удары молотобойцев тявкали равномерно и в непреодолимой симметрии, как строго выверенные огромные часы. У мельницы густым, пестрым и толкающимся табором шевелились крестьянские подводы, приехавшие для помола с зерном нового урожая, а со стороны детских яслей кто-то звонко хохотал, видимо, лаская ребенка.

— А-гу-у... А-гу-у... ха-ха-ха... А-гу-сеньки...

Может быть, это какая-нибудь молодая мать, урвав минуту, вырвалась от молотилки, чтобы покормить грудью ребенка в яслях. Может быть, это одна из нянь возилась с каким-нибудь годовалым лузастым горлопапом.

Недалеко от каменного забора, местами уже полуразвалившегося, залегал

небольшой дворик с птичником. Прошли в дворик, заглянули в птичник. Там было сухо и прохладно. Ветеринар вошел в птичник, осмотрелся в полумраке, и тогда до нас донесся его серьезный, слегка приглушенный от застарелого курения пожилой басок.

— Вот оно что... Эт-то редкость...

Мы уже еле сдерживали любопытство. Один из нас не выдержал и окликнул ветеринара:

— Иван Иванович, — в чем дело?!

Из сумрака сарая глухо и слегка торжественно донеслось:

— Сейчас иду-у... Имейте терпение...

И вслед за этой репликой показалась борода Ивана Ивановича, потом весь он с какой-то добычей в руке. Вышли во дворик. В руке Иван Иванович нес умирающую большую курицу. Птица раскрыла рот, словно застыла в бесконечном зевке, глаза у нее слегка выпучило, а в глазных яблоках застыл смертельный, неукротимый ужас.

— В чем дело?.. Иван Иванович...

— А вот увидите...

Иван Иванович пробрал рукой перышки у птицы на подгортки, потом продул мелкий мягкий шелковистый пух... И тогда мы увидели, сквозь хрящи и кожу, в нижней части горловины птицы большое внезапное возвышение. Иван Иванович заложил палец между челюстями птицы, достал из кармана маленькие, плоскогубые, с острыми концами щипчики и, обращаясь к нам, сказал:

— Совершенно редкий случай... Смотрите...

Он заложил в глотку птице концы щипчиков, нащупал сквозь хрящи и кожу нужное ему место в глотке и нажал. Большая забилась в руках у Ивана Ивановича, но мы взяли ее под крылья, а Иван Иванович слегка дернул на себя и вынул щипчики из глотки птицы. В концах щипчиков засела толстая, твердая как кость роговая пластинка. Иван Иванович взглянул на нас и сказал:

— Пускайте курицу... Теперь еще будет завтра с яйцом... Все кончено...

И, вынув из щипчиков засевшую там извлеченную из горла птицы твердую пластинку, Иван Иванович пояснил нам:

— Совершенно редкий случай.. Это то, что у нас крестьяне называют — пыпоть, а в Центральной России типун, т. е. нарост в области языка у птицы... Это происходит, когда птица большая любительница твердых зерен, камешков и всяких таких твердых предметов... Она натирает себе в области языка самые настоящие мозоли... Эти наросты увеличиваются и, в конце концов, птица, стараясь выплюнуть эти мешающие ее дыханию наросты — просто напросто заглывает их и давится... Если не досмотреть — курица погибла бы... А эта курица как раз большой носкости...

Иван Иванович улыбнулся, трепыхнул бородой, посмотрел на часы.

— Вот так, как видите... Есть такие горлопаны среди коммунаров, которые желают в целях экономии обходиться без ветеринара... Попробуйте-ка!.. Сами увидите, так ли это просто...

Он уже с явной обидой блеснул в нас глазами и добавил:

— Вот сегодня, скажем: корова распоролась брохо, — правда, — поверхностная рана, но если ее оставить без внимания — муха раз'ест и животное из-за пустяка может погибнуть... Перевазал, промыл, зашил... У свиньи понос... Были опасения — не свинья ли это в роде дизентерия... Выслушал, измерил температуру, промассировал кишечник, дал во внутрь лекарство... Животное выздоравливает... И вот снова курица...

Он округлил свои глаза, удивленно и огорчительно взглянул на нас.

— А они еще говорят о том, чтобы обходиться без услуг ветеринара... Попробуйте-ка!! Раскаетесь, да будет поздно...

В коммуне из птицы — только куры и гуси. Оба вида переводятся на племенные породы, но в данное время от этого птичьего хозяйства экономического значения мало.

Мы возвращались в контору коммуны, и Иван Иванович излагал свои жалобы и сетования на некоторых коммунаров.

— Ни черта не понимают, а тоже туда же лезут с указаниями... Сто с лишним хозяев, а ни одного настоящего...

— А вы бы лекцийку зимой закатали бы по ветеринарии, да не одну, а несколько...

— А вы бы кружок любителей животноводства совместно с агрономом организовали бы...

Иван Иванович поднял голову.

— Думаете, поможет?..

Мы, захлебываясь в своей уверенности, жадно выкладывали перед Иваном Ивановичем наши наблюдения в других коммунах.

— Вернейшее средство...

— Р-ррадикальнейшее...

— Более верного средства нет...

— Вот попробуйте...

— Ручаемся за успех...

— Готовы даже помочь, что сможем и что сумеем...

Иван Иванович загорелся, но сразу спик, охляб, обмяк.

— Да ведь лето... Какие тут лекции?! Люди к вечеру падают от усталости, а тут к ним с лекциями...

— А зимой?.. Зима же может быть непользована!..

Иван Иванович снова просветлел, взглянул на подковой окружающие нас коммунальные строения, разгладил борюду.

— А ну-ка, послушаю вас... Увидим, что выйдет из этого...

При встречах в дальнейшем с Иваном Ивановичем мы поднимали снова этот вопрос о зимних лекциях по животноводству, кормлению животных и первоначальной доступной ветеринарии. Иван Иванович, горестно покачивая своей серебряной головой, как-то сказал:

— Э-х... Культурных сил у нас мало... Чтобы, понимаете, зажечь всю эту еще довольно косную массу!.. Пусть бы загорелась, запросила учебы, потребовала бы знаний!..

— А вы сами позовите ее к этому... Сначала исподволь, а потом и кружок животноводческий с более удвоенной работой... Поверьте — дело хорошее сделаете...

Провожая нас через две недели после этого разговора, Иван Иванович показал нам тонкую стопочку мелко, скупо, старчески, проникновенно исписанных стариковским бисером четвертушек бумаги. Он слегка смущался, торопился почему-то, но при прощании сказал:

— Это мелкие, еще неразработанные конспективные записки по лекциям...

Он посмотрел на нас углубленным, бесконечно уверенным в себе взглядом, и тряхнул своей, словно в изморози головой.

— Уже подобрал человек с пяток в кружок... Идут... Говорят — будем работать... Уже следят за тем, чтобы животных при работе не били...

— Значит — начало заложено?

Иван Иванович тряс нашп рук.

— И все больше — молодежь... Только один сорокалетний, а четверо — молодяшки...

Мы долго будем помнить Ивана Ивановича с его записками по животноводству и оперированной курицей.

2. ХУТОРА БЕЗЫМЕННЫЕ

(Записки раз'ездного корреспондента)

А. Аграновский

Сибирь, Украина, Осетия. Поляки, русские, болгаре. Нет такого угла, которого не коснулась бы великая стройка, и нет того места, где строительство не стоило бы жертв. Такова жизнь. Так дается революция.

Есть враг и друг. Черное и белое. Понять обновляющуюся деревню, понять истинный размах достижений может лишь тот, кто учтет трудности

борьбы. Писать только о хорошем, значит уменьшить размер и значение завоеваний, да и изображение получится пригорное, сусальное. Жизнь надо показывать на ходу, какая она есть. Только тогда мы научимся распознавать и расценивать рассыпанную по необъятным просторам радость, только тогда и отсюда мы почерпнем бодрость и уверенность в победе.

*
*
*

Минут пятнадцать назад выселок Алексеевский остался... без женщины. Навалив на дроги детей и кой-какой скраб, они как по команде раз'ехались во все концы сибирской степи, и некому уже сегодня доить коров, кормить свиней и стрипать завтрак.

Ночь. Сидим взволнованные неожиданным событием и обдумываем несчастье. Да, несчастье. Только полчаса назад закончилось организационное собрание, на котором выселок принял устав коммуны, не отзвучал еще в ушах и сердце каждого незабываемый «Интернационал», а Амос Федорович Грицай не успел даже переписать начисто «приветственную телефонограмму» в ЦИК и ОПК, и вдруг — развал коммуны. Бабы не хотят в коммуну. Они тоже голосуют, но... кнутами по лошадиным задкам.

— Ай, переплет, — басит председатель коммуны, — ай, войско неблагонадежное.

Трудно собраться с мыслями. Сидим, молчим.

— Неужто делиться с бабами? — прерывает кто-то молчание.

— А ты как считаешь?

— Известно... — запнулся.

Опять тихо. Только Амос Федорович невозмутимо спокойно продолжает скрипеть пером, выводя телефонограмму:

«Много трудностей и горя приходится переживать бедняку, пока дойдет до сознания. Мы, бывшие коммуны коммуны «Прлетариат», спытали все в собственной жизни»...

Опыт у коммунаров действительно большой. «Пролетариат» родился не сегодня. Коммуна существовала уже — это было лет шесть назад. То был период увлечения коммунарами, когда каждый сибирский партизан считал себя коммунистом, а социализм, если не закармлишь, то вопросом дней; то был период, когда протоколы общего собрания коммун писались на старых метрических церковных книгах, а председатели коммун пользовались правом расстрела за утайку фартука. Люди объединялись с горячей верой в новую жизнь, но, не получая ни откуда ука-

заний и помощи, проедали свои вложения, и, проклиная и бога, и власть, и коммуну, и мать, разбежались в разные стороны. Распалась и коммуна «Пролетариат».

Законы жизни неумолимы: нет у бедняка иного пути, кроме пути коллективизации, а кто был раз в коммуне, тот все равно в нее вернется. На рассвете, не успев еще показаться первый луч солнца за Чулымским лесом, — на мельницу за тридцать верст потянулись гуськом восемнадцать подвод, груженных одним мешком зерна каждая... Еще на той неделе коммуна запрягала для этой цели три подводы, а тут восемнадцать. 18 лошадей, 18 мужиков, 18 рабочих дней. Стыдно коммунарам в глаза друг другу смотреть.

— Но-о-о, Манька!

Понукают для близиру, будто кладь тяжелая, а сами едва лошадок удерживают.

За первым уроком последовал второй, третий. Каждый день коммунары все больше убеждались, что жить бедняку порознь нельзя. У того лошади пала, у другого плуг сломался, у третьего хозяйка захворала. Началась медленная, осторожная организация. Вначале выходили в поле парами, тройками, затем «пятками», потом решили совместно купить «машину», наконец, объединились в товарищество, и сообща подписали с кооперацией контракт на «клеверок».

— Хлопці, — сказал Амос Федорович, — так же ж коммуна.

— Кто знает...

И вот полчаса назад, после шести долгих лет голода, холода и тяжелых жизненных уроков коммунары снова вернулись в коммуну...

— Авдотья, спрашиваю, — делится кто-то в углу впечатлениями о бегстве жены, — все одно придется, оставайся лучше. Нет, отвечает, не приду. Не прокормишь, говорю, детей. Спасибо, грит, вам за ваше сердешное благодарность, но ни беспокойтесь — сами обойдемся. А если что, тебе заставим. Вот. И ручку подает.

— Стоп, — раздается в другом углу, — скажу про Татьяну: у нее с Андреем была любовь, целый год коммерцию вели. Неужто бросит?

— И наплевать. Не век бабу слушать.

— Правильно.

— Сегодня одно, завтра скажет: не иди на Врангеля. Что тогда?

Тогда встает Амос Федорович.

— Ни, хлопці, не тую воду дуете, — начинает он на своем смешанном украинско-русском диалекте, — жизнь не зтонить на тоці замерзания.

И он произносит речь.

Слышал Амос Федорович, будто темный мужик высказал интерес, как так нашего Ильича не спасли от смерти. Есть ведь такой дыхательный аппарат, что можно сделать человеку оживление для нового существования жизни. Ленин был вождь на всю Европу и свергнул он гнет с рабочих и крестьян, и банды анджиривал, и голод, и всякие такие мучения. Почему же такого человека не спасти? Можно и ему было оставить дыхательную трубку для дальнейшего существования жизни?

— От, хлопці!

Нет, наука не знает воскресенья мертвых, не бывает такой трубки. Но вот Ленин, хотя умер, но для других дыхательный аппарат припас. Это — грамота, культура, социализм.

— От, хлопці.

Нет культуры и грамоты — ни у мужиков, ни у баб. Коммунары отвратили от себя жен, они разоблачили от себя женскую массу.

— Колчака мы в два мисяца побороли, а жинко своих в десять рокив не удужим. Сором!

Он говорит... И вот уже сереет утро, мычат недоенные коровы, блеют беспризорные овцы, хрюкают голодные свиньи.

Коммуна «Пролетариат» вступает в первый день своего существования.

* * *

Дыхательная трубка, — сказал крестьянин.

Культурные кадры — говорим мы. Только они решат проблему быстреего завершения социалистической стройки.

— Слушайте! На-днях в ОНО поступило интересное заявление. Учительнице предложили сообщить квадра-

туру площади школы, а она ответила: «за неимением квадратного аршина» площадь пола вычислить не представляется возможным».

— Ох-хо-хо! — раздается оглушительный смех.

Сидим компанией. Несколько учителей, агрономов, землемер, врач, «ответственный» из исполкома. Говорим о тайге, культуре, сибирских писцах, острове Врангеля, социализме. Настроение — «анекдотическое». Публика больше норовит позубоскалить.

— Подумайте только, — продолжает в экстазе рассказчик, — «нет, говорит, квадратного аршина». С ума сойти!

— Ничего удивительного, — замечает инспектор наробраза, — я уверен, что это писала недоучившаяся слушательница педтехникума.

— Почему так?

— Вышая стипендия у нас 12 рублей, и то ее дают круглым сиротам. А у нее, должно быть, родственник обнаружился в нятом колене, вот и дали ей... коленом...

— Ха-ха-ха!

Пауза.

— Да-а-а, бывают дела, — начинает врач (доктор имеет славу озорника, публика настораживается) — вот бабка, говорят, умерла, иголку проглотила.

— Ну, это уж, простите, несколько не смешно, — обижается землемер.

— Как сказать: мужик, вместо доктора, к... учителю побежал. За магнитом. Магнитом, говорит, вытяну.

— Здорово!

— Даешь, значит, технику.

Посмеялись кисленько и снова зачихали. Не клеится что-то разговор.

— А я был вчера в городе, — говорит агроном, — «Баядерку» видел.

— Ну?

— Раджа объясняется в любви принцессе так:

Я люблю вас без конца
Лам-ца дрица-а-ца-ца-

— Ну?

— Ну-с, и лам-ца-дрица стоит бийскому горсовету тридцать тысяч рублей: оперетта на гарантийном договоре.

— Ну?

— Чего нукаете?! — возмущается

агроном, — тут 12 рублей не хватает на стипендию, слышали?

— Тиш-ше, — вскакивает хозяин дома, — внимание! В виду того, что русские люди не умеют спорить, а обязательно начинается «самокритика», предлагаю перейти к преферансу. Что касается политики, то коротко скажу так: с советской властью у меня одна точка соприкосновения — целиком и полностью признаю комплекс и стою за ГУС. Прощу к столу!

Час ночи. Подъезжаю к селу. Плужное, кажется. Издалека сквозь туман мерцает тусклый свет.

— Спектакль, — объясняет спутник, — зайдем, что ли?

Лошадой оставляем во дворе сельсовета, а сами скачем через десятки видных и кажущихся препятствий по направлению к клубу. Добрались. На дверях плакат:

«ОЙ, НЕ ХОДИ ГРИЦЮ,
СВОИМИ СИЛАМИ

В ПОЛЬЗУ ОБОРОНЫ СТРАНЫ.

— Что скажете насчет помещения? Помещение замечательное. Любой уездный город позавидовал бы. Хозяева явно не поскупились. Огромный зрительный зал, просторная сцена, высокий потолок, фойе, специальное отделение для оркестра, много света, чисто, тепло.

— Помещение нравится, — отвечаю, — а вот что затягиваете спектакль, это нехорошо.

— Тут уж пеняйте на ваших спецов. Наше дело сделано, клуб построен, а «фигли-мигли, приходите на randevу, я вас люблю» — обязанность культурников.

Культурники... Вспоминаю почти аналогичный разговор.

«Сердце есть до советской влады, — сказал как-то в беседе со мной польский крестьянин из Шаровечек, — а керувикиув мало», и он бесконечно был прав. А заведующий клубом в селе Мархлевском (польский район) пояснил это еще проще, когда я указал ему на недочеты клубной работы:

— По я можем зробиць? Моя спечальность—ров'еры. Двадесця лит працювалем в Варшав'е...

Да, варшавские велосипедные фабри-

каны не обучали рабочих клубному делу.

Внизу за барьером рыдает музыка: волчорна, скрипка и барабан с медными чашками.

Сильва, ты меня не лю-ю-любишь —

бум-бам-бах

Сильва, ты меня погу-у-убишь —

бум-бам-бах.

— Самодеятельность, — объясняют мне. — скрипач — приказчик ЕПО, барабанщик — комсомолец, трубач — поп. Расстрига, конечно. Он же наш режиссер, дирижер и создатель оркестра.

Рядом со мной, на шершавой скамейке, председатель сельсовета, руководитель села — Авдотья Карпишна Мазуренко. Женщина лет сорока. Знакомлюсь.

— Давно председательствуете?

— Третий рок.

— Клуб вы строили?

— Який клуб?

— Этот.

— Так چه театр!

— Ну да.

— А як же? Думаете як баба, так не выстроить?

Пауза.

— Вы партийный будете?

— Да.

— Я те ж партийная.

Занавес поднят. Из-за кулис торчит голова попа-режиссера.

* * *

Что такое новая деревня? Как распознать ее? Что требуется от деревни, чтоб она попала в разряд «обновляющихся»? Где критерий? Сильва — поп-режиссер! Неправда ли, ведь это ужасно? А клуб, выстроенный на средства населения, а крестьянка-руководитель села? Куда отнести деревню Плужное — к старым, или новым, обновляющимся, советским селам?

В походном клубе в сенях крестьянской хаты пахнет кислой капустой и дегтем. Растянувшись на глиняном полу, художник малоев афишу: по случаю отдыха (маневры) красноармейская часть дает концерт деревне.

Программа: в 4 часа — спортивно-стрелковые состязания с участием села, в 5 — «красная блуза», в 6 — полит'аукцион, в 7 — хор гармонистов в 8 — доклад, в 8 ч. 20 мин. — кино, в.

— Как вы думаете, — спрашивает

меня политрук, — куда бы вставить спектакль?

— Вам чего собственно не достает: бумаги?

— Нет... времени.

Полит'аукцион.

На скамейке в центре толпы завлукбом Энского полка. В руках плитка шоколада. Он размахивает ею высоко над головой, как заправский приказчик коммиссионного магазина.

— Товарищи селяне и прочие граждане. Слушайте внимательно, говорю в последний раз и окончательно. Участвует всякий — и бедный и богатый. За лучший ответ — пламенный привет и плитка сласти от советской власти. Зачем нам нужны маневры — раз! Маневры — два-с! Мане-е-евры...

Над толпой робко поднимается несколько рук.

— Это, дозволейте доложить, — объясняет кавалерист соседке, — кто лучше политграмоту знает.

— А вы неграмотны будете?

— Нет, барышня, что вы?

— А зачем вы не поднимаете за шоколаду?

— Мне довольно неудобно поднимать, как я старый красноармеец. Подымите лучше вы от селянок.

На трибуне красноармеец из рабочего батальона. Говорит складно и понятно. Лучше вряд ли кто объяснит значение маневров, но второй кандидат налицо: на скамейку поднимается старик-крестьянин.

— От, робята, зараз и я скажу. Колы я був у Миколая на служби, тоди мы здорово парились, аж языки повывсовывалы. А зараз я бачу велику маневру и вси хлопцы совсим не запарены. Молодцы, робята.

— Селянину, селянину! Шоколад селянину, — кричит толпа.

Музыка — туш.

— Аналогичная вещь, — гремит завклубом, — вот она у меня в руках есть. Тут вопрос серьезный, надо отнестись осторожней. Какие, скажите, нашествия могут быть от английского происшествия, и что опять же о долгах и монетах пишут в газетах?

Лес рук.

«В антрактах духовой оркестр полковой музыки и танцы».

— В ваших глазах, — говорит он нежно, — можно заметить веселость, но мгновенно у вас бывает упадочное настроение.

Она краснеет от «комплимента» и отвечает кокетливо:

— Как кому нравится. У нас в деревне так...

— Но сейчас советская власть, и не может быть упадка, — и он ласково берет ее за талию.

— Какие вы странные...

Я стою рядом, стиснутый пестрой толпой. Кавалеристы с желтыми верхами на заливчатских фуражках, бородачи-крестьяне в соломенных панamaх, пехотинцы с широкими потными лицами, воскресные разноцветные ленты. В середине, в узком кольце ноет падэспань, и в море пыли плавают радостные лица. От пыли чихают кларнеты, поминутно засоряется баритон, «киксует» флейта. На штабной крыше кто-то неистово вопит «галогало», и обезумевшая детвора прыгает от оркестра к радио, не зная, где выгоднее пристроиться.

— Тогда идем танцевать польку-кокетку, — говорит он ей, — я дам вам первый урок.

Что есть новая деревня? Как научиться замечать элементы нового в старом?

Читаю деревенский протокол — до кошмара неграмотный, на оберточной бумаге писанный. Язык — невероятный. Едва разбираю слова, до того все буквы похожи друг на друга. Но сколько радости и бодрости можно черпнуть из этого живого человеческого документа!

«...а за время функционирования тов. Нехаенко оказалось нижеследующее. Шагая по грязном болоте деяния по Натальевскому сельскому Комитету взаимной помощи предКВП т. Нехаенко, ревкомиссия до невероятности удивляется, как мог такое длинное время настоящий пред калечить и изуродовать такое великое дело, как комитет взаимной помощи? Ревкомиссия выносит районным властям по линии

большое замечание, как хозяину и распорядителю вменимого ему великого дела. Дорогие товарищи, стоящие у руля государства! не забывайте старрой русской поговорки, що вид хозяйского глазу и лошадь жирна, а ваш глаз, товарищи, за существование Натальевского КВП одного года и трех с лишим месяцев ни разу и не взглянул. Ревизионная Комиссия, указ рукой по ее мнению на что следует, остается при сем нижеследующем мнении: ревизионная комиссия предлагает гражданам в перевыборах избрать гражданина соответствующего настоящему село назначения, который бы очистил с КВП настоящую грязь и повел в дальнейшем настолько, насколько будет возможно по указанному советской власти пути. Ревкомиссия извиняется перед населением и властью, может быть проведено не так, как нужно, но она не письменно и не в таком великом курсе по делам ревизий, а сделала так, как могла.

Какая любовь и преданность революции чувствуется в этих малограмотных строках! Что с того, что предыхаенки калечат «такое великое дело» — на смену подымаются целые пласты, массы. Сегодня они еще «не в великом курсе», но дайте срок!

Что есть обновляющегося в деревне?

Попадаю в польское село на самой границе. Село забытое, темное, и первое впечатление, что советской власти здесь не было еще. Не чувствуется новый хозяин. Но вот знакомлюсь с семьей Вацлава Уроды.

Вацлав Урода разговаривает одновременно на трех языках. Два слова по-польски, столько же по-русски и немного больше по-украински. Если б не польский акцент, трудно было бы определить его национальность. Вот что сделал царизм с поляками: они потеряли родной язык.

У Вацлава Уроды три десятины земли, жена, четверо ребят, корова, лошадь и трехугольная сухопарая рука. Немецкая пуля прошла через плечо, задела нервный узел, стянула локоть и остановила кровь. Когда Вацлаву надо подать гостю табуретку, он посы-

лает вдогонку за большой рукой все свое больное тело.

— Сидайте, прошу.

У Вацлава Уроды всего один глаз; но опять оп в этом ничуть не повинен немецкие газы за Сбручем...

Вацлав Урода очень беден. Убейте его, если найдете в хате намек на сало, но выгидит оп тем не менее паном; ведь Вацлав обеспечил жену и детей хлебом на круглый год. А когда у Вацлава был свой хлеб?

— Мялем, пале добродию, оце, — Вацлав показывает шиш, — а тераз тиш десептины.

Вацлавова жена Болеслава молится богу очень горячо, состоит в кружке «ружанцев» и целует руку ксендзу двенадцать раз па день. Вацлав тоже верит в бога, тоже состоит в кружке («тярцияжей»), па руку целует ксендзу реже.

— Бо це баловство...

Зато старший сын Янек совсем язычник. Он не только не признает костела, но при встрече с ксендзом показывает ему в кармане дулю. Мать не дает ему за это кушать, но Янек говорит, что умрет с голоду, но в костел ногой не ступит.

— Цо сробичь? — смеется Вацлав, — хочь пионпр, а дитє.

Вацлав Урода пришел только что из сельсовета. Как член сельсовета, он принимал участие в обсуждении плана землеустройства. Надо готовить отпор кулаку. Хотя все люди равны перед паном богом, и все правоверные катлики обязательно попадут в рай, но пока что здесь, на грешной земле, надо ожидать больших столкновений с кулаками.

Когда Вацлав выходил из сельсовета, он столкнулся носом к носу с кулаком Казмежом Пионтковским, председателем Терцияжской общины и лучшим католиком на селе. Вацлав снял картуз:

— Нех беньдзе похваленый Езуо Христус? — сказал он.

Но Казмеж Пионтковский шмыгнул в сторону, Вацлаву почудилось даже: «лайдак»...

— Во веки векув аминь, — ответил Вацлав самому себе на собственное приветствие.

Вздохнул, перекрестился, одел картуз.

— Холера, пся крев, — подумал он, но стиснул зубы.

Из окна вацлавовой хаты виден польский пограничный столб, а об вацлавовый забор трутся польские свиньи. Таково географическое расположение хозяйства товарища Вацлава. Впрочем, почти вся граница Польши с нами рассекает бывшие украинские деревни пополам, и у всех советских заборов трутся польские свиньи. Но это представляет интерес разве только для приезжих журналистов, Вацлаву же надоел и польский столб, и польский часовой («быдло», по выражению Вацлава), и весь польский пейзаж.

Вацлава Уроду волнует более низменный вопрос: хватит ли у него средств закончить новую хату? Остановка за краской для крыши и за оконным стеклом.

— Перши раз в жичью,—говорит он с гордостью,—Вацлав бендзе мял свою власну хату!

Вацлав раздвигает занавеску и показывает на усадьбу по ту сторону столба:

— Там мы працювали, там нам по 15 копиек на день давали. А тераз я сам собі пан...

Вацлав не читает газет и грамоте его обучили при царе лишь постольку, поскольку это нужно было, чтобы хвалить ежедневно десять раз пана бога и деву Марию. В курсе ли Вацлав последних событий, понимает ли Вацлав, какие угрозы висят над той страной, которая превратила его из хлопа в пана? Есть ли гарантия, что вацлавова хата и скот, и земля не перейдут назад к тому пану за пограничным столбом, и не потребует ли пан арендную плату за отобранные «тши десентины»?

Вацлав Урода сидит, как статуя. Только единственный глаз мигает не в меру.

— Броня, Броня! — кричит вдруг Вацлав не своим голосом, — ходь тутай, послухай цо пан повяда!

Вацлав заставляет меня повторить весь рассказ. Бронислава, как видно, весьма слабо понимает меня, но по ли-

цу Вацлава она догадывается, что речь идет о чем-то очень серьезном, поминутно крестится и призывает на помощь матку-боску.

На дворе заметно темнеет. На польской стороне показывается кавалерийский раз'езд. Лают собаки. В польской усадьбе зажгли свет. Мимо вацлавовой хаты промчалась тачанка с зелеными фуражками: наша погранохрана.

— Нет, войны не будет, — кричит Вацлав, — почему война? Зачем война? Кому она нужна?!

Вацлав не верит. Ему, ему, ставшему на ноги недавнему хлопцу, так не пужна война, что он не может даже допустить мысли о ней.

— Снова голодачь? Снова на пана работачь? А хозяйство, а хата? Нет, умеречь, но своего не отдачь!

Прощались мы с Вацлавом большими друзьями: сроднила ненависть к врагам.

Какой Вацлав лайдак, если он готов жизнь отдать за право трудиться? Нет, Вацлав больше не правоверный католик, он больше не будет кланяться Казмежу Пионтковскому, он, «кажется», перестанет даже целовать руку ксендзу. «Кажется». Ведь все это надо хорошенько продумать...

Так на опыте конкретных примеров из практики каждодневной классовой борьбы рождаются и воспитываются новые люди.

Северная Осетия. Одна из самых длинных сторон советского союза. Три тысячи метров над уровнем моря, бездонные пропасти, под ногами облака, над головой снежные бураны, голые скалы, ледники. Там женщина не смеет разговаривать при посторонних с мужем. Там женщина не имеет права сидеть за общим столом. И в то же время сейчас в Северной Осетии строится первый в союзе агро-индустриальный комбинат, первая грандиозная коммуна-фабрика. 12.000 крестьян согласились оставить насиженные аулы, чтобы на коллективных началах построить новую жизнь.

Вот какие чудеса знает наша революция!

Через 10--20 лет трудно будет пред-

ставить себе героинку наших дней. Именно сейчас, когда рядом со строящимся на основе последних достижений науки и техники крестьянским комбинатом, в соседнем ауле горцосетин молится над связкой черепов предков и просит их послать урожай, — именно сейчас можно до конца прочувствовать романтику величайшей стройки.

Говорят, что болгарские женщины (наших советских болгарских сел) еще более бесправны, нежели осетинские.

Если женщина переходит дорогу, надо перепрыгнуть лошадей. Рожать разрешается болгарской женщине только на черном дворе — в сарае или отхожем месте. Женщины обязаны при встрече целовать руку мужчине. Мужчине обращается к женщине не иначе, как «чулиме» (эй, ты); невестка («булка» по-болгарски) не смеет разговаривать со свекром года два—три, пока он не обратится к ней.

Но вот я попадаю в болгарское село на Мелитопольщине. Местный врач общественик знакомит меня с селом.

— Новая семилетка, — показывает он, — а вот строится родильный приют.

— Позвольте, — недоумеваю я, — болгарки рожают в уборных...

Навстречу с барабанным боем движется взвод пионеров. Бронзовые тела, красные трусы, знамя.

На Украине вольно жить,
Есть что шамать, есть что пить.

— Доктор, когда, думаете, удастся втянуть девушек в эти отряды?

— Их здесь больше половины.

— В трусах?!

И я рассказываю все, что слышал от сведущих лиц о быте болгарок.

— Ах, дорогой, — отвечает доктор, — вам рассказывали о селе 1922—23 года. Сейчас этого почти нет: советская власть!

Велика сибирская степь, бесконечна тайга. Еду день, еду два, три... Я не вернусь больше в Чулымские леса, я не увижу больше Амоса Федоровича, произносящего речь о трубке Ильича.

Неужели развалится коммуна «Пролетариат»? Неужели коммунары не

найдут в себе достаточно огня и уменья, чтобы вернуть несчастных жен обратно в коммуну, и сделать их достойными товарищами и помощниками в общем деле?

Нет, опыт наблюдений десятков и сотен наших деревень говорит за то, что там, где тлеет хоть одна искра огня, не может быть развала начавшейся стройки. А ведь все алексеевцы—величайшие революционеры, если они сумели отказаться от тяготевшего над ними веками инстинкта собственника, если они полностью отдали себя в распоряжение коллектива!

Чулымская женщина. Когда в 5.000 километров от Москвы, в сибирской глуши крестьянка способна в любой момент оставить мужа, хату и корову, и уехать на край света («ни беспокойтесь, Антон Митрофанович, сами обойдемся»), то разве это одно не является величайшим достижением революции? Еще небольшое усилие, и чулымская женщина станет в ногу с жизнью. Она больше не раб, она — человек.

Снегами и буранами лежит мой путь дальше, и вот я в другой коммуне, верстах в пятистах от «Пролетариата». Тоже глушь, тоже край света, тоже тайга. «Майское Утро» называется коммуна.

Ставлю перед собой задачу — изучить женскую проблему в коммуне: сработались ли обе половины населения, нет ли споров, бытовых драг, и чувствует ли себя женщина полноправным участником хозяйства.

Узнаю изумительные вещи. Девять лет назад, когда случился пожар в коммуне, женщины отказались участвовать в тушении огня. Они стояли в стороне и демонстративно щелкали семечки. Женщины счастливы были, что сгорает общая кухня, и что можно, наконец, вернуться к собственному горшку. А сейчас... впрочем, об этой коммуне надо рассказать «по порядку».

Помещение, в которое я попал, оказалось квартирой ночного сторожа. Старик долго кричал, помогая мне стащить шубу, и позвал, наконец, на помощь дочурку.

— Глафира.

Вскочила с палатей. Лет 14. В руке книжка.

— Что читаете? — спрашиваю, чтоб войти в разговор.

— Генриха Гейне, ах, нет, простите, — Генриха Ибсена...

Я потрясен обмолвкой. В 5.000 километрах от Москвы, в сибирской тайге 14-летняя девочка знает обоих великих Генрихов.

Что Ибсен! Коммуна прочла почти всю русскую и иностранную литературу.

Во главе культурной жизни коммуны стоит никому неизвестный скромный сельский интеллигент — беспартийный учитель Адриан Митрофанович Топоров («предлагаю перейти к преферансу...»).

Коммуной прочитаны:

Весь Гоголь, весь Островский, весь Чехов.

Лев Толстой: «Воскресенье», «Отец Сергей», «Власть тьмы», «Дьявол», «От ней все качества», «Плоды просвещения», «Исповедь», «Живой труп».

Тургенев: «Накануне», «Отцы и дети», «Безденежье», «Месяц в деревне».

Лесков: «Расточитель», «Соборяне», «На ножах», «Запечатленный ангел», «Кувырколлегия».

Щедрин: «Господа Головлевы», «Смерть Пазухина», «В деревенской тиши».

Пушкин: «Дубровский», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта», «Борис Годунов», «Повести Белкина», «Мелкие стихи».

Прошу учесть, что я привожу здесь не копию какого-либо списка, а живую запись. Это все записывалось под диктовку коммунаров и коммунарок, — не молодежи и не школьников, а мужиков и старух!

Горький: «Мать», «Мещане», «На дне», «Двадцать шесть и одна», «Мальва».

Лермонтов: «Демон», «Герой нашего времени», «Мцыри», «Боярин Орша».

Короленко: «Лес шумит», «Сон Макара», «Слепой музыкант», «Без языка», «Искушение».

Некрасов: «Кому на Руси жить хорошо», «У парадного подезда», и «все мелкие стихотворения».

Куприн: «Гранатовый браслет», «Морская болезнь», «Страшная минута», «Олеся», «Изумруд», «Яма».

Они обступили меня со всех сторон, я не успеваю записывать. Ввожу НОТ: пусть товарищи называют только авторов.

Бунин, Успенский, Писемский, Чirikов, А. Толстой, Помяловский, Леонид Андреев, Григорович, Муйжель, Всеволод Иванов, Демьян Бедный, Сейфуллина, Лидин, Катаев, Леонов, Безыменский, Шишков, Джон Рид, Подъячев, Бабель, Неверов, Есенин, Жаров...

Мольер, Гюго, Метерлинк, Гауптман, Мопассан, Гейне, Гете, Ибсен...

В сибирской глуши, в Барнаульском округе, в Косихинском районе, я встретил коммуны, население которой прочло почти все, что есть лучшего в мировой литературе.

Придет ли времячко,
Когда мужик не Блохера
И не Милорда глупого,—
Белинского и Гоголя
С базара понесет.

Давно ли даже намек на это казался поэту несбыточной мечтой? Свершилось. Крестьянин не только понес с базара Белинского и Гоголя, но только прочел их, но научился критически относиться к литературным произведениям, и на читках и диспутах, проводимых в коммуне вот уже около восьми лет, не раз и не два основательно попадало многим нашим писателям за манеру письма, за язык, за фабулу, за идеологию.

Белинские в лаптях!

Задуманная программа рушилась. После всего того, что я увидел, спрашивать, как разрешила коммуна женский вопрос и чувствуют ли себя коммунарки равноправными членами хозяйства, и стыдно было и не к чему. В небольшом кругу я поделился только «предварительными» мыслями, волновавшими меня, когда я под'езжал к коммуне, и заодно рассказал о бегстве жеп из коммуны «Пролетарнат».

Рассказ произвел впечатление. Говорили о многом — о трудностях переходного периода, о неизбежности кол-

лективизации распыленного единоличного крестьянского хозяйства, о Ленине, о проблеме культурных кадров, о семье, о детях, о любви.

— Бытовой вопрос в коммунах самый острый вопрос, — сказал кто-то, — сколько коммун уже распалось из-за него.

— Тут еще мертвый тянет живого.

— Тянет и перетягивает.

И стали коммунары вспоминать свои собственные истории, собственные трудности. «Майское Утро» не сразу стало майским утром в жизни коммунаров. Тогда же во время беседы я впервые узнал о пожаре в коммуне, когда старики и дети из кожи лезли вон, чтоб ликвидировать огонь, а женщины стояли в стороне, тогда же узнал о «самочистках», освободивших коммуну от «пробравшего элемента»; узнал я, наконец, о двух «совсем трагических романах», основательно всколыхнувших жизнь коммуны. Случись эти романы в другой коммуне, где культурный уровень не так высок, едва ли коммунарам удалось быстро оправиться от «жизненного удара».

Молодым деревенским парнем, кузнечным подмастерьем Блинов встретился с красавицей Марией. Завязался роман — самый настоящий — с тайными встречами, страданиями, переживаниями, бессонными ночами, ибо родители воспротивились браку и взяли молодых, что называется, под замок. Жизнь не улыбулась влюбленным. Может быть, родительские сердца размякли бы, может быть, молодые решились бы на союз без стариковского благословенья, но подошла военная служба, и вот уже Мария замужем, а вернувшийся из солдат Блинов вынужден также жениться на другой.

Проходит много лет, и неумолимые законы жизни приводят кузнеца Блинова с его семьей и красавицу Сукачеву с целым выводком ребят — под одну крышу. Так хочет революция. Они члены одной коммуны, они живут в одном доме, они работают рядом в поле, они сидят на одной скамье в клубе и вместе горячо обсуждают «Крейцерову сонату» и «Виринею»... Тут же рядом Сукачев и Блинова, а там в углу на

составленных столах, застланных кожухами, спят крепким сном их дети.

Опять вспыхивает заглушенное чувство, опять разгорается старая любовь. Оба еще достаточно молоды, чтобы любить, но оба уже достаточно стары, чтобы не легко было бы рвать с семьями: дети!

В трагедию четырех коммунаров вмешивается... коммуна, коллектив. Вмешивается открыто, властно, но с изумительной теплотой и тактом. Коммуна дискутирует проблему семьи и брака. Дискутирует с книгой в руках, но с чутким учетом всех обстоятельств «собственного романа» и полным пониманием сложности вопроса. В дискуссии участвуют и герои: «вопрос принципиален».

Можно согласиться или не согласиться с коммунарами «Майского Утра», не допустившими разрыва семейств, — не это важно. Важно то, что трагедия четырех коммунаров не только не стала, как это водится в нашей «просвещенной» среде, предметом сплетен и зубоскальства «близких» и «друзей», а что четыре человека в нужный момент получили действительную, настоящую моральную поддержку коллектива. Важно то, что Блинов и Сукачева согласились с мнением коммуны, считая совет товарищей правильным и честным.

Это ли не величайшая победа на фронте борьбы за новый, в полном смысле, новый быт! Это ли не образец подлинной культуры!

Но вот в коммуне разгорается второй бытовой эпизод. Лиза и Миша учатся в районном селе Косихе в семилетке. Обоим по семнадцать лет, оба любят друг друга и случается то, что при самых благих намерениях не всегда удается молодым людям нормировать загсом. По застенчивости Лиза долго скрывает беременность. Скрывает это и Миша. Больше того, он сробел, и когда тайное становится явным, он не находит даже в себе достаточно мужества сознаться в «грехе».

Родители отзывает Лизу в коммуны.

Об этом узнает немедленно вся коммуна, и женщины ставят тот же вопрос об отзыве... Миши. «Формаль-

ная» причина: раз Лиза прервала учебу, пусть и Миша не будет более в привилегированном положении. Истинное же объяснение этого не совсем логичного предложения скрыто в другом: Миша продолжает «отпираться» — он не оказался честным товарищем по отношению к Лизе...

Под напором женщин коммунары вынуждены согласиться с отзывом, и вот Миша тоже в коммуне.

Лиза готовится стать матерью. Ничто ее ни в чем не упрекает: ведь она взрослая женщина, и за свои действия сама отвечает.

Проходит месяц, другой, и Лиза разрешается ... мертвым ребенком.

Мертвым?

Лиза снова восемнадцатилетняя уче-

лица семилетки: осталось только полгода учиться, чтоб выйти в люди. Мать, а за ней все коммунарки, ставят вопрос о посылке Лизы в Косиху. Коммунары не возражают, они только называют еще одно имя: ведь и Мише осталось полгода учиться!

И вот запряжены лошади, сани грузятся продуктами на двонх, кучер затягивает заливчатскую песню и — айда! — поехали.

И точка. Забыта вся история, так забыта, что я не знаю, хорошо ли я поступил, воскрешая ее. Удобно ли это?

«Удобно ли». Написал это слово и самому стало неудобно. Как трудно даже «культурным» людям вытравить предрассудки. Коммунары «Майского Утра» гораздо проще «смотрят на вещи.

3. ТЕЛЕГРАММА

Очерк

Н. Шкляр

Отсюда, с крыши старого корпуса, видно, как растет новая фабрика. Огромный железобетонный костяк головой врезается в пустыри, повернутым хвостом уходит в поля, а костистый гребень уже перерос березовую рощу. Сейчас середина июня, в конце апреля здесь еще ничего не было.

Глебыч щурится, сдерживает улыбку и глуховатым голосом, «окая» повладимирски, сообщает:

— Одних стен из сплошного стекла четырнадцать тысяч восемьсот мет-

Улыбка расплывается по худому лицу, в глазах вспыхивают искорки и весь он сияет.

— Дожили! Своими собственными руками эдаку махину!

Он протягивает руки и встряхивает кулаками, будто пробует крепость этой машины.

Здесь, в старом корпусе, пятнадцать лет назад, безусым парнем он начал работу ткачом. Теперь он председатель треста.

Он прячет улыбку, хмурится и объясняет, как разместятся отдельные корпуса. Я вспоминаю висящие в правлении красивые чертежи и никак не могу связать их с этим огромным железобетонным чудовищем.

Спускаемся вниз. Роют котлованы. Заливают бетоном. Гудит конвейер. От ящика, куда сбрасывают землю, тянется широкая лента, подхватывает глинистую землю и тащит кверху, к тачкам.

Внизу встречаем директора и вместе с ним идем в контору.

— Как получаются материалы?

— Вчера получили сто четырнадцать тысяч пудов разного груза.

— А сколько всего?

— С начала стройки семь с половиной миллионов пудов.

— Как подвигаются корпуса?

— Ткацкий закончим к концу сезона. Прядильный будет готов на 60 проц. Трепальный закончим вчерне, стены будут подведены под крышу. Все здания будут затеплены.

— Как с механизацией?

— Работает пять бетоньеров, граве-мойка, земляные конвейеры, электрическая станция, камнедробилка, механическая мастерская, узкоколейка на двенадцать километров.

— Чертежи запаздывают?

— Очень. Но главное — нехватка цемента. Приостановили работы по перекрытию...

Вечером все в сборе. На деревянном помосте, среди лесов, железа и бетона, песка, гравия, бочек из под цемента, в смешанном свете золотых июньских сумерек и голубоватых электрических ламп говорит Глебыч.

Он чуть заикается — отсекает первую букву. Слова вылетают с натугой. Даются не легко, но ложатся крепко. В решительных местах рубит рукой. Слушают его с огромным вниманием, помогают и лицом и жестом, подсказывают недостающее слово. Я смотрю на серьезные лица, на огоньки сосредоточенных глаз, на полуоткрытые губы, и кажется, будто говорят все полторы тысячи человек.

— Огромные достижения. Ивановский текстильный район, — его развернутая стройка, опыт работы непрерывным потоком — живой пример этих достижений. Но и огромные трудности. Рост производства не поспевает за ростом потребления. Новые фабрики заработают через два-три года. А деревня переживает текстильный голод. Нехватка текстиля отражается на хлебозаготовках. Дать мануфактуру — задача не только экономическая, но и политическая. Нужно разрешить ее во что бы то ни стало. Преодолеть все препятствия. Мало квалифицированных рабочих — их нужно дать! Слаб нижний и средний техсостав — повысить! Нехватка сырья, подсобных материалов — добыть!

Рука подымается и опускается.

— Изношено паросиловое хозяйство — восстановить! Трудно с машиностроением...

Рука останавливается на этом трудном месте и сжимается в кулак.

— А кроме того, товарищи, — прогулы, небрежное отношение к машине и к материалу. Старое русское «авось»...

— Пьянство! — подсказывает старый ткач со шрамом на щеке.

Хлещут слова по глазам. Но не чужая бьет рука — свой человек Глебыч.

— А финансовое положение напряженное. В этом году вкладываем в текстильное строительство двести миллионов, но этого мало. Нехватка в семьдесят миллионов. Нужна вся воля рабочего класса, вся мысль и вся совесть. Что сделаем, товарищи, и чего не сделаем — все своею собственной рукой. Выявляйте недостатки!

Подымаются на помост один за другим текстильщики и строители и коротко и деловито, загибая палец за пальцем, выводят на свет грехи.

— В трепальном корпусе. Чертежи фундаментов гринельной башни присланы 9 июня, а расчетов к ним нет. Запиши, товарищ!

— В ткацком корпусе. Расчет железобетонного прогона отослан на согласование 2 июня, а согласования нет и до сего дня. Запиши!

— Работы по перекрытию приостановлены из-за несвоевременной доставки цемента...

— Говорю без утайки, — работаем вслепую, по собственной смекалке. Запиши такой случай...

Я записываю по порядку все недочеты, все случаи. Последняя моя запись значится под номером 78-м...

Выпускают нас не сразу. Когда все окончено, Глебыча окружают земляки, старые товарищи зовут в гости. Я направляюсь к выходу. Через полчаса мы выходим с ним на дорогу. За нами стихающий говор, в глазах — напряженные лица, в ушах — короткие, энергичные фразы. В мыслях — эти 78 записей. Я перебираю их, стараюсь уловить главные линии.

Глебыч останавливается.

— Надо продумать и отделить основное от случайного.

— И это надо сделать сегодня же, — соглашаюсь я.

— Правильно. А теперь пора вздохнуть, — улыбается он.

И нас охватывает тихая, теплая, душистая июньская ночь.

Ночуем мы в Никольском, в бывшем

княжеском доме, где теперь дом отдыха. До Никольского три версты.

Спускаемся вниз, к пруду, проходим через старый мост по гулким подрагивающим бревнам и поднимаемся кверху аллеей из огромных столетних ив. Выше ивы сменяются лиственницами, — сухоовато пахнет смолой. А на горе нас охватывает сладкий, теплый, пьянящий запах зацветающего липового парка. Среди темных лип белеет огромный княжеский дом с колоннами и бельведером, налево церковь, над куполом тонко серебрится зеленоватый месяц, под ним драгоценным подвеском дрожит и поворачивается звезда... Мы останавливаемся.

— Красиво!

— Красиво, но по-барски. Располагает к лени. Доживем и до своей красоты...

Ночлег нам приготовлен в бывшей княжеской библиотеке. Ее еще не вывезли. На больших кожаных диванах между огромными шкапами постланы две постели. На столе две свечи, кувшин с молоком и тарелка с хлебом. Зажигаем свечи и долго обсуждаем все, что видели и слышали за день. Намечаем работу на завтра и составляем несколько телеграмм. Их надо отправить с нарочным, утром.

Когда мы кончаем, короткая июньская ночь уже на исходе. Укладываемся, но я не могу заснуть. Полукруглая библиотека наливается тонким утренним светом. Красные шкапы с толстыми стеклами выступают все яснее. В утреннем свете они холодноваты и будто испуганы. За стеклами видны желтые, красные, темные сафьяновые корешки с золотыми надписями и тонкими цветочками.

Я осторожно поднимаюсь, подхожу к шкапу напротив и разбираю золотые надписи: D. Diderot — Œuvres choisies; Montesquieu; Voltaire; Holbach — Système de la nature; J. J. Rousseau — Emil...

Против Вольтера стекло продавлено. Я вытаскиваю один из томиков — «Кандид».

— Ну, кого ты там выловил?

Оказывается, он тоже не спит.

— Надо и мне почитать. Кого-нибудь из наших. Вот из этого шкапика.

И только теперь я замечаю, что рядом с огромным красным шкапом княжеской библиотеки, где собраны французские энциклопедисты в переплетах с сафьяновыми корешками и золотыми надписями, у самой двери приткнулся простенький фанерчатый шкапик, битком набитый нашими, советскими книжками. На нем бумажка с надписью: «Библиотека дома отдыха».

Сквозь разбитое и подклеенное бумагой стекло видны потрепанные корешки самодельных переплетов, на них бумажные наклейки с крупными надписями: Стучка — «Конституция»; Бухарин — «Азбука»; Коваленко — «Политграмма»; Любимов — «Политэкономика».

Глебыч отпирает шкапик и вытаскивает Бухарина.

Мы стоим рядом. Я с Вольтером, он с Бухариным. Разворачиваем каждый свою. Желтоватые страницы Вольтера безупречно чисты. Потрепанные страницы, и оттуда падает сложенный лист.

Я перелистываю пожелтевшие страницы и оттуда падает сложенный листок бумаги, — в роде телеграммы. Подымаю и разворачиваю. Глебыч заинтересовывается.

— Телеграмма?

— Да, это телеграмма.

— Откуда?

— Из... Дрездена.

— Уж не нам ли с тобой? — усмеется он.

Читаю. Телеграмма написана по-французски. Кто-то уведомляет княжну, что прибыл в Дрезден и завтра собирается в Париж. Просит телеграфировать здоровье.

— Здоровье? — ухмыляется Глебыч. — Телеграфируй, что здоровье неважно. Давно ль получена?

Я разбираю дату: 27 декабря 1903 года.

— Пиши, что сильно пошатнулось уже после «пятого» года. Еще что?

Как бы желая убедиться, нет ли в этой телеграмме еще чего-либо, я переворачиваю ее на другую сторону. Сверху карандашом тонко набросана пишущая рука. Под этой виньеткой изящным, повидимому, женским

почерком, написано несколько фрацузских фраз.

— Ну, ну — читай!

Я читаю и тут же перевожу. Глебыч внимательно слушает.

— «L'immense Russie souffre d'un immense ennui»...

— «Необ'ятная Росспя задыхается от необ'ятной скуки»...

Он прислушивается.

— «Aux malheurs, qui la nature et les hommes accumulent sur le pays, le paysan n'oppose rien»... — «Тому горю, которое и природа и люди накопили над страной, мужик не оказывает никакого сопротивления»...

— «La non-résistance — voilà son dogme. Et la non-résistance engendre la paresse»... — «Непротивление — вот его основное правило. И непротивление вырождается в лень».

Мы смотрим друг на друга, на белый листок, потом на бледную в утреннем свете комнату, заставленную шкапами, и мне кажется, что кроме нас двоих в этой комнате живет, думает и сейчас говорит с нами кто-то третий.

— Убедительно сказано, — говорит Глебыч.

Мы молчим и думаем. Каждый по-своему. Притихли. Укладываемся на своих постелях.

Я не сплю. Хочется связать Вольтера и Бухарина; эту огромную библиотеку с энциклопедистами и маленький потертый шкалик со Стучкой; тонкие размышления, четверть века назад записанные досужей рукой на телеграфном бланке, и телеграммы, которые мы отправим через несколько часов...

Глебыч спит.

Утром он будит меня.

— Опоздали мы здорово! — говорит он серьезно.

— Который час?

— Надо спешить. Телеграммы захвати и эту — заграничную.

Выпиваем молоко, ставим на место книги и выходим.

— Необ'ятная страна... как это? Нука, прочитай еще!

Я еще раз перевожу телеграмму.

— Дай-ка сюда. Хочу огласить ее сегодня.

Он прячет телеграмму в карман, смотрит на меня, и помолчав, говорит:

— Двадцать пять лет назад надо было ответить на эту телеграмму. Вот почему надо спешить...

Когда мы спускаемся к плотине, гудит гудок. Из-за леса ему отвечает эхо. Три раза. Фабрика и поля переключаются.

За рубежом

1. ЭГОН ЭРВИН КИШ. За кулисами статуи Свободы. — 2. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету. — 3. Г. САНДОМИРСКИЙ. Экзотический фашизм.

1. ЗА КУЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ

(Письма из Америки).

Эгон Эрвин Киш

(Продолжение¹)

VII. Харлем — гетто негров

Белый человек побудил негров к принятию христианства, уверив их в том, что все люди—братья и должны любить друг друга; белый человек научил негров пить водку, чтобы они во всем уподобились светлым сынам культуры.

И когда его проповедь увенчалась успехом, то оказалось, что он попрежнему употребляет негров в качестве купленных или некупленных рабов, изгоняет их из своих жилых домов и районов и даже более того: снова отнимает от них водку, к которой они (благодаря его стараниям) успели уже пристраститься.

Даже в восточных кварталах Нью-Йорка, куда голод и грязь перенесли свою царскую ставку, где осели густой толпой неудачники всех стран (так и не перестав быть неудачниками и бедняками), даже и здесь наверное бы вспыхнуло восстание, если бы какой-нибудь дерзкий негр вздумал поселиться в одной из жалких лачуг этого квартала. В центре города имеется только маленький участок, на котором когда-то удалось обосноваться неграм. Большим кругом объезжает этот адский поселок гордящийся своим происхождением белый гражданин Нью-Йорка.

Широкие же массы негритянского населения живут здесь, в северном районе города, в Харлеме. В своей родной Африке негры не знают такого

людного города. С правом можно было бы называть негритянский квартал Нью-Йорка столицей чернокожих.

Когда здесь вспыхивают световые рекламы, когда улицы Харлема оглашаются вечерним шумом, тогда здесь все (и торговля, и уличное движение, и увеселительные дома) почти ничем не отличается от такой же шумной вечерней жизни на Бродвее. Здесь все так же, как и там, 18—19 улиц южнее, только в черных тонах.

Кто много путешествовал, тот весьма невысокого мнения о фантазии, присущей мирозданию. Грандиозен только ее аппарат распределения: изготовляя какую-нибудь провинцию, она заботится, чтобы ландшафты не повторялись, чтобы горы и реки не были бы поданы дважды в одном и том же выполнении. Не встречаются здесь также два или три экземпляра того же самого человека. Правда, определенный тип лица повторяется неоднократно. Но природа все же не ограничивается простым плагиатом; она вносит мелкие изменения: дает двойникам различные имена и профессии, ставит их на разные ступени общественной лестницы, наконец, помогает им родить несходное количество детей.

Но на расстоянии нескольких сот километров природа уже не стесняется, здесь попадают и точные копии; и путешественник замечает, что изделия природы — продукты фабричного производства, а не творения вдохновенного артиста.

¹ См. «Новый Мир», № 4 с. г.

Даже негры не изготавливаются в специальных мастерских. Это все те же модели, только выдержанные в черных тонах. В Африке это не так заметно. Туземцы ходят в фартучках п экзотических лохмотьях, европейских же их двойников мы обычно не видим ни голыми, ни даже в нижнем белье. Но в Харлеме, где все одеты в европейские костюмы, знакомые встречаются на каждом шагу.

Черный Эмиль Рабольд пересекает путь тяжелому автобусу; Рольф Нюрнберг внимательно изучает театральную афишу; Эрих Люндендорф надменно врзается в толпу; Антон Ку, которому бы следовало прославлять целебные свойства какого-то нового патентованного средства, забывает об этом и впадает в свое обычное великолепное красноречие, опьяняя им и себя и добродушного толстого швейцара; Де-Фиори уговаривает костлявую девчонку попозировать ему для новой картины; Марго Юнг пьет через соломинку какой-то прохладительный напиток; грессмейстер Ласкер рассказывает скабрезный анекдот Александру Кранаху, и тот смеется в ответ своим громающим смехом, от которого мигает электричество и сотрясаются стены. Все это, разумеется, выдержано в черных или, по крайней мере, темных тонах.

Жизнь в Харлеме не утихает ни на минуту. Все большие магазины торгуют до полуночи, а ночные клубы, кафешантаны и друг. увеселительные учреждения в 12 час. ночи только возвращаются к жизни. Здесь можно увидеть, как в ночных парикмахерских проворные негры обслуживают черных джентльменов, чинно восседающих в покойных креслах. И так как курчавые волосы не поддаются простой расческе, то пробор выбривается тонкой, но достаточно заметной полоской. Говорят, что женщина, которой удалось уничтожить наследственную курчавость в волосах Жозефины Беккер и еще нескольких тысяч негритянок дам, заработала на этом миллион долларов. Но я уверен, что тот, кто сумел бы сообщить их коже белизну, немедленно сделался бы миллиардером. В

Америке нет ни одного негра, который бы не поступился последним центом, чтобы из презренного сооп превратиться в белого джентльмена.

И это не только ради карьеры. Зараженный идеологией господствующей национальности, он и сам презирает себя за цвет своей кожи. В витринах игрушечных магазинов Харлема выставлены куклы. Их негритянские рожицы окрашены, однако, не в густо-черный цвет, как вы встретите их в остальных магазинах Нью-Йорка, а в нежно-коричневый, кофейного оттенка. В негритянских варьете дива всегда загримирована под европейку, зато комик сообщает своему лицу еще более черный цвет, мажет его сажей или даже одевает к общему удовольствию публики черную маску. Коричневый негр всей душой презирает черного негра. Едва ли это пережиток какой-нибудь древней племенной вражды. Дело обстоит проще: презираемый белыми джентльменами за цвет своей кожи, он, в свою очередь, презирает еще более черного. На этой почве часто происходят ссоры и драки. Во время одного такого кровавого побоища был убит знаменитый боксер Б. Сики.

Приведу хотя бы следующий случай. Пароход «Vestris» постигло крушение. Он пошел ко дну; но смелым матросам удалось спасти жизнь нескольким сотням утопающих. В тот же вечер герои морской катастрофы выступали в ночных клубах Нью-Йорка, делясь с публикой своими печальными воспоминаниями. Я находился в негритянском варьете, где кроме меня не было ни одного белого.

И вот до появления на сцену блестящих героев дня конференсье предупреждает публику, чтобы она воздержалась от смеха. От смеха? Что, казалось бы, могло возбудить смех в рассказе о только что происшедшем несчастье? Но вскоре все стало ясно: на сцену выступили негры с Филиппинских островов; их кожа была черна, как смоль, а зубы особенно криво расставлены. Смотреть на них и не смеяться стоило неграм больших усилий.

В Харлеме теснятся друг возле друга 12 кино, два мюзик-холла, 4 водевильных и 1 драматический театр (всего 39.832 зрительных места). Только на углу Бродвея и 42-й улицы имеется такое же количество увеселительных учреждений. В ночных клубах Харлема два раза под ряд выступают с теми же номерами одни и те же паяцы, плясуны, певички и эксцентрики. А рядом с театром и водевилями расположены бойкие кафе, где всю ночь торгуют мороженым, ночные рестораны и чайные, бильярдные и игорные дома, бесчисленное количество укромных винных погребов.

Из 19 владельцев театров—18 белых. Все они наживаются на том, что общепитанный хозяином и изгнанный из остальных районов Нью-Йорка негр хочет хотя бы вечером, здесь у себя, в Харлеме, пожить беспечным джентльменом и бонвиваном. Не меньшую выгоду представляет вынужденный гетто нью-йоркских негров и для домовладельцев, которые сплошь принадлежат к белой расе. Квартирная плата в Харлеме почти на 100 проц. выше, чем в восточном районе города, где живут в добровольном изгнании польские и русские евреи, чехи и китайцы.

К белой же расе принадлежат и торговцы Харлема. Но они обслуживают свою черную клиентуру исключительно черными же приказчиками. Сами же ограничиваются только получением денег. Своих квартир они здесь не имеют. Из всех народов белой расы в Харлеме решаются жить одни итальянцы. Это большей частью чистильщики сапог или торговцы фруктами. Публику они обслуживают собственноручно.

Рядом со скалками, корытами и утюгами проводит здесь свои ночи и китаец. Он не считает соседство черных дьяволов унизительнее соседства белых дьяволов, тем более, что и те и другие презирают его как желтого дьявола.

Днем спуют негры по всему обширному Нью-Йорку, но после окончания работ они опять должны возвратиться в свой Харлем. Даже домашняя

прислуга не ночует в квартире, где она служит. До позднего вечера она присматривает за белыми ребятишками и заботится о желудке своих господ. Ее нанимают не только потому, что белая прислуга становится все дороже: честности и чистоплотности негритянки отдают должное даже самые требовательные хозяйки; к тому же белая прислуга может отбить у барыни ее супруга или любовника, чего никогда не случится с прислугой черной, т. к. ни один уважающий себя белый джентльмен не унижится до пашен с негритянкой. Все это так; но оставить ее на ночь в своей собственной квартире — это было бы уже слишком, это недопустимо, невозможно.

Ведь они только правнуки, только четвертое поколение того корабельного груза, который под именем «черной слоновой кости» перевозился из Африки на плантации Южных Штатов, только пятое поколение тех рабов, которые лежали друг над другом в тайниках океанских судов. Одна половина запрещенного груза умирала еще в пути, а другая лежала под и над гниющими трупами. Море смердело трупным запахом, по которому за пять миль можно было обнаружить корабль с живым контрабандным товаром.

С тех пор они рабы. Даже американские пролетарии белой расы до самого последнего времени не признавали их рабочими. Первые стали принимать в свои организации негров коммунисты. Тогда, опасаясь коммунистической конкуренции, сочли за благо последовать их примеру и желтые профсоюзы.

Но классовое сознание среди негров покуда почти отсутствует, как отсутствует среди них и должное расовое самосознание. Правда, в киосках продаются газеты, обслуживающие их интересы. Назовем хотя бы «Opportunity», орган, посвященный вопросам культуры и политики, литературную газету «Harlem» и «The Afro-American», которая выпускается в большом тираже и проникнута весьма неопределенным, но красноречивым негритянским пафосом. Здесь же вы увидите и еженедельник «The Negro-World», ратую-

щий за черный сион и призывающий всех чернокожих возвратиться в родную Африку, чтобы там вновь воздвигнуть разрушенное европейцами священное негритянское царство. Все это, по видимому, только утопические бредни.

Громкоговорители на главных улицах Харлема призывают куда громче и понятней к более близким целям. Они дружески советуют взяться за музыкальные инструменты и ноты, они твердят о новых радиопередачах и граммофонных пластинках. Как настроенно прислушиваются к их вещанию бедные портовые грузчики, мальчики на побегушках, судомойки и няньки, одетые в ливреи железнодорожные носильщики и швейцары, работающие на лифтах жилых небоскребов или высоченных торговых домов нью-йоркского Сити.

Да, это так: по представлению негров, только музыкальная карьера может им доставить почет и богатство и приобщить к тому баснословному миру, где поет Роланд Гай, где играет великолепный негритянский оркестр, где танцует Эда Верд и Жозефина Беккер, где в прославленных джаз-бандах Лондона и Парижа играют на экзотических инструментах и отбивают ритмы чарльстона их преуспевшие одноплеменники.

Этим объясняется, почему в Харлеме такое огромное количество музыкальных лавок. Но сколько музыкальных лавок, столько же здесь и ломбардов. В других районах Нью-Йорка ломбарды сообщают о своем существовании тремя стыдливими золотыми шариками, но здесь повсюду красуются откровенные надписи — «Pawn Broker». Ломбарды открыты даже ночью. За прокат ффрака платят в Нью-Йорке по доллару за вечер, но в ломбарде всегда можно купить отличный, почти еще ношенный смокинг за какие-нибудь 4 доллара.

За сколько же центов он был заложен? И даже такую ничтожную сумму денег не сумел раздобыть его хозяин для выкупа своего кровного имущества. А в какую нужду впали, по видимому, те негры, что принесли сюда

свои самсофоны и гавайские гитары, с помощью которых они надеялись навсегда расстаться с Харлемом и торжественно вступить во врата негритянского рая.

VIII. В каждом выдвижном ящике по трупу

«Mortuary» (открытый морг Нью-Йорка) выстроен у самой гавани не случайно. Зато едва ли не простая случайность, что в нескольких шагах от него расположен музей всевозможных предохранительных снаряжений и принадлежностей.

В этом музее выставлены: электрические лампочки шахтеров и газовые маски, непроницаемые и для самых едких химических веществ; сетчатые чехлы, в которые заключаются передаточные ремни, автоматические шлагбаумы и семафоры; предохранительные стекла, противоядия и проч.

А рядом, в открытом морге, выставлены трупы людей, которым не удалось воспользоваться всеми этими мерами предосторожности. Они доставлены сюда с улиц или из морской пучины; иные непосредственно с места катастрофы, другие — предварительно побывав в одном из городских госпиталей Нью-Йорка.

Морг представляет собою великолепную холодильню, заставленную большими шкафами с несчастливым количеством выдвижных ящиков. Они легко выдвигаются; и вот перед тобой вырисовывается облик одного из героев газетной хроники: уголовной или же регистрирующей несчастные случаи и самоубийства. Ты можешь ему заглянуть в глаза, но они ничего не ответят на твой вопрошающий взор. Они стеклянны и неподвижны.

Мы выдвигаем несколько таких ящиков, на которых означены имена, знакомые нам по последним газетам. Вот контрабандист, торговавший спиртными напитками, — Зигмунд Вейс, еще только третьего дня он был направлен из дома предварительного заключения в помещение уголовного суда. По дороге он остановился зашнуровать свой ботинок и при этом нечаянно выронил

из кармана заряженный револьвер. «Преступник, — как гласило официальное сообщение вечерних газет, — всеми силами старался помешать стражнику поднять оброненное оружие. Это принудило последнего воспользоваться собственным оружием и пристрелить злоумышленника». И вот он лежит, этот преступник, худенький юноша с русыми волосами и 8-ю кровавыми ранами в груди.

Насколько в Америке не страшатся такой «необходимой самозащиты», видно хотя бы по следующему выдвинутому ящику. Покоящийся в нем человек знаком нам по тем же газетным отчетам, хотя его имя и осталось неизвестным. Несколько дней тому назад он вошел в один из крупных магазинов Нью-Йорка с поднятым револьвером, крикнул обычное разбойничье «руки вверх» и очистил всю кассу торгового предприятия. После этого за ним стали следить детективы, и вот три дня тому назад пристрелили его в филиалах Большого пассажира. К своему глубокому прискорбию детектив на сей раз никак не смог сочинить чудесной сказки о своем геройстве и яростном вооруженном сопротивлении преступника: оружие последнего оказалось невинной стеклянной подделкой. На лице мертвеца, (30-летнем мужчине славянского типа) застыла загадочная улыбка. Чему он улыбался? Может быть, тому, что ему удалось одурачить целое учреждение и обогатиться большим денежным кушем... А за прилавком уже поджидала его смерть: там сидел его убийца; он не улыбался, он дрожал от волнения и страха, он спустил курок... и вот в тело преступника уже глубоко засели 4 маленьких пули.

Очевидно уже первая была смертельной на его лице застыла улыбка.

Большинство обитателей узких ящиков морга — жертвы автомобильного движения. Среди них много детей. Портовых грузчиков можно опознать по черепам, проломленным тяжестью свалившегося груза или внезапно сорвавшегося под'емного крюка. Их путь от места катастрофы до морга был краток: гавань отсюда всего в 2-х минутах ходьбы. Рядом с ними вы можете

обнаружить разбухших утопленников с почерневшими лицами и позеленевшими телами. Что это, жертвы Гудзона? Нет, это жертвы Мэнгэтена, жертвы кровавого преступления.

В этот морг каждый год попадают 16.000 нью-йоркских граждан. В Герд-Исланде два раза в неделю хоронят не менее 50 мертвецов. Для меньшего количества здесь не стали бы рыть могилы. И это, не считая покойников, которых хоронят их родственники.

Рядом с моргом имеется часовня, но она мало чем напоминает другие церкви и часовни Нью-Йорка. В ней вы не обнаружите пышных даров Моргана или Вандербильда. Они обставлены скупой и бедно. Скамейки недорогого дерева стоят в 4 ряда перед нишей, лишенной обычных изображений апостолов и великомучеников. В ней находятся только 6 восковых свечей и небольшое распятие, купленное на 5-центовом базаре в Вельфорте. Правда в Вельфорте встречаются и 10-центовые предметы. Но это распятие стоит не более 5. Ну и что же из этого? Лишь бы тело умершего было как следует набальзамировано: в Нью-Йорке всех усопших бальзамируют (мы не говорим, разумеется, о массовых похоронах).

Вы не помешаете человеку, который здесь занимается этим делом, если станете наблюдать за его работой. Ему мешает рука покойника. Поэтому он положил ее себе вокруг бедра. Это напоминает группу из паноптикума, изображающую больного, который обнимает склонившегося над ним врача. Вместо подушки пододвигает маэстро Бальзамо под его голову скляночку с каким-то химическим раствором. Потом он снова извлекает ее и кладет под голову другую склянку, в которой сейчас не нуждается.

В соседней комнате чернокожие гробовщики сколачивают из необтесанных досок большие и малые гробы. На них потом прикрепляется дощечка с именем почившего и указанием места, откуда он был сюда доставлен. Часто вместо имени проставляется только краткое «Man» (мужчина) или «Woman» (женщина).

В имеющихся тут же анатомических залах вы можете увидеть, как студенты и врачи работают над трупами людей, в которых еще вчера (когда они были в живых) никто не нуждался, которые и сами ни во что не ставили свою жизнь, которых томили в темнице и наталкивали на самоубийство,—теперь им сыскалось достойное применение в качестве подсобного материала для изучения великой науки.

IX. У безбилетников Великого океана.— Привет вам, ребята.

Вы проводили меня тоекратным громким «ура» и — поверьте — я очень горжусь этим.

О, я отлично знаю, что это чествование — ваш исконный обычай, что оно вносит оживление в вашу затворническую жизнь, являясь желанным поводом к веселому многоголосому реву,—я знаю, ваше «ура» само по себе иронично. К тому же мне известно, что вы таким же «ура» провожаете и старого малайца, который здесь прочищает вашу уборную, и что вы стараетесь прокричать ему это приветствие так оглушительно громко, что бедный старик в испуге роняет ведро и дрожит всем своим старческим телом (несмотря на то, что он и сам прибыл в Америку тем же оригинальным способом, как и вы, и за 28 лет мог бы вполне привыкнуть к вашим обычаям). О, я отлично знаю, что именно по этой причине запрещено посещать ваше отделение и неизменным депутациям дамских благотворительных обществ, которые с таким жестоким любопытством разглядывают нужду и несчастье сквозь высокомерные стекла своих дамских лорнетов. Правда, вы выражаете им свое обожание не только обычным «ура». Вы сопровождаете этот выкрик гулкими ударами по отопительным батареям, вы строите гримасы, жестикулируете руками и приходите в такое буйство, что пузатые сердобольные дамы и их востроносые дочурки тут же впадают в истерику и в слезах и судорогах покидают «этих страшных людей».

Привет вам, ребята, чье отделение

«носит пазванне stownways, bordjumpers and steamship-deserters» — вы самые замечательные парни страны, в которую вас не пускают. Вы те, которые без денег и пароходного билета, без паспорта и аттестатов отправились в Америку, прокравшись на пароход и спрятавшись там в товарном отделении. Когда вас обнаруживали, вы стремились избежать на палубу, прыгали через борт и плыли к желанному берегу... И сколько из вас не достигало его! Но ведь были же и счастливыцы, которым удавалось прокрасться ночью мимо палубной стражи на спящую пристань американского города!

Вас называют «слепыми пассажирами», но ваша мнимая слепота — не слепота симулянта. Вы не имеете ничего общего с забирающимися в цепелины экстравагантными бездельниками, которые не хотят быть увиденными только для того, чтобы потом быть замеченными всеми. Не жажда прославиться руководит вами, хотя вы и достойны большего прославления, чем все эти международные хвастунишки. Вы настоящие искатели приключений, вы братья молодого похитителя устриц Джека Лондона, вы готовы на деле показать, как захватили вас книги Карла Майо, вы...

О, я отлично знаю!.. я ведь со всеми вами переговорил о многом важном и для вас и для меня... Я знаю, что многих из вас просто задержали на границе как неимеющих вида на жительство или визы на въезд в Америку. Вы отправились в Канаду (которая по-прежнему является английской колонией), попытались перейти американскую границу и... оказались в руках пограничной стражи...

Не указывает ли уже и это на вашу смелость и предприимчивость. Пуститься в путешествие с сотней долларов в кармане, навеки порвать со своей родиной, не будучи даже уверенным в том, что Америка вас примет в свои пределы,—о, я знаю, что это значит.

А китайцы. Они-то уж во всяком случае прибыли сюда не ради приключений. Это видно по их лицам: вот они сидят — эти 18-летние юноши с большими раскосыми глазами и женствен-

ными движениями за своим столом (у негров тоже свой отдельный стол) и вяжут пестрые кофты. Вполне возможно, что они прибыли сюда, чтобы избежать казни, которая, как известно, грозит тысячам приверженцев Сун-Ят-сена. Возможно также, что им просто захотелось навестить своих родственников и друзей из китайских кварталов Нью-Йорка и Сан-Франциско. Как они могли перебраться в Америку, если не в качестве истопника, всегда готового к побегу, или спрятанными под тюками с углем, в чем им могли посодействовать их земляки — китайские матросы, столь часто встречающиеся на американских кораблях.

Но здесь немало и европейцев. Это парни, бежавшие из немецких школ, французских казарм, итальянских тюрем и с английских фабрик. Всем им теперь предстоит вернуться на родину. Все ухищрения, вся смелость, все горести путешествия пропали даром. Три парня мне рассказали, что их обнаружили только потому, что они спасли пароход от верной гибели. Среди корабельного груза находились ковры, под которые они и забились, запасшись 6 хлебами. Как-то ночью, когда пароход миновал уже Ньюфаундленский остров, прогорела батарея, проходящая через товарное отделение; ковры сразу загорелись, и наши безбилетники с криком «огонь, огонь!» бросились на палубу и подняли весь экипаж. Пожар был потушен, а спасители без дальнейших разговоров сданы ближайшей береговой страже. «Следующий раз мы лучше сгорим, но не выйдем из убежища» — сказали они с горьким оптимизмом.

Но что, если вы не только пожелаете, но и должны будете сгореть. Ведь товарные отделения с дорогой поклажей обычно запирают. Если тогда вспыхнет пожар, то можно кричать сколько угодно, и никто вас не услышит в этом огромном пароходе с пыхтящими машинами. Ведь не прошло и полугодика как в нью-йоркский порт прибыл из Южной Америки британский пароход «Steelking», в котором было обнаружено 15 трупов с искаженными лицами и со следами ужасных

предсмертных мучений. Это были безбилетники, затушившие пожар, вспыхнувший было в таком же товарном отделении. Они задушили пламя, но побежденная стихия им отомстила. И они, в свою очередь, были задушены густыми клубами дыма.

— Ну, вот еще, — постарались меня успокоить мои собеседники, — мы уже отыщем себе местечко понадежнее.

Быть может, вы и правы, но куда вы находитесь там, где вы меньше всего хотели бы находиться, — вы находитесь в безопасности.

Куда вы в положении, в котором меньше всего хотели оказаться, а именно, под зорким наблюдением. Куда вам не достает только двух вещей, во имя которых вы совершили свой путь, полный дьявольских усилий, опасности и лишений, — свободы и Америки.

Что и говорить. Это очень скверно, и вы это чувствуете. Правда, вы не плачете. Элдис Айленд является «Островом Слез» не для вас, а для тех, которые у себя на родине продали дом и все свое имущество, заранее условились о получении твердого заработка, с трудом перебрались сюда и теперь, сидя в бараках, днями и ночами ждут решающего ответа: откроются ли перед ними двери, ведущие на паром, или же они будут отброшены назад на покинутые ими пепелища суевой родины.

Но не этот страх перед неизвестностью причиной тому, что бараки Эллис-Айленда не так переполнены переселенцами, как в довоенное время (особенно за период 1907—1914 гг.), когда население Острова достигало миллиона жителей. Теперь в районах, куда всего чаще прибывают переселенцы, работают врачи-консультанты и инспектора, в обязанность которых вменено обследование и определение физического и нравственного состояния вновь прибывших.

Но и теперь постоянно видишь, как с больших пароходов причаливают лодки к пристани Острова. Из них выходят пассажиры, с тревожными лицами и грубо «олаженными» ящиками и корзинами.

— Кто они такие? — спросил я одного из служащих.

— Ах, это все больше женщины-одиночки, которых не встретили на пристани их родственники или семьи, не имеющие требуемых бумаг. А у них просто кто-нибудь захворал дорогой.

— Но все они пассажиры третьего класса, — заметил его коллега, стараясь меня успокоить относительно судьбы богатых и солидных путешественников.

— Да, только пассажиры третьего класса, — подтвердили и остальные.

— Неужели никогда не попадают сюда и другие? — допытываюсь я.

— Никогда, правда, никогда. Исключая тот случай, когда... (Ага, вот оно исключение!) когда на кого-нибудь поступит особый донос, в случае какого-нибудь преступления, например... Тогда мы действительно обязаны задержать его, кем бы он ни был... Однажды здесь была задержана даже графиня, бежавшая со своим любовником в Америку.

— Но это, конечно, совершенно исключительный случай, — опять успокоил меня его коллега.

— Совершенно исключительный случай, — вторили остальные.

Несчастных людей отводят по баракам. Там подвергают их всевозможным испытаниям. Прежде всего им вручают книгу с выдержками из библейских текстов на всех языках мира, чтобы установить их грамотность. Все эти тексты (из апокалипсиса и псалмов) написаны на давно устаревшем языке первых переводов святого писания. Так, вместо русского или сербского языка употребляется церковнославянский. Поэтому совершенно исключено, чтобы крестьянин или мелкий ремесленник и рабочий что-либо смогли прочесть из этой книги, тем более в состоянии сильного волнения и беспомощности за свою дальнейшую судьбу.

Но ведь это Библия! А она имеет на Острове Слез (как и во всей Америке) огромное значение. Нью-йоркское библейское общество зорко следит за тем, чтобы ни один безбожник не вступил на территорию благочестивой, отрекшейся от всего мирского Америки.

Огромная зала для ожидания напо-

минает церковь, столь обильно представлены в ней атрибуты христианского богослужения: те же скамьи, орган, алтарь и каменные плиты. То, что в одном из углов находятся кровати для поворожденных, никоим образом не нарушает общего впечатления, так как в Соединенных Штатах встречаются церкви с залами для спорта и площадками для фехтования. Более того, при них имеются подчас и помещения для танцев.

Рядом с залой расположена меняльная лавка. И говорят, что кассиры при обмене европейской и азиатской валюты себя никогда не обесчечивают и уж во всяком случае не передадут лишнего цента бедному переселенцу.

Доллар и библия. И рядом национальный флаг, представленный здесь вдвойне. Два огромных флага свисают с галереи залы для ожидания. Что они хотят сказать этим подозрительным заграничным людям? Высмеивают ли они их или вселяют в них надежду?

В стороне от переселенцев и безбилетных пассажиров размещены те, которые уже не имеют никаких надежд. Это всевозможные преступники, отправляемые по отбытии наказания в ту страну, откуда они прибыли в Америку. Она не обязательно должна быть их родиной. Со своей судьбой они уже давно свыклись. К тому же она была им ясна уже и тогда, когда они совершали преступление. Приговор только подтвердил их тревожные предположения. Они покидают Америку, достаточно изучив все «хорошие стороны» этого континента, познакомившись со всеми его судами, адвокатами и тюрьмами.

Но вы еще не лишены иллюзий, вы еще не знаете Америки и потому с тем большим основанием возлагаете на нее свои лучшие надежды.

На этот раз вы должны вернуться на родину, несмотря на то, что так близко от вас расположена нью-йоркская статуя Свободы. Матовые стекла ваших камер загорожены крепкой решеткой. И если какому-нибудь смельчаку и удастся вырваться из тюремного плена, и броситься в воды, его все равно поймает зоркая стража Эллис-Айленда.

А жалко. Я охотнее бы видел в Мэн-гэтене вас, чем всех этих старых и новых янки, гуляющих в районе Вель-стрита и на 5-й Аvenues. Вы замечательные парни, вы, пассажиры, которых здесь называют слепыми, потому что вы хотите видеть весь мир, вы, безбилетные мореходы семи морей, вы, граждане пяти стран света и двенадцати столичных городов, вы — свободны даже и в заключении.

Я посылаю вам в ответ на ваше трехкратное «ура» мой сердечный привет и пожелание скорого и благополучного возвращения.

Х. Нью-йоркская почта

Нью-йоркский почтмейстер, маленький полный человек (переслать которого по почте обошлось бы далеко не дешево), любезно вручает нам разрешение на осмотр почтамта.

— Прежде всего я хочу вас ознакомить с размерами нашей работы — склонны ли вы меня выслушать?

— О, разумеется.

И маленький почтмейстер немедленно же пропел небольшую песенку на следующие, приблизительно, слова:

У нас 80 тысяч служащих.

Мы принимаем, доставляем на дом и пересылаем ежедневно 16 миллионов простых почтовых писем.

Мы принимаем, доставляем на дом и пересылаем ежедневно 156.000 заказных писем.

Мы принимаем и выдаем ежедневно 75.000 застрахованных пакетов.

Мы взвешиваем и отсылаем ежедневно 600.000 фнт. газет и журналов.

Мы находим ежедневно около 100 долларов, вложенных в незаказные письма.

Мы каждый год выручаем 30.000 долларов от распродажи недоставленных посылок.

Ежедневно к нам поступают 2.100 заявлений о перемене адреса.

Мы ежедневно получаем 80.000 посылок без указания улицы.

Мы ежедневно исправляем по адресной книге 350.000 перевернутых адресов.

Мы выручаем за день 252.000 долларов от продажи почтовых марок.

Мы ежегодно выплачиваем по почто-

вым переводам сумму в 165 миллионов.

У нас зарегистрировано 92.000 вкладчиков почтовой сберегательной кассы.

С 30 июня 1927 г. по 30 июня 1928 г. мы выручили 77.165.071 доллар, превысив прошлогодний доход в 74.443.632 доллара на три с лишним миллиона.

Этим эффектным пассажем нью-йоркский почтмейстер закончил свою песенку в честь великого города и пообещал дать нам в проводники «блестящего почтового специалиста».

Но самым блестящим почтовым специалистом является несомненно сам почтмейстер. Так, по крайней мере, уверял молодой человек, проводивший нас в кабинет своего начальника. И уже несомненно почтмейстер не только блестящий специалист, но и достойный член республиканской партии. Если президентом Соединенных Штатов оказался бы демократ Смит, то уже несомненно и самому блестящему почтовому специалисту пришлось бы уступить свое место еще более блестящему почтовику-демократу.

(Благосклонный читатель несомненно простит меня за частое употребление слова «несомненно». Дело в том, что это слово должно хотя бы однажды встретиться в каждой истинно американской фразе; в противном случае она считается несомненно незаконченной).

В то время как мы погрузились в философские размышления о бренности всех земных сил (в пределах нью-йоркского почтового округа), к нам подошел «один из самых блестящих почтовых специалистов», взявшийся нас сопровождать и, следовательно, достойный удвоенного внимания.

У него настолько американский вид, что кажется, будто его предок прибыл в Америку еще лет триста тому назад и вел здесь торговлю с индейцами из племени Махаук. В то же время он мне очень напомнил одного адвоката моего родного города. Это вовсе неудивительно, т. к. пассажиры порусского судна «Нью-Нессерленд», как известно, оставляли в Европе братьев и сестер.

Мистер Киш. Мистер Маутнер, — представил нас почтмейстер, после чего

мы видели себя вынужденными проникнуться обоюдным интересом к состоянию нашего здоровья.

— You have a brother in Prague, a lawyer, have you not?

— Sure, доктор Рихард Маутнер, — ответил он, и наш осмотр начался с установления того факта, что как он, так и я служили добровольцами в одном из том же II императорско-королевском пехотном полку (он, разумеется, несколько раньше меня, т. е. только по достижении достаточно зрелого возраста можно прослужить «за блестящего почтового специалиста». Америка в этом смысле не представляет исключения. Все рассказы о том, что в этой стране рождаются люди уже готовыми старшими директорами, что мальчики становятся здесь председателями Акционерных о-в, а юноши членами парламентского Спьюренконвента — не более, как измышление бойких журналистов.

Мы проходим по залам почтамта, который снаружи кажется мраморным греческим храмом, но внутри напоминает скорее неприглядную фабрику. Мы проходим мимо чиновников, служащих и рабочих белой расы; все они что-то ищут, отыскивают, скрепляют и отбрасывают. Среди технического персонала почтамта можно встретить также немало негров; и уже между ними и мистером Маутнером никак нельзя предположить ни родственных связей, ни общих воспоминаний о военной службе.

Над головами служащих движутся в плетеных из проволоки трубах всевозможные посылки. Перед ними размещены железные движущиеся столы, а под их ногами, глубоко под землей, проносятся подземные поезда.

Rate-up-table — это стальной стол, вокруг которого стоят 10 человек и быстро, в 20 рук, распределяют почту, тут же высасывающую из трубы. Они направляют письма в больших конвертах по одним, а письма в маленьких конвертах и открытки по другим бесшумно упояющимся рельсам. Эти рельсы ведут к двум мощным аппаратам, которые в течение часа проставляют печати на 30.000 марок, запечатлевая на них громкое имя Нью-Йорка с указанием

года, дня и часа. Не более 30.000 марок в час, следовательно, только 720 тыс. в день. Но ведь вы наверное еще помните первый куплет из песенки почтмейстера: «Мы принимаем и доставляем на дом ежедневно 16.000 простых почтовых писем»... Совершенно правильно, но одна машина такого количества пропустить не в состоянии. Поэтому здесь же рядом и в смежных залах имеются еще 18 аппаратов, расставленных вокруг 9 rate-up-table, за которыми с бешеной проворностью работают 10 служащих.

В отделе, где отправляются заказные письма, работа протекает более спокойно. Но здесь вас могут испугать торчащие из карманов всех служащих этого отделения револьверы устрашающей величины, напоминающие скорее небольшие пулеметы. И действительно, в этом зале много стреляют. Но стреляют не пулями, а гранатами, настоящими гранатами 32-сантиметрового калибра. Но успокойтесь, эти гранаты начинены не взрывчатыми веществами, а едким почтой. Они идут по пневматическим трубам, пересекающим весь Нью-Йорк. В 300 почтовых отделениях города ежесекундно спускаются 16 таких гранат, при виде которых с грустной нежностью вспоминаешь об идиллических трубочках, которыми пользуется наша отечественная пневматическая почта.

Помещения, откуда идут и куда поступают со всех концов города эти снаряды, обслуживаются главным образом чернокожими. Они пропитаны маслом и потом, и Ленау в свое время навряд ли восмел бы их в лирическом стихотворении. Рядом с ними работают подвижные молодые люди. Они не трудятся над этими тяжелыми снарядами. Замасленные трубы уже отвернуты, и содержимое высыпано. Их дело — распределять поступающую почту. С уверенностью опытных круше из Монте-Карло швыряют они одно письмо в Филадельфию, другое в Европу, Чикаго, Сан-Франциско или, вернее, в мешочки с названиями соответствующих городов. Письма проносятся по воздуху, как шуршащие бумажные змеи.

Глубоко внизу, под почтой, проходит 35-колейная железная дорога. Здесь никто не флагирует, здесь не ездят пассажиры, которые боятся себе сломать ногу или проломить череп. Здесь никто никого не встречает и не провожает. По этой же причине и скала, через которую проложена железная дорога, ничем не замаскирована.

Почтовые поезда быстро проносятся через ущелья, и вот открывается панорама, чем-то похожая на Доломитскую дорогу или, чтобы привести пример более знакомого ландшафта, на аллею гротов в Венском праторе.

Капцельирские залы отличаются от других помещений только размерами. Зато помещение, где идет разборка всевозможных жалоб и восстанавливаются перевранные адреса, напоминает свои строгим видом два наиболее важных учреждения САСШ: Общественный комитет экспортно-импортных контор и Бюро эмигрантов.

Провинция выписывает стандартизированную одежду, мебель, кухонную посуду и книги из соответствующих промышленных центров. Все это большей частью идет через Нью-Йорк и подлежит ведению его почтамта. Однако, с той же быстротой, с какой выполняются заказы, изменяются и условия жизни малых мира сего. Возможно, что они уже успели переменить местожительство, потерять службу или проиграть на бирже свои последние доллары. Во всех этих случаях почта должна делать свое дело: заменить старый адрес новым, вернуть посылку отправителю и пр. В отделении возвращенной почты так желюдно, как в отделе отправлений.

Для расшифровки некоторых адресов необходимо обладать зоркостью Шерлока-Холмса. Особенно неразборчивы безграмотные надписи на посылках, поступающих из Италии, Польши, Чехо-Словакии. На письмах очень часто не проставляется даже требующийся город. Но на почте имеются списки всех американских городов. Если адрес гласит «Вашингтонстрит 6.404», то уже знают, что такое название улицы при столь высокой нумерации домов может

встретиться только в Чикаго, Филадельфии или Сан-Франциско. Кроме того, служащие знают наименования иностранных кварталов почти на всех языках мира и не смущаются сербской или болгарской транскрипцией. Даже письма без адреса попадают, в конце концов, по своему назначению. Посылки, которые так и не находят своего хозяина, вскрываются, сортируются и складываются в отдельные пакки: старые мужские костюмы, поношенные женские платья, посуда и башмаки. В понедельник вещи выставляются для осмотра, во вторник распродаются в тесной аукционной зале, а в среду забираются новыми владельцами. Сегодня среда, и мы видим оптовых торговцев рухлядью, закупающих здесь товары на общую стоимость в 600 долларов. Напрасно уверяют наших коллег-журналистов, будто бы подержанные товары не имеют в Америке никакого сбыта. Ах, если бы вы видели, чем только не торгуют в восточных кварталах Нью-Йорка! Такую рухлядь можно встретить только на рынках Алжира.

«Мертвые письма», такие, которым никак не удалось сыскать хозяина, предаются сожжению. Но перед этим они подвергаются тщательному просмотру; может быть, в них все-таки найдется какой-нибудь доллар. Они вскрываются секционными машинами и над распоротыми телами бумажных трупов склоняются внимательные анатомы. Каждый из приставленных к этому делу чиновников просматривает за день 3.200 бесхозяйственных писем. В случае, если обнаруживается банкнотный билет или денежный перевод, то письмо сохраняется еще в течение года. Если же и за этот срок не заявится владелец, деньги переходят в собственность государства, а письмо предается кремации.

Словом, клиенту оказывают достаточные услуги за 2 цента, уплаченных за почтовую марку. И мы не можем не выразить мистеру Маутперу наше преклонение перед такими подвигами его нового отечества.

Перевод с рукописи

Вильяма-Вильмона.

(Продолжение следует)

2. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Г а л ь п е р и н

В поисках заказов. — Десятипенсовые программы. — Испытание английских независимцев. — Классическая сессия. — Ремонтный тупик.

В поисках заказов

«Совершенно ясно, что британское правительство должно будет рано или поздно удовлетворить требование о возобновлении дипломатических отношений с Россией. Разрыв не был обдуманным актом внешней политики — он явился случайным следствием налета Джойнсона Хикса на Аркос. Вздорность утверждения Черчилля, будто английская промышленность не пострадает от разрыва, опровергнута фактами: британский экспорт в Россию сократился на две трети. Несмотря на усилия мистера Бутби, эта брешь еще не заполнена. Правительство, разумеется, не может изменить свою политику, ибо это значило бы признать, что оно совершило ошибку. По всей вероятности, избиратели разрешат эту проблему в следующем месяце, оставив у власти новое правительство. Дипломатические отношения будут тогда восстановлены, и обычная торговля с Россией будет развиваться, хотя мы и относимся скептически к тем размерам ее, которые нарисовал Пятаков. Будут даны всяческие льготы промышленникам, торгующим с Россией, но мы надеемся, что даже Рабочая Партия не возобновит предложения о предоставлении британским правительством займа Советам».

Так отозвался на речь тов. Пятакова, обращенную к английской промышленной делегации, английский либеральный еженедельник «Nation» в номере от 13 апреля. Эта цитата характерна для настроения почти всей английской либеральной печати. Полностью поддерживает требование о возобновлении дипломатических отношений с СССР, как само собою разумеющееся условие для оживления английского экспорта в СССР, и либеральная газета «Manchester Guardian». Но точно

так же, как и «Nation», она высказывается против нового внесения на рассмотрение английского парламента отвергнутого в 1924 г. палатой договора о предоставлении СССР займа, гарантированного британским правительством

Нельзя сказать, чтобы «Manchester Guardian» выставила сколько-нибудь убедительные доводы против предоставления нам гарантированных английским правительством кредитов: по ее мнению, кредиты — это дело банков, а займы, который дает одно правительство другому, вносят лишь политические осложнения. Если принять во внимание, что гарантированные правительством кредиты были предоставлены СССР уже в целом ряде стран, притом повсюду с благоприятными для этих стран результатами, то утверждение английской либеральной газеты представляется совершенно голословным. Но мы приводим его не для полемики, а лишь для того, чтобы показать, что английские либералы, в последнее время старающиеся щегольнуть широтой своей экономической политики, в вопросе о кредитах СССР, имеющем огромное значение для проникновения английской промышленности на советский рынок, остались на своей старой точке зрения.

Как известно, довольно близко к точке зрения либералов было и заявление, сделанное делегацией тов. Пятакову после ознакомления ее с действительными перспективами английского экспорта в СССР: уклончиво ответив по вопросу о кредитах, они полностью присоединились к мысли о необходимости возобновления дипломатических отношений с СССР.

Нам приходилось уже указывать в наших прошлых обзорах, что мысль

эта пользуется в настоящее время признанием самых широких кругов английской буржуазии — о рабочих говорить не приходится: они никогда не были сторонниками политики разрыва. Заявление английской промышленной делегации лишь поставило в этом отношении все точки над i.

С тем большим озлоблением говорит о делегации консервативная печать. Для нее вся поездка английских промышленников в Москву не что иное, как направленный против консерваторов предвыборный маневр. «И те обстоятельства, при которых делегация образовалась, и деятельность некоторых ее организаторов делают неизбежным подозрение, что поездка ее в СССР не случайно совпала с кануном выборов» — так пишет «Times» от 8 апреля. Не будучи в состоянии опровергнуть ни факта падения английского экспорта в СССР после разрыва, ни совершенно ясного для всякого промышленника соображения о тесной зависимости между политическими и экономическими взаимоотношениями СССР и Англии, «Times» в бессильной злобе заявляет, что «в Англии еще не забыта нота лорда Керзона, в которой он вскрывал враждебные Англии махинации Советов в Индии и других странах Азии».

Керзоновские ноты и «письмо Зиновьева» — вот тот довольно убогий багаж, с которым английские консерваторы могут выступить на выборах против обнаружившегося в промышленных кругах Англии — и даже в рядах консервативной партии — сдвига в пользу отказа от политики разрыва, самым губительным образом отозвавшегося на английской промышленности и к тому же не давшего и тех результатов, на которые рассчитывало правительство твердолобых: Чемберлену не удалось после разрыва ни создать прочного антисоветского блока, ни втянуть СССР в войну, ни даже окружить его кольцом кредитной блокады.

Снова по методу Керзона «Times» и его французский собрат «Temps» мечут громы и молнии против «советских происков» в Индии и пытаются поставить в связь с посвященным Индии воззванием Коминтерна те подо-

зрительного происхождения бомбы, которые были брошены в индийском национальном собрании в Дэли. А вместо «письма Зиновьева», Джонсон Хикс в спешном порядке фабрикует дело о «шпионаже» английских коммунистов в армии. Но подогретое блюдо, как известно, не вкусно, и надо думать, что вряд ли индийские бомбы и Джиксовский «заговор» будут пользоваться особым успехом у английских избирателей.

Деятиспенсовы программы

Иным блюдом решил угостить избирателей Ллойд-Джордж. Имея в руках наиболее крупный избирательный фонд, он с особой помпезностью проводит выборную кампанию либеральной партии. Его противники острят, что турне Ллойд-Джорджа — это своего рода бродячий цирк для провинциальных городков. Широковещательная афиша этого цирка гласит: «Либеральная партия уничтожит безработицу». А хозяин цирка обещает «почтеннейшей публике», что безработица будет уничтожена путем капитальных вложений в дорожное дело, жилищное строительство и некоторые виды общественных работ, при чем экономический эффект этих мероприятий плюс сокращение расходов на пособия безработным дадут возможность осуществить эти капитальные затраты без всякого увеличения прямых или косвенных налогов.

Надо отдать справедливость Ллойд-Джорджу: опытный демагог, некогда обещавший каждому участнику войны по собственному дому, и теперь сумел найти притягательные лозунги для выборной кампании либералов. Особого риска в этих обещаниях избирателям нет: либеральная партия не имеет шансов получить самостоятельное большинство в палате, — все ее политические расчеты построены на том, что самостоятельного большинства не получит и ни одна другая партия, и тогда либералы станут той группой, от которой будет зависеть существование как консервативного, так и «рабочего» правительства. Нет поэтому никакой опасности, что избиратели

когда-либо пред'явят щедро выдаваемые Ллойд-Джорджем векселя к оплате. А кого в самом деле не соблазнит перспектива изжить безработицу и в то же время — без увеличения налогового бремени — суметь найти в бюджете средства для расширения дорожного и жилищного строительства. Избирательные лозунги либералов несомненно обещают им рост голосов на выборах не только среди мелкой и средней буржуазии, но и среди остальных слоев рабочего класса.

Не мудрено, что среди конкурентов либеральной партии программа Ллойд-Джорджа вызвала сильное озлобление. Макстон, председатель исполкома Независимой Рабочей Партии, заявил, что обещания лидера либералов представляют собой «очевидную ложь»; Рамзей Макдональд сказал, что давать такого рода обещания, это значит — «говорить через шлягу» (т. е. бурчать нечто невнятное); Болдуин выразился не менее образно: «Ллойд-Джордж обещает дать 9 пенсов даром», намекая на то, что избирательная платформа либералов не может быть осуществлена без огромных затрат со стороны государства, затрат, которые падут своей тяжестью на налогоплательщиков.

Заявление Болдуина имело некоторый успех, но Ллойд-Джордж немедленно нашелся и в своей речи в Манчестере заявил, что, наоборот, программу консерваторов следует окрестить «9 пенсов даром» — в том смысле, что Болдуин тратит государственные средства, не получая ничего взамен. Расходы на пособия безработным достигают 75 миллионов фунтов стерлингов в год, при чем все эти деньги уходят зря: безработный попрежнему сидит без работы, не будучи в состоянии сколько-нибудь сносно жить на пособие, а его рабочая сила остается неиспользованной.

Стрела Ллойд-Джорджа по адресу консерваторов несомненно попала в цель. Деятельность консервативного министра финансов Черчилля была все время направлена на сокращение правительственных вложений в различные стороны народного хозяйства. Правительство неизменно урезывало ассигнования на жилищное и дорожное

строительство, на мелиоративные работы в сельском хозяйстве; правительство отказалось выдавать субсидию угольной промышленности и предпочло пойти на 7-месячную забастовку углекопов, забастовку, которая стоила миллиарды народному хозяйству Англии и не обеспечила шахтовладельцам, — несмотря на их победу, — возможности успешно конкурировать с другими государствами на мировом угольном рынке. Вся финансовая ловкость Черчилля была направлена на то, чтобы вернуть фунту паритет с долларом. Цель эта была достигнута, но она привела к снижению английского экспорта; а между тем, производственная мощность английской промышленности далеко превосходит емкость внутреннего рынка — не менее четверти валовой продукции английской промышленности всегда шло на экспорт. Не удивительно, что значительное большинство английских буржуазных экономистов считают финансовую политику консерваторов одной из лучших, тем более, что и сейчас Английский Банк лишь с некоторым напряжением поддерживает золотой курс фунта стерлингов.

Экономическая программа либералов несомненно лучше учитывает зависимость финансовой проблемы от общего поднятия производительных сил страны. В изданной либералами в прошлом году «Желтой Книге», содержащей в себе изложение экономической программы либеральной партии, имеется проект создания специального Комитета Национальных Вложений, который ведал бы делом бюджетных ассигнований на рационализацию промышленности, развитие железнодорожного дела и сельского хозяйства и т. д. С точки зрения буржуазного государства, эта программа несомненно представляется более приемлемой, чем «экономия» Черчилля, тормозящая развитие производительных сил страны и вызывающая значительный рост расходов пособия безработным.

Против экономической программы либералов Рабочая Партия могла бы выдвинуть те аргументы, которые вообще выдвигаются против капиталистической рационализации, все выго-

ды от которой достаются предпринимателям, а не рабочим. Но для этого нужно было бы, чтобы Рабочая Партия действительно была классовой партией пролетариата, в чем ее мог бы обвинить лишь злостный враг. Кстати сказать, консерваторы не прочь пройтись насчет «социализма» Рабочей Партии, рассчитывая отпугнуть этим от Рабочей Партии мелкобуржуазных избирателей, но особого успеха этот аргумент не имеет: «социализм» Макдональда давно уже перестал пугать буржуазию. Учитывая это настроение обывателей, либералы предпочитают обвинять Рабочую Партию в обратном: в том, что программа рабочей партии попросту украдена у либералов, что Макдональд не даст рабочему классу ни одной реформы, которая не содержалась бы уже в либеральной программе, с той лишь разницей, что у рабочей партии нет таких крупных экономистов и государственных деятелей, как у либералов, в силу чего последние сумеют лучше осуществить на деле общую обеим партиям программу реформ.

Рабочая партия предвидит, что на выборах конкуренция либералов довольно сильно даст себя чувствовать, в связи с чем органы рабочей партии ведут самую жестокую агитацию против Ллойд-Джорджа: его изображают обычно бессовестным обманщиком, который не стесняется в средствах и обещаниях, лишь бы снискать себе популярность среди избирателей.

Испытания английских независимцев

Но опасность грозит Рабочей Партии и с другой стороны — со стороны английской компартии, которая выставляет на выборах этого года 25 кандидатов, при чем демонстративно выставляет их именно в тех округах, где проходят лидеры Рабочей Партии. Гарри Поллит будет бороться против Макдональда, Ханнингтон — против Маргариты Бонфильд, Воган — против Клайна, Фергюсон — против Веджвуда Бенна и т. д. Само собой разумеется, что коммунисты не имеют никаких шансов пройти в округах Макдональда или Клайна, но вступление их в вы-

борную борьбу грозит отвлечь часть голосов от Рабочей Партии.

Дело, однако, не только в угрозе избирательным шансам лидеров Рабочей Партии: на общем исходе выборов выставление 25 коммунистических кандидатур (из 600 округов) отразится не может и — с точки зрения избирательной арифметики — самостоятельное выступление коммунистической партии не может повредить успехам Рабочей Партии. Но опасность лежит глубже — выступление компартии осложняет позицию Рабочей Партии. До сих пор Рабочая Партия могла свободно рассчитывать на полную поддержку рабочего класса, проводя на практике лишь лево-либеральную политику, что привлекало к ней симпатии и мелкой буржуазии. Теперь ее кандидаты должны маневрировать таким образом, чтобы, не отпугивая от себя буржуазных избирателей, в то же время показывать свой политический товар лицом пролетарской части избирателей, которые в противном случае начнут переключиваться в коммунистический лагерь.

Лидеры Рабочей Партии пытаются состроить довольную мину при трудной игре: по почину Макдональда, «Daily Herald», орган Рабочей Партии, заявляет, что он доволен тем, что коммунисты «сбросили маску» и открыто выступают против Рабочей Партии — это дает возможность и рабочей партии показать массе избирателей, что они не имеют ничего общего с кучкой «фанатиков» и «подонков населения» (в выражениях «Daily Herald» не стесняется), группирующихся вокруг компартии. На деле, однако, выставление коммунистических кандидатур в некоторых угольных районах Шотландии и Южного Уэльса создаст для Рабочей Партии немало хлопот. Для примера укажем хотя бы на Файфский округ в Шотландии, где Рабочая Партия выставляет Адамсона, против которого настроена вся местная организация горняков: в этом округе Адамсон, прежний депутат, имеет слабые шансы на успех и не исключена и возможность победы коммунистического кандидата Галлахера.

Самостоятельное выступление ком-

партии поставило во всю ширь перед английским пролетариатом вопрос о природе Рабочей Партии. «Три партии, — гласит коммунистическое избирательное воззвание, — консервативная, либеральная и рабочая — обращаются к вам во имя нации. Только одна партия — коммунистическая — обращается к вам от имени рабочего класса. Но ни одна партия не может служить «нации», пока нация разделена на два враждующие между собою класса. Выступать во имя нации — значит прикрывать этим свою поддержку угнетателей. Коммунистическая партия одна только выступает во имя рабочего класса, угнетаемого класса нации».

Этот язык непривычен для английских избирателей. Но он близок и понятен уму рабочего. Он не сразу найдет свой отклик, ибо даже левые слои английских рабочих еще не вполне отказались от надежд на приход рабочей партии к власти и боятся разбивки голосов на выборах. Но воззвание коммунистов, все же заставит рабочих призадуматься над вопросом, действительно ли является рабочей та партия, которая носит это имя. И если выборы приведут Рабочую Партию к власти, то ей придется столкнуться с тем фактом, что, по крайней мере, часть английских рабочих потребует от министерства Макдональда не только омер «во имя нации», но и подлинной охраны интересов рабочего класса.

И над этой опасностью уже задумываются более левые круги Рабочей Партии, группирующиеся вокруг Независимой Рабочей Партии, которая претендует на роль идейного руководителя того агglomerата политических групп, профессиональных союзов и отдельных лиц, который именуется Рабочей Партией. Коммунистическая опасность особенно волнует лидеров этой партии в Шотландии, где массы настроены сравнительно лево — великодержавная политика Макдональда не может не вызвать среди шотландских рабочих тяги к компартии, тем более, что и сейчас коммунистические борцы пользуются там значительной популярностью.

В этом отношении забавную картину представлял собой съезд Независимой

Рабочей Партии в Карлейле. Левая группа делегатов неожиданно для самой себя провела резолюцию о голосовании против всяких военных кредитов. Поскольку речь шла о консервативном правительстве, вопрос не вызывал особых затруднений — такого рода оппозиционный жест независимцы могли себе позволить, даже если бы Макдональд и считал его неэтичным. Но что, если у власти окажется Макдональд? Резолюция обязывала бы депутатов, принадлежавших к Независимой Рабочей Партии, отказать правительству Макдональда в кредитах на «оборону» империи, находящейся под его управлением. В среде конгрессистов поднялся переполох, и сам председатель партии Мэкстон, раньше щеголявший своей левизной, принялся уговаривать съезд одуматься: «Голосование пары десятков левых депутатов против военных кредитов, испрашиваемых рабочим правительством, было бы не мужеством, а глупостью» — заявил Мэкстон. В конце концов была принята резолюция, практически сводившая решение о голосовании против военных кредитов к нулю.

Орган Независимой Рабочей Партии «New Leader» (от 12 апреля) пускается в длинные рассуждения по поводу происшедшего на съезде конфуза. «New Leader» очень горд «левизной» своей партии, которая — в отличие от большинства Рабочей Партии — стоит за разоружение не только в случае принятия соответствующего соглашения между всеми державами, но и независимо от него. По мнению Независимой Рабочей Партии, Англия должна показать пример другим державам и приступить к разоружению независимо от того, будет ли заключено на этот предмет международное соглашение. Это заявление звучит очень гордо, но из него логически вытекает, что не только Англия должна была бы показать пример другим державам в деле разоружения независимо от международного соглашения, но и члены Независимой Рабочей Партии должны были бы показать пример всем другим рабочим депутатам, голосуя против военных кредитов при всяких условиях. Вывода этого, однако, съезд не-

зависимцев не сделал и припал, что Независимая Рабочая Партия, составляя часть Рабочей Партии, должна подчиниться решению большинства последней.

В итоге алтимплицитаристическая резолюция Независимой Рабочей Партии оказалась обыкновенным блефом, весьма характерным для этой партии, дважды предлагавшей объединение Коминтерна и Второго Интернационала. Оно целиком продиктовано стремлением и капитал приобрести и невинность соблюсти. Однако, сама эта тяга к левой маскировке характерна, как показатель того, что полевение рабочих масс Англии уже начинает ставить в затруднительное положение вождей Рабочей Партии. И эти затруднения особенно остро дадут себя чувствовать Рабочей Партии, если ей удастся осуществить свою заветную мечту и получить большинство в парламенте. Выбор между ставкой на «нацию» и ставкой на рабочий класс нельзя будет прикрывать словесными ухищрениями — английский пролетариат предъявит свой счет той партии, которая пытается наклеить рабочую этикетку на свою великодержавную политику.

Классическая сессия

С точки зрения международной обстановки и настроений рабочего класса очень характерно также, что Независимая Рабочая Партия хотела блеснуть левизной именно в вопросе о вооружениях. Почти одновременно с этим германские с.д. чуть было не сорвали усилия своего канцлера Германа Мюллера образовать коалиционный кабинет, отказавшись голосовать за вторую ассигновку на постройку броненосца. Правда, достаточно было окрика буржуазных партий, чтобы с.д. депутаты отказались от этого намерения, но их первоначальная попытка достаточно ярко свидетельствует о том давлении, которое испытывает германская социал-демократия со стороны рабочих масс, требующих решительного разрыва с политикой воинствующего империализма.

Учитывая это настроение масс, Вто-

рой Интернационал решил использовать открывшуюся 15 апреля в Женеве шестую сессию подготовительной комиссии Лиги Наций по созыву конференции по разоружению для того, чтобы поведать миру о своих антиимпериалистических тенденциях. Это выступление делегации Второго Интернационала было поистине достойным прологом той комедии, которую с невозмутимостью Чарли Чаплина готовилась разыграть в Женеве дипломатическая труппа артистов с режиссером Лоудоном во главе.

Сценическое задание, стоявшее перед этим составившим уже себе имя голландским режиссером, состояло в том, чтобы дать возможность артистам произнести ряд хорошо построенных монологов на тему о желательности покончить с ростом вооружений, а затем объявить, что продолжение пьесы состоится через полгода и предложить артистам и публике спокойно разойтись по домам. Пример «Вампуки», где артисты под веселый смех публики в течение четверти часа поют «бежим скорее», не двигаясь с места, обещал комедии под громким заглавием «Давайте разоружаться» шумный успех.

Разыгранный социалистами из Второго Интернационала пролог вполне гармонировал с общим замыслом пьесы. Маститый де-Брукер, некогда представлявший в Совете Лиги Наций бельгийское правительство, нарядился народным трибуном и, вынув из портфеля огромный пакет с петициями, пригласил режиссера — он же премьер труппы — торопиться с разоружением, ибо массы устали ждать. Музыка уже заиграла марш «бежим скорее», но де-Брукер невозмутимо прибавил: «Впрочем, мы понимаем трудности, стоящие на пути подготовительной работы к разоружению — наш Интернационал терпелив и осторожен». Публика весело переглянулась, а премьер Лоудон сочувственно пожал руку «народного трибуна», произнес ряд комплиментов по адресу Интернационала, содействующего работе Лиги Наций, и обещал спешить не торопясь.

Затем началось самое действие. Но тут режиссер оказался в трудном по-

ложения: приглашенные им по соображениям театральности, то-бишь, дипломатической вежливости, участники пьесы, которым по замыслу автора подавалось лишь выполнять роль молчаливых статистов, — они по самому своему характеру не подходили для ролей веселых комедиантов, — вдруг выступили на авансцену и попытались превратить забавный фарс в серьезную социально-политическую драму. Представители совершенно другого мира, они совершенно не в тон с официальной труппой заявили: хотите разоружаться, так разоружайтесь. Вампукистый эффект пьесы был сорван. Топтаться на месте стало неудобно.

Мы не станем подробно распространяться о том, какими методами председатель подготовительной комиссии Лоудон пытался помешать выступлению на авансцену конференции делегатов Советского Союза и обсуждению советского проекта разоружения. Это достаточно освещено в нашей ежедневной печати. Важнее подвести итоги и осветить политический смысл шестой сессии подготовительной комиссии Лиги Наций, которая по иронии судьбы названа подготовительной комиссией по созыву конференции по разоружению.

Итог первый. Несмотря на противодействие Лоудона и делегатов большинства империалистических стран советская делегация сумела поставить в центре внимания сессии формально не обсуждающуюся сущность своего проекта. Она сумела доказать, что основные принципы ее проекта: осязательное (а не показное) сокращение вооружений, принцип пропорциональности при проведении сокращения вооружений и, наконец, установление определенного коэффициента этой пропорциональности составляют неотъемлемую часть какого бы то ни было проекта настоящего разоружения. Можно изменить частности советского проекта, но нельзя отвергнуть его основ, не отказываясь от разоружения вообще.

Итог второй. Явное стремление президента не допустить обсуждения этих принципов советского проекта разору-

жения, странная молчаливость делегатов важнейших империалистических стран, не решавшихся прямо отменяться от основ проекта г. Литвинова, полный разбой в речах тех делегатов, которые выступали и, наконец, показное полупринятие конференцией первого принципа нашего проекта («сокращение вооружений до минимума, совместимого с безопасностью отдельных стран») и отклонение принципа пропорциональности, без которого практически невозможно добиться всеобщего разоружения — все это в достаточной степени показало широким массам рабочих, крестьян и даже мелкой городской буржуазии всего мира, что из всех государств мира только Советский Союз действительно стоит за настоящее разоружение. Сессия бросила — вопреки желанием ее организаторов — яркий свет на мирную политику советского правительства и на ту борьбу против разоружения, которую ведут страны, примыкающие к англо-французскому блоку.

Итог третий. Сессия с особой четкостью выявила противоречия, существующие между различными империалистическими группировками. Совершенно согласовано выступали против советского проекта представители Англии, Франции, Японии и Польши. Участники этой империалистической коалиции держав проявили наиболее ярко свою враждебность по отношению к идее какого бы то ни было разоружения. При всех стараниях выступить в роли пацифистов они говорили в сущности не о сокращении вооружений, а об ограничении роста вооружений, но и в этом направлении они не проявили склонности сделать какой-либо реальный шаг вперед. Эта точка зрения наиболее выпукло сказалась в речи японского делегата, который по существу отвергал всякую возможность общего разрешения вопроса, считая, что лишь каждое государство в отдельности может быть судьей вопроса о том, какие вооруженные силы нужны для его «безопасности».

Склонность к разоружению в той или иной форме проявили представители Германии, Турции и Китая. Они высказались против отклонения совет-

ского проекта без обсуждения по существу, выдвигая свои предложения, направленные к частичному разоружению. Позиция этих государств в вопросе о разоружении является прямым следствием их международного положения. Они учитывают, что все вооружения империалистических государств непосредственно угрожают их самостоятельному политическому и экономическому развитию.

Совершенно особую позицию заняла на сессии делегация Соединенных Штатов Северной Америки. На ряду с выступлениями тов. Литвинова речи американского делегата Гибсона были «воздем» сессии подготовительной комиссии.

В первой речи Гибсона были моменты, внешне сближавшие позицию Соед. Штатов с позицией СССР. Как указал на это тов. Литвинов, Гибсон высказался против попытки подмены термина «сокращение вооружений» термином «ограничение вооружений», различие между которыми совершенно ясно само собой, но было совершенно забыто, напр., японским делегатом адмиралом Сато. Ссылаясь на пакт Келлога и необходимость отказаться от наследия войны, Гибсон по существу поддержал полностью первый советский тезис об ощутимом сокращении вооружений. Не высказывая прямо своего суждения о советском проекте, Гибсон фактически поддержал и второй тезис о принципе пропорции при сокращении вооружений, указав, что такое пропорциональное сокращение не может изменить в неблагоприятную сторону существующих в настоящее время условий безопасности для каждой страны.

Но в речи Гибсона был и еще один момент, который полностью определил антианглийское острое американских предложений. Говоря о сокращении флота, Гибсон подчеркнул, что Америка готова идти на какое угодно уменьшение боевых единиц, но при условии, чтобы соглашение охватывало все категории этих единиц. Америка не намерена допускать в этом отношении исключений ни для подводных лодок (что было бы выгодно для Франции), ни для легких крейсеров (что было бы

выгодно Англии). Гибсон занял в этом отношении ту же позицию, которую он занимал на тройственной (САСШ, Англии и Японии) конференции по ограничению морских вооружений в 1927 г. и которая оказалась совершенно неприемлемой для Англии.

Нам приходилось уже освещать этот вопрос о значении сокращения флота по отдельным категориям (см. наш обзор в мартовской книге «Нового Мира») и потому мы укажем здесь лишь, что преобладание по числу легких крейсеров при равенстве английского и американского флотов в отношении судов других категорий совершенно необходимо Англии для фактического владычества на море в случае войны. Эта претензия Англии в свою очередь совершенно неприемлема для САСШ, требование которых—«свобода морей»—было в свое время изложено в известной речи американского сенатора Бора.

Речь Гибсона была огромным ударом по Англии и ее союзникам. Английский представитель лорд Кэшендун выпущен был заявить, что у него нет инструкций от своего правительства по вопросу о выдвинутой Соединенными Штатами точке зрения. Заявление это было равносильно признанию, что Англия и не думает ни о каком ограничении своего морского могущества, и общие фразы Кэшендуна насчет того, что Англия готова сотрудничать с Америкой, не могли ослабить того неблагоприятного впечатления, которое позиция Кэшендуна должна была произвести на общественное мнение Англии, отнюдь не склонное поддерживать политику, которая рано или поздно приведет к войне с Соединенными Штатами.

Удар Гибсона по консервативному правительству Англии был строго рассчитан. Еще до своего выступления на сессии подготовительной комиссии Гибсон в беседе с американскими журналистами, спрашивавшими его, не намерен ли он теперь же приступить к переговорам с Англией о сокращении или ограничении морских вооружений, заявил, что он не собирается помогать английским консерваторам в их предвыборных расчетах и создавать ложное впечатление, будто английское пра-

вительство готово пойти по пути примирения с Америкой. Оп, Гибсон, будет выступать только на публичном заседании сессии, а если английское правительство склонно стать на путь соглашения с Америкой, то пусть обратится с соответствующим предложением в Вашингтон.

Свою роль Гибсон выдержал до конца. Он не только уклонился от непосредственных переговоров с Кэшендуном, но и построил свою речь таким образом, что поставил Кэшендуна в самое затруднительное положение и тем самым накануне английских выборов разоблачил перед английскими избирателями всю ту опасность, которую влечет за собой воинствующий империализм английских консерваторов.

Более того, в своих последующих выступлениях Гибсон пытался расстроить самую основу англо-французского соглашения. Указав на необходимость взаимных уступок, Гибсон сделал неожиданное заявление о том, что Америка отказывается от своей оппозиции принципу вооруженных резервов (т. е. проведению всеобщей воинской повинности), на чем особенно настаивала Франция. Весь смысл этого заявления сводился к тому, что Америка готова идти на соглашение с Францией в целях ослабления англо-французского союза. Как мы увидим ниже, подобную же позицию (уступки Франции за счет Англии) заняли и американские эксперты на парижской репарационной конференции.

Чтобы понять все значение удара, нанесенного Гибсоном английским консерваторам, будет небезынтересно отметить наделавшую много шума как в Англии, так и во Франции речь одного из вождей Рабочей Партии, Филиппа Сноудена, сказанную им в палате общин при обсуждении внесенного Черчиллем проекта бюджета. Сноуден указал, что принцип Бальфура о том, что Англия не будет требовать с своих должников больше, чем она сама платит по своим долгам Америке, на практике привел к тому, что Англия полностью погашает свою задолженность Америке, чего нельзя сказать о Франции, которая до сих пор не рати-

фицировала соглашения между Черчиллем и Кайо о погашении французской задолженности Англии. Смысл речи Сноудена сводился к тому, что вместо того, чтобы делать по политическим соображениям финансовые уступки Франции, следовало бы стать на путь политического соглашения с Союзными Штатами, что создало бы значительно более легкие условия выплаты английского долга Америке.

И правда, Рамзаю Макдональду пришлось в качестве возможного будущего английского премьера отмежеваться от этого заявления своих коллег по партии и заявить для успокоения французов, что он не намерен отказываться от соглашения с Францией о долгах. Но положения это не меняет. Факт тот, что в самых широких кругах рабочей партии и либералов существует, как нам приходилось уже указывать в прошлых обзорах, сильное недовольство приспособлением английской политики к требованиям Франции и антамериканизмом направленной политики правительства Болдуина-Чемберлена. Речь Гибсона подлила в этом отношении масла в огонь.

Отрицательное отношение империалистических держав к советскому проекту разоружения и ярко проявившееся противоречие между интересами англо-французского и американского империализма лишней раз доказали всю беспочвенность попытки провести разоружение в рамках капиталистического строя. И шестой сессии подготовительной комиссии вместо подготовки разоружения пришлось разойтись, отложив свои заседания до тех пор, пока крупные морские державы не придут к соглашению между собой об ограничении (термин «сокращение» был скоро забыт) морских вооружений. Что же касается сухопутных и воздушных вооружений, то подготовительная комиссия даже ухудшила существовавшее до тех пор положение, как это выяснил в своей заключительной речи тов. Литвинов. В этом смысле шестая сессия комиссии поистине может быть названа «классической сессией», ибо саботаж разоружения был доведен на ней до высшей степени совершенства.

Репарационный тупик

По бесплодности своих работ с подготавливающей комиссией Лиги Наций может соперничать международная комиссия экспертов по германским репарациям. Обе эти проблемы — разоружения и репараций — являются прямым наследием войны 1914—1918 гг. Версальский мир не справился с этим наследием: версальцы заставили Германию подписаться под обязательством возместить союзникам все убытки от войны, но они не могли сразу установить астрономические цифры своих претензий; версальцы разоружили Германию, но они должны были для успокоения разбушевавшегося рабочего моря внести в мирный договор пункт о разоружении «в будущем» и остальных стран.

За эти 10 лет, протекшие со времени подписания Версальского мира, разрешение этих обеих проблем не подвижилось ни на шаг. Но если саботаж разоружения вполне входит в планы версальских победителей, и женеvское топтание на месте их вполне устраивает, то разрешение репарационной проблемы представляет собой для союзников задачу, которая требует своего немедленного разрешения.

Возникший в конце апреля серьезный кризис, — едва не приведший к срыву всей конференции экспертов вносил поэтому серьезное осложнение в создавшуюся международную обстановку. Еще до наступления этого критического момента французский еженедельник «Europe Nouvelle», посвященный вопросу международной политики, высокопарно писал: «Эксперты работают в хрустальной вазе. Пусть они бросят через хрусталь взгляд на народы, которые ждут от них положительного и разумного решения, способного укрепить для них то, что является не только идеалом, но и прямой необходимостью — мир».

Неизвестно, смотрел ли германский делегат Шахт через хрустальную вазу на германский народ или нет, но в ответ на претензии союзников он заявил, что Германия в состоянии покрыть только задолженность союзни-

ков Америке, выплачивая для этой цели по 1.650 миллионов золотых марок в год в течение 37 лет. Если же союзники хотят добиться и покрытия некоторых других своих претензий (а требования союзников сводились к уплате в среднем по 2.223 миллиона золотых марок в год с некоторым уменьшением этой суммы для ближайших лет и постепенным ее нарастанием в последующие годы), то они должны пойти навстречу Германии в деле увеличения ее экономической мощи. Эти требования в изложении Шахта сводятся: во-первых, к предоставлению Германии колоний, которые могли бы явиться сырьевой базой германского народного хозяйства; во-вторых, к изменению восточных (с Польшей) границ Германии, что укрепило бы сельскохозяйственную базу Германии, уменьшило бы ее затраты валютой на закупку предметов продовольствия за границей и тем самым увеличило бы ее способность к вывозу валюты на уплату репараций (о досрочной эвакуации Рейнских областей Шахт не говорил, ибо считал ее само собой разумеющейся).

Легко себе представить, какой шум вызвал меморандум Шахта в союзнических кругах. Французский официоз «Temps» заявил, что требования Германии сводятся к пересмотру Версальского мира и потому не могут быть даже предметом обсуждения. Польская печать завопила о «новом разделе Польши», а вся союзническая пресса в целом заявила о том, что Шахт вместо экономических вопросов выдвигает политические.

По существу, указания на политический характер меморандума Шахта были совершенно правильны, но дело в том, что официальная трактовка работы комиссии экспертов, как экономического совещания «независимых экспертов» была, разумеется, фикцией, которая никого в заблуждение ввести не могла. И в уже цитированной выше статье из «Europe Nouvelle» говорилось — в целях воздействия на Шахта — что конференция экспертов была созвана «единственно для того, чтобы сделать решительный шаг к сближению с Германией; единственно для

того, чтобы локальная политикашла свое завершение в прекращении союзнической оккупации рейнских провинций Германии».

В том-то и дело, что в основе работы комиссии экспертов лежал не только экономически-финансовый, но и политический торг. Установка франко-английского блока (в германском вопросе Франция играет руководящую роль среди союзников) была направлена на то, чтобы «за соответствующее вознаграждение» согласиться на досрочное освобождение оккупированных провинций Германии и сделать тем самым первый шаг к политическому сближению с Германией, которое позволило бы полностью вовлечь ее в орбиту англо-французской империалистической политики, направленной, с одной стороны, против Соединенных Штатов Северной Америки, а с другой — против Советского Союза.

Совершенно противоположную цель преследовала Америка, отправляя своих экспертов в парижскую международную комиссию. Эти эксперты должны были, с одной стороны, выступить в роли посредников между сторонами, добываясь известных скидок для Германии (в целях привлечения ее симпатий), а с другой — использовать взаимозависимость между германскими репарациями и союзнической задолженностью Америке таким образом, чтобы сделать финансовый капитал Америки полноправным хозяином экономической — а значит и политической — жизни Европы. О том, какую роль в этих планах Америки играл выдвинутый американским экспертом Юнгом проект создания Банка Международных Расчетов, мы говорили в апрельской книге «Нового Мира».

Германские эксперты, конечно, хорошо отдавали себе отчет в сущности этой конкуренции между Америкой и англо-французским блоком и старались возможно искуснее лавировать между обеими конкурирующими сторонами. Но надо признать, что меморандум Шахта не был удачным маневром с его стороны. Он слишком откровенно вынырнул политическую сторону торга. Для французов попытка Шахта до-

биться в обмен за повышенные суммы репараций изменения восточных границ Польши была абсолютно неприемлема, ибо подрывала основы франко-польского союза, являющегося одним из краеугольных камней французского империализма. Но и для американцев меморандум Шахта оказался нехотел: во-первых, американцы, которые были непрочь сыграть роль маклера в определении суммы репарационного долга, считали для себя неудобным вмешиваться в чисто политические вопросы; во-вторых, стремление Шахта свести репарации к одному только погашению союзнической задолженности без добавочных платежей, которые должны были быть коммерциализованы, означало сужение роли того мирового сверхбанка, на основе которого они рассчитывали закрепить гегемонию Соединенных Штатов на мировом кредитном рынке. Этими соображениями определилось и отрицательное отношение председателя комиссии Оуэна Юнга к меморандуму Шахта.

Интересно отметить, что германская с.-д. лево-буржуазная печать отнеслась отрицательно к меморандуму Шахта, при чем демократическая «Berliner Tageblatt» подчеркнула, что в самой Германии вопрос о необходимости для Германии колоний является спорным. Выдвинув вопрос о колониях, Шахт отразил точку зрения националистов и правых кругов германской буржуазии, среди которых он считается восходящей звездой.

Не исключена, однако, и возможность того, что вылазка Шахта была не только неосторожным выявлением агрессивных целей империалистических кругов Германии, но и рассчитанным шагом к срыву или, по крайней мере, перерыву работ конференции. Шахт несомненно учитывал, что безуспешный ход работ комиссии экспертов будет содействовать поражению английских консерваторов на выборах, а с новым английским правительством, которое будет менее склонно плясать под дудку Пуанкаре, будет легче договориться.

Не особенно пугало немцев и указание союзников на то, что в случае кра-

ха парижской комиссии экспертов останется в силе план Дауэса, предусматривающий для Германии выплату, начиная с текущего года, огромных взносов по $2\frac{1}{2}$ миллиарда золотых марок в год. Дело в том, что так называемая трансфертная оговорка в плане Дауэса предусматривает перерыв в платежах Германии наличными, если перевод валюты грозит крахом всей денежной системы Германии. Утечка иностранной валюты и уменьшение золотых запасов германского государственного банка делало перспективу применения трансфертной оговорки уже в текущем году весьма вероятной. Таково, по крайней мере, мнение известного английского экономиста Кейнса.

В тот момент, когда положение в парижской комиссии экспертов казалось уже совершенно безнадежным, американский эксперт, он же председатель комиссии, Оуэн, выступил с компромиссным предложением, сущность которого сводилась к тому, что репарационная доля Франции (остающаяся в ее распоряжении за покрытием долга союзникам) снижалась до 7 млрд. франков, тогда как для Англии репарационная доля устанавливалась лишь в 700 млн. франков. Франция от предложенного американцами компромисса страдает

значительно меньше, чем Англия, за счет которой собственно и делается уступка Германии. Опять-таки, как и в Женеве, Америка пытается вбить клин между Англией и Францией с целью разрушить англо-французское соглашение.

Проект Юнга, как и всякий компромисс, не мог рассчитывать на единодушное принятие его всеми заинтересованными державами. В тот момент, когда пишутся настоящие строки, соглашение еще представляется нелегким, ибо ни одна из сторон не склонна идти на уступки. Английский министр финансов Черчилль счел нужным даже официально заявить о неприемлемости для Англии предложений Юнга.

Как бы там ни было, тот кризис, в котором оказалась международная комиссия экспертов после 2 месяцев своей работы, свидетельствует о крайней напряженности международной обстановки. Конец первого десятилетия со времени Версальского мира привел нас не к эпилогу мировой войны 1914—1918 гг., а к прологу новой мировой схватки между молодым империализмом Америки и клонящимся к закату, но еще не желающим сдавать своих позиций, империализмом Британской империи.

Из прошлого

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА к Н. А. НЕКРАСОВУ

(К 40-летию смерти М. Е. Салтыкова)

Предисловие и примечания В. Евгеньева-Максимова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Печатаемые ниже неизданные письма Салтыкова-Щедрина к Некрасову относятся к 1875—76 гг. и писаны из-за границы, куда Салтыков должен был уехать с лечебными целями. Содержание этих писем настолько ярко, что оно говорит само за себя и едва ли нуждается в сколько-нибудь подробных вводных замечаниях. Ограничимся лишь тем, что перечислим основные темы, затрагиваемые в них Салтыковым. Это, прежде всего, — «здоровье» и «литература». Не писать о своем здоровье для человека, больного такой тяжелой и мучительной болезнью, как салтыковская, для человека, к тому же по натуре очень нервного и мнительного, легко впадающего в панику, — конечно, было немислимо, и удивляться тому, что Салтыков много внимания уделяет этому вопросу в своих письмах, никоим образом не приходится. Зато приходится удивляться другому: как физические страдания, оторванность от впечатлений родной действительности, от привычной литературной среды, от журнала, наконец, были бессильны не только понизить страстный интерес Салтыкова ко всему, что так или иначе относилось к области литературы и журналистики, но и ослабить интенсивность салтыковского творчества. Загадочным и прямо-таки исключительным является тот факт, что, тяжело страдая телом и духом, Салтыков продолжал творить, при чем ни в количественном, ни в качественном отношении его творческая сила не пошла на убыль. Не забудем, что с весны 1875 г. по весну 1876 г. Салтыков напечатал в «Отечественных Записках» значительную часть такого капитального произведения, как «Благонамеренные речи», несколько лучших рассказов головлевского цикла, «Культурных людей», продолжение «Экскурсий в область умеренности и аккуратности» и т. д. Весь этот громадный материал нашел себе место в 10 книгах

журнала (№№ 8, 9, 10, 11 и 12 за 1875 г. и №№ 1, 3, 4, 5, 6 за 1876 г.), где занимает сотни страниц. Естественно, что при столь напряженной литературной деятельности, в письмах к своему редактору, через руки которого проходило каждое из вновь написанных его произведений прежде его напечатания в журнале, Салтыков постоянно говорит о своей работе, как она подвигается, насколько он доволен ею, спрашивает мнения о высланном материале, возмущается цензурными препонами и т. д. и т. п. Одушевлявшая Салтыкова глубокая и искренняя любовь к литературе вообще не давала ему замкнуться в круг вопросов, непосредственно связанных с его собственным литературным творчеством, в его письмах ярко отразилось и то, как внимательно он следил за творческой работой других современных ему писателей как русских, так и иностранных. Правда, суждения его о них иногда выливаются в очень резкие формы. Салтыков нередко бранится, подчас очень грубо бранится. Здесь сказалось несомненное влияние его болезни, расшатавшей до крайности его нервы, сделавшей его временами не просто, а патологически раздражительным. Все это так, но почти всегда в основе отрицательных отзывов Салтыкова о том или ином писателе кроется глубокая, пусть в иных случаях не лишняя субъективная окраска, мысль. Влиянием болезни надо объяснить (такое, кстати сказать, и объяснение самого Салтыкова) истерическое письмо к Некрасову по поводу неприсылки денег. Наконец, говоря об основных «темах» печатаемых ниже писем Салтыкова, пельзя не отметить, что в них известное место занимают сведения о внешней стороне его жизненного обихода за границей, о погоде, от которой зависел не только этот обиход, но и, до некоторой степени, состояние здоровья Салтыкова, а также впечатления

Михаила Евграфовича от новых мест и заграничной жизни вообще.

Первое из печатаемых нами писем Салтыкова помечено 16 августа 1875 г., последнее 23 мая 1876 г.

I

Париж, 16 августа ¹⁾.

По письму Вашему, многоуважаемый Николай Александрович, ждал от Вас корректур, но ничего не получил. Вероятно, Вы сами приняли какое-нибудь решение, потому что теперь пересылаться корректурами уже поздно, ежели статья имеет быть напечатана в сентябрьской книжке ²⁾. Вообще поступайте, как найдете удобным, ибо я живу, вдали от Петербурга и обязан подчиниться всем последствиям своего положения. Хотелось бы только, чтобы статьи мои, с изменениями или без оных, но были печатаемы, и чтобы была сохранена первоначальная корректура. В последующих присылках, даю Вам слово, никаких затруднений Вы не найдете. Не знаю, что думаете вы насчет той статьи, которую я Вам еще из Бадена послал ³⁾.

Я прочитал свою статью «Сон в летнюю ночь» в печати и нашел в ней некоторую недоделанность и разорванность. Что делать, видно мне уж больше не писать, как прежде писалось. Да и условия писания трудные. Помещение маленькое, дети, постоянный шум, — все это поневоле дает в результате разорванность. Верите ли, что я здесь в Париже 10 дней живу, а ни строки не написал: постоянный уличный шум просто оглушает меня. В десять дней я почти ничего не успел видеть, а за всем тем, свободного времени — ни минуты. Таково

¹⁾ Салтыков сделал описку, поставив дату 16 августа. Из писем, напечатанных в собрании Н. В. Яковлева, явствует, что Салтыков выехал из Бадена в Париж 5 сентября и 5 сентября уже написал Некрасову. Следующим по времени было печатаемое нами письмо, которое следует датировать не 16 августа, а 18 сентября.

²⁾ Речь идет об «Экскурсиях» (4-м очерке), печатанию которых противился цензурный комитет. «Экскурсии» удалось напечатать только осенью следующего года, да и то с существенными изменениями.

³⁾ Присланная из Бадена статья, это — «Между делом», напечатанная в № 9 за 1875 г.

свойство этого города. Одни газеты сколько берут времени. Между прочим, прочитал «критики» Буренина и Скабичевского по поводу моего «Сна» ¹⁾.

Буренин — подлец, Скабичевский — глупец. И, знаете, подлец мне все-таки показался лучше глупца. И он хотел еще писать обо мне большую статью в «Отеч. Записки» — воображаю, чего бы он мне в шапку наклал. Он очень серьезно думает, что я против страсти к юбилеям протестую — каков дурачина! Вторая половина статьи так и осталась для него загадкой. Вот Буренин тоже начинает с того же предположения, но он делает это как подлец, и потом все-таки признает, что главная суть статьи — вторая половина ее. Точно также Буренин, яко подлец, и Вашим стихам придает ту же неверную цель. Но — говорю это и о себе и об Вас, — бог не выдаст, свинья не с'ест. Зачем Вы не подписались под стихами? Стихи отличные, только выпущенного жалко ²⁾.

Вот статья Кроткова ³⁾ — г . . . ная, хотя Скабичевский и восторгается ею. Прочих статей покуда не читал.

Елисеев уехал 15 числа, т. е. вчера, вместе с Белоголовым, и в понедельник, вероятно, Вы уже увидите его. Он — человек прелестный, с хорошим аппетитом.

Сегодня прочитал в «Голосе» оглавление «Вестника Европы». Хоть Хвоцинская и не бог знает что, а все-таки лучше было бы, чтобы она у нас печаталась, а не у Стасюлевича. Неужто она так и молчит с весны? ⁴⁾.

¹⁾ Статья Буренина была напечатана в «СПБ Ведомостях», а Скабичевского — в «Биржевых Вед.» (№ 237).

²⁾ В № 8 «Отеч. Зап.» Некрасов напечатал без подписи первую часть поэмы «Современники», — «Юбилеры и триумфаторы», при чем ему пришлось кое-что выпустить из цензурных соображений.

³⁾ В №№ 8 и 9 «Отеч. Зап. Кротковым была напечатана статья «Новые порядки. Из записок провинциального адвоката».

⁴⁾ Н. Д. Зайончковская-Хвоцинская (псевдоним В. Крестовский) усердно сотрудничала в «Отеч. Зап.». В 1874—75 гг. несколько ее произведений было напечатано в «Вестнике Европы» М. Стасюлевича, и это, как видно, обеспокоило Салтыкова, опасавшегося лишиться ее сотрудничества. Эти опасения не оправдались: с 1876 г. ее произведения вновь начали в большом количестве печататься в «Отеч. Зап.».

Тургенев живет в Буживале; я известил его вчера о моем приезде, а сегодня получил от него письмо, что завтра он будет у меня. Что-то скажет он?

Сегодня виделся с Шассеном¹⁾. По первому взгляду судя, малый—вздор.

Вероятно, впрочем, и еще буду видаться.

Весь Ваш

М. Салтыков.

Напишите пожалуйста, точно ли Вы раздумали послать мне корректуры и не пропали ли они.

II

Париж, 14 октября 1875 г.

Вероятно, Вам не понравилась, многуважаемый Николай Алексеевич, статья моя «Семейный суд»²⁾. Я и сам вижу, что выходит и кропотливо и разорванно, да что же делать?—вообще мне за границей не пишется или пишется туго. Попробую с нового года новый сюжет³⁾, может быть, бодрее пойдет.

Я уезжаю из Парижа 20 числа, т. е. 8 ст.ст. Пожил бы еще, но уж холодно делается. Поеду сначала в Лион на один день (боюсь большие переезды делать), потом в Марсель, где пробуду с неделю. Т. е. оставлю там семейство, а сам отправлюсь в Ниццу отыскивать место жительства. Во всяком случае, если вы до 10 октября удосужитесь писать мне, то адресуйте: France, Marseille, poste restante. После 10 адресуйте: Nice, poste restante. Извините, что я затрудняю Вас моими просьбами, но прошу все-таки распорядиться, чтобы с получения сего «Голос» мне высылали по след. адресу: France, Marseille, poste restante, а с 15 ст. ствля по следующ.: France, Nice, poste restante.

¹⁾ Charles Louis Chassin (род. в 1831 г.), публицист и редактор журнала «Democratie», помещал в «Отеч. Зап.», за подписью Клода Франка, статьи и корреспонденции о франпузских делах.

²⁾ Очерк «Семейный суд», входивший первоначально в «Благонамеренные речи», был напечатан в № 10 1875 года.

³⁾ С «нового года», т. е. с 1 № за 1876 г. Салтыков приступил к печатанию «Культурных людей».

Еще просьба: нельзя ли написать Соловьеву¹⁾, чтоб «Московские Ведомости» совсем мне не высылали, а высылали кому-нибудь из сотрудников «Отеч. Зап.». «Отечественные Записки» прикажите присылать в Ниццу.

Я чувствую себя довольно хорошо, но раздражительность все еще велика. На днях у Тургенева читал Сологуб²⁾ комедию свою, в коей изображается нигилист верующий, — со мной сделалось что-то вроде истерики. Не помню, что я говорил, но Сологуб так перепугался, что просил прощения и предлагал сжечь свое дурацкое произведение.

Мне досадно это, потому что эта скотина может думать, что он очень уж поразил меня. А дело просто объясняется болезнью. Так обидно сделалось, что меня приглашают на такое чтение, а Сологуб именно просил Тургенева меня пригласить, и, вероятно, не подозревал даже, что мне будет неприятно. Это совершенный идиот, и я даже выразил ему, что в его лета заниматься подобными пакостями стыдно. Ведь он по разным великосветским барделям читает — вот что худо.³⁾

Прощайте. Увидимся ли?

Напишите, пожалуйста, в Марсель, как Вам живется.

Весь Ваш

М. Салтыков.

У Михайловского⁴⁾ гр. Толстой представлен борющимся с прирощенным навозом и идеями, до которых он своим умом дошел. Что он борется — это действительно так, и даже бичует себя. Но что он после бичевания опять возвращается к навозу и никогда его не оставит — это еще вернее. Вообще эта трагикомедия сороковых годов, состоящая из борений и возвращений,

¹⁾ Книгопродавец в Москве.

²⁾ Гр. В. А. Сологуб (1914—1882 гг.)—известный беллетрист, автор «Тарантаса».

³⁾ Об инциденте во время чтения комедии Сологуба у Тургенева Салтыков написал и Анненкову (в письме от 18 окт.), о нем же рассказывает Л. Ф. Пантелеев во II томе своих «Воспоминаний» (157—158 стр.).

⁴⁾ В №№ 5, 6, 7 «Отечественных Записок» 1875 г. Н. К. Михайловский в своих «Записках профана» напечатал ряд статей о Л. Н. Толстом, объединив их названием «Десница и шуцца Толстого».

ужасно опостыдела. Лучше, как все по местам сидят. Толстой всеми легми дышит у Блудовой¹⁾, уедет от нее, говорит: какую подлость я сделал! — а на другой день опять туда же едет. А Михайловский в образец это ставит: вот, мол, каков у нас карась в пруде завелся, не все в тине лежит, иногда и на чистую воду выходит погулять. По-моему, и Тургенев лучше: в нем совсем нет ничего симпатичного²⁾, но и г... а не слышать.

Повесть Успенского³⁾ прелесть. Жаль, что в конце видна некоторая небрежность, как-будто писать надоело. Впрочем, я это понимаю — относительно себя; но в молодых писателях — как-то странно...⁴⁾

III

Ницца, 2 января (1876 г.).

Вследствие письма Вашего от 12 декабря, могу только повторить: отдайте Унковскому 1.500 рублей. Я не понимаю, из-за чего тут вопрос. Ведь эти 1.500 руб., о которых я прошу, составляют жалованье, то самое, которое было условлено оставить за мной. Его следовало мне выдать еще тогда, когда я поехал за границу, но, чтобы не смешивать счетов, дело было отложено до 1876 г., т. е. до подписки, как я полагал.

В чем же теперь затруднения? Стоит ли из-за каких-нибудь нескольких дней вливать отраву в те немногие дни, которые мне остается жить. А Вы меня истинно отравили. Я три ночи не сплю, все думаю, что семья моя будет вынуждена по благотворительной подписке

¹⁾ Имеется в виду склонность Толстого к великосветским знакомствам; к числу этих знакомств принадлежало и знакомство с гр. А. Д. Блудовой.

²⁾ Переписка Салтыкова с Тургеневым далеко не подтверждает этого отзыва. При оценке его надо иметь в виду, что эти как раз месяцы Салтыков, вследствие болезни, испытывал приступы патологической раздражительности. В овсяном случае, впоследствии отношение его к Тургеневу изменилось к лучшему, о чем свидетельствует их переписка.

³⁾ Имеются в виду очерки «Из памятной книжки», напечатанные в № 9 1875 г.

⁴⁾ Опускаем неудобные для печати последние строки, представляющие собой объясненные значения немецкого слова Фикен.

из Ниццы выезжать. Пожалуйста, отдайте деньги. Ведь это мои. Кстати и январь уж наступил. Прошу Вас.

М. Салтыков.

Впрочем, не могу дать подписку, что непременно умру¹⁾.

IV

Ницца, 10 января (1876 г.).

Написал я Вам глупое письмо — пожалуйста, извините. Болезнь писала. Я и теперь чуть жив, левая рука совсем почти не действует, особенно скверно утром вставать: такая боль, что хоть плачь.

Я послал начало «Культурных людей»²⁾. Кажется вышло скверно. Извините. Писал (вторую половину) почти насильно, в чаду лихорадки и ревматических припадков. В настоящее время совсем ничего не могу делать. У Вас морозы, да и здесь погода отвратительная, по три дня солнца нет. А без солнца здесь, точно в погребе. К февральской книжке ничего не ждите от меня, не начинал и не могу еще начать: дай бог около 20-го, да и то ежели погода исправится. Так мне тяжело, так тяжело жить, что и сказать не могу. Когда наберут первые 5 глав, прочтите и скажите откровенно, стоит ли продолжать. Можно ведь и бросить, другое начать. Я задался мыслью изобразить жизнь русских культурных людей за границей. Но вот беда: идеи в этой жизни нет никакой, одно бесцельное шатание с клеймом культурности на челе или скорее на заднице. Что другие, то и ты. Боюсь, как бы скучно не вышло. Первые гла-

¹⁾ Нет надобности распространяться, что это обидно для адресата и по существу своему несправедливое письмо целиком должно быть отнесено на долю патологической раздражительности, нередко овладевавшей в этот период жизни Салтыковым. Множество фактов свидетельствует о том, что Некрасов не только не теснил его в материальном отношении, но обнаруживал полную готовность идти в денежных делах ему навстречу. Начало последующего письма убеждает, что как ни болен был Салтыков, однако, он не преминул сознаться в своей ошибке и извиниться перед Некрасовым.

²⁾ В № 1 «Отеч. Зап.» за 1876 г. начались печатанием «Культурные люди». Настоящее письмо важно для выяснения обстоятельств, при которых они создавались.

вы не образец: я действительно писал их совсем больной, но ведь болезнь, пожалуй, так привяжется, что окончательно уничтожит юмор, который в этом случае преимущественно требуется. Дайте же мне совет. Я к марту еще глав 5—6 напишу, а в февральской книжке можно примечание сделать, что по болезни автора и т. д.¹⁾

Вы знаете, как я исполнителен в своих обещаниях — следовательно, к марту пришлю непременно, разве совсем слягу. А за февраль, извините, ей богу, нельзя. По почерку моему видите, каково мне.

Объявление об 12 № три дня тому назад видел, а книжки не получил. Это очень досадно, потому что я провожу время решительно как скотина: читаю старые романы Дюма. Боюсь, что с января будет остановка с газетами. Я писал, впрочем, Елисееву, что, отдавая какое-нибудь приказание конторщику, нужно наперед удостовериться, не спит ли он. Прочитал также объявление о предположенном чтении «Часов»²⁾ Тургенева. Тургенев сам писал мне, что эта штука не важная, но доход для фонда все-таки будет, и будет присутствовать на чтении г-жа Философова³⁾. Вижу отсюда Стасюлевича в белом галстук и в восторге, что его читают. Тургенев тоже, вероятно, доволен, и, замечая, что Философова не пропускает ни одного чтения, думает, что он популярен... Я с ним нахожусь в деятельной переписке. Спрашивал, зачем он вводит в заблуждение статьи в роде той, которую написал он Толстому⁴⁾. Отвечает, что его просили, что он, сверх того, много обязан покойному, и что, в-третьих, хотя Толстой и не

был первоклассным поэтом, но третьеклассным был. И такую нежность ко мне возымел, что спрашивает, не приехать ли в Ниццу, чтобы взять меня в Париж. Я на-днях ему напишу и изображу, что такое за популярность, в которую он верит. И еще напишу, как он мог бы хорошо себя устроить в русской литературе и как он себя...¹⁾

Он и сам внутренне знает это, но все-таки думает: а может быть и не...²⁾ Так надо, чтоб он наверное знал.

Прощайте, будьте здоровы.

Ваш. М. Салтыков.

v

Ницца, 13 апреля (1876 г.).

Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, небольшую статью. Два пакета на имя конторы. Не знаю, напечатаете ли Вы ее: во-первых, она не вполне цензурна по сюжету и во-вторых, довольно скучна³⁾. Вы удивитесь, конечно, что сам автор так отзывается о своей статье, но я написал ее, потому что так было нужно по ходу моих идей. Во всяком случае, не откажите приказателю набрать ее, а там сами увидите, но корректуру все-таки оставьте до моего возвращения. Может быть, Вы, зная современные обстоятельства, найдете, что можно напечатать. Что касается до меня, то я совсем на этот счет спутался, хотя всем организмом чувствую, что близко время, когда я и опять встану на стезю.

«Отеч. Зап.» 3 №№ я получил. «Горь старого Наума»⁴⁾ одна из прелестнейших Ваших вещей.

Со мной чудеса делаются: то я болен и в одну ночь так похудею, что щеки вваливаются, то опять здоров и так же быстро полнею. Это и прежде со мной бывало, а теперь беспрестанно. Нервы окончательно расшатаны.

¹⁾ Опускаем неудобное для печати слово, обозначающее физиологический акт.

²⁾ То же слово.

³⁾ По всей вероятности, речь идет об очерке «В погоне за идеалами», напечатанном в № 4 «Отеч. Зап.» 1876 г.

⁴⁾ Стих. «Горе старого Наума» напечатано в № 3 «Отеч. Зап.» 1876 г.

¹⁾ Такое примечание и было сделано в февральской книжке.

²⁾ «Часы» были напечатаны в № 1 «Вестника Европы» за 1876 г. Вечер в пользу Литературного фонда, на котором читалась эта повесть, состоялся в декабре 1875 г.

³⁾ Анна Павловна Философова, известная общественная деятельница, большая почитательница Тургенева. Опускаем конец этой фразы, заключающий неудобную для печати насмешку над восторженным отношением Философовой к Тургеневу.

⁴⁾ Имеется в виду статья Тургенева «По поводу смерти А. К. Толстого», напечатанная в № 11 «Вестника Европы» за 1875 г.

17-го я еду в Париж, так что Вы получите мое письмо, когда я буду уже там. Остановлюсь я в той же гостинице, в какой стоял и прежде, т. е., Rue Lafitte, 38, hôtel Meklenbourg.

Я писал Унковскому и Елисееву, что не знаю, где буду жить, но теперь все раз'яснилось. Передайте им, буде можно, мой адрес. В Париже проживу недели с три и отправлюсь в Баден-Баден—надо же где-нибудь существовать.

Надоело мне за границей страшно, а между тем, по мере приближения времени возвращения на родину, чувствую какую-то тупую тревогу. Очень уже много там беготни и сплетен. И все-таки деваться больше некуда, а потому, между 20—25 мая буду в Петербурге.

Прощайте, будьте здоровы; ежели не лень, то дайте знать о себе.

Искренно преданный Вам

М. Салтыков.

Передайте мой поклон Зинаиде Николаевне.

VI

Париж, 18 апреля 1876 г.

Сегодня приехал в Париж, погода холодная, поганая, в квартире порядочно сыро. Но есть надежда, что дня через два-три все поправится. Вообще никто не запомнит здесь таких пакостных зимы и весны. Что-то русское лето скажет?

За минуту до моего от'езда из Ниццы, когда уж я сядился в экипаж, чтоб ехать на железную дорогу, получил Ваше письмо, многоуважаемый Николай Алексеевич. Хотя коротенькое, но все-таки большое Вам спасибо, что вспомнили. Очень уж редко я получаю вести из Петербурга, и в особенности меня беспокоит молчание Унковского, у которого что-то делается с правой рукой. Впрочем, думаю, что во время праздника и он удосужится что-нибудь написать.

Поощренный Вашим отзывом об «Семейных итогах», я сегодня начал писать конец Иудушки. Не знаю, что еще выйдет, но если выйдет, то к 10—12 мая ст. ст. получите. Я думаю, для

майской книжки¹⁾ это не поздно будет, потому что повидимому сроки выхода книжек сами собой отделились до 20-го. Впрочем, я 5 числа ст. ст. телеграфирую Вам, нужно ли ожидать или нет. Я еще хорошенько и сам не наметил моментов развития, а тема в том состоит, что все кругом Иудушки померли и никто не хочет с ним жить, потому что страшно краха, который его наполняет. Таким образом он делается выморочным человеком.

Сегодня, как приехал, первым делом на почту отправился и получил разом 4 №№ «Голоса» и столько же №№ «Биржевых Ведомостей». А «Нового Времени» не получил, хотя писал Лихачеву, но, вероятно, его до конца года будут высылать в Ниццу. Я думал, что неприличная выходка Суворина²⁾, сделавшая из меня предмет (неразборчиво) кн. Горчакова, есть геркулесовы столпы фельетонного легкомыслия, но выходит, я ошибался... В одном из полученных сегодня №№ «Биржев. Вед.» я получил удар оухом по голове в виде панегирика Заурядного читателя³⁾ (кто это такой? неужто Скабичевский?), который сделает меня притчею во языцех. Читая эту бесстыдную глупость, я очутился в положении той б...и, которая говорила: хорошо бы пожить, как другие живут. Да, и у меня теперь одно страстное желание: пожить, как другие живут. Может быть, оно и всегда у меня было, да не удается и, верно, не удастся.

Из почтамта заехал я к Курочкину⁴⁾—вот (неразобрано) живет! В грязной собачьей конуре, в которой повернуть-

¹⁾ Рассказ «Перед выморочностью», о котором говорит здесь Салтыков, был напечатан в № 5 «Отеч. Зап.» 1876 г., однако, он еще не был «концом Иудушки».

²⁾ Нам не удалось установить о какой «неприличной выходке Суворина» говорит в данном случае Салтыков.

³⁾ «Заурядный Читатель»—псевдоним А. М. Скабичевского, помещавшего в то время свои критические фельетоны в «Биржевых Вед.». Имеется в виду его статья «Щедрин, как современный гениальный писатель» (№ 91)

⁴⁾ Н. С. Курочкин (1830—1884), брат более известного В. С. Курочкина, поэт и публицист, сотрудник «Совр.» и «Отеч. Зап.», проживавший в то время в Париже.

ся негде и где 9° тепла! Он важен и скучен попрежнему и считает свой приезд в Россию делом весьма щекотливым.

Ехал из Ниццы 24 часа сряду, нигде не останавливаясь,—хорошо, кабы это мне прошло. Теперь ужасно хочется спать, потому что не спал целую ночь. Напишите пожалуйста, получили ли Вы статью мою, и что об ней думаете? Если есть затруднения, то отложите до моего приезда.

Прощайте, будьте здоровы. Не сердитесь ли на меня Ераков? ¹⁾

М. Салтыков.

VII

Париж, 15 мая (1876 г.).

Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, конец рассказа: слава богу, что ко времени кончил, и даже прежде, чем обещал. Прошу Вас заглавие переменить: вместо «Выморочный» поставить «Перед выморочностью» ²⁾. Во время писания получилось некоторое развитие подробностей, которое помешало кончить совсем эту материю. Так что будет еще новый рассказ в августе, окончательный. Жаль, что я эти рассказы в «Благонамеренные речи» вклеил, нужно было бы печатать их под особой рубрикой: «Эпизоды из истории одного семейства». Я под этой рубрикой и думаю издать их в декабре особой книгой—листов—16—17 будет обыкновенного формата моих изданий ³⁾. А «Благонамеренные речи» из-

¹⁾ А. Н. Ераков, близкий друг Некрасова, хороший знакомый Салтыкова и Унковского. В этом кругу принято было «вольное» шутить друг с другом. Салтыков в письме к Некрасову от 24 марта (см. в сборн. Яковлева) сообщал, что он сочинил и послал Унковскому шуточную историю о том, как А. Н. Ераков «лишил целомудрия дочь нашей хозяйки», и тут же выражал опасение, что если Унковский прочтет ее Еракову, то «тот, пожалуй, обидится».

²⁾ Исправление это было сделано. Но и «новый рассказ», о котором Салтыков упоминает далее и который под заглавием «Выморочный» был напечатан в № 8 «Отеч. Зап.», не был «окончательным».

³⁾ Действительно, рассказы «Головлевского цикла» были сначала вклеены Салтыковым в «Благонамеренные речи», но при выходе «Благонамеренных речей» отдельным изданием изъяты из их текста. Свое намерение об издании «Господ Головлевых» Салтыков привел в исполнение только в 1880 г.

дать особо тоже будут 2 тома, листов 35—38 ¹⁾. В нынешнем рассказе ничего антицензурного нет.

Я в среду вечером уезжаю отсюда и в четверг утром буду в Бадене. Напишите туда, если нужно: я пробуду до 31 мая там. Спишусь с Белоголовым насчет свидания в Берлине: Елисей писал, что он т. е. Белоголовый там 20 мая ст. будет. Я очень недомогаю и, признаюсь, устремляюсь в Баден с нетерпением: очень уж здесь беспокоит. Погода переменная, и я простудился. Опять ревматизм в руках показывается, спазмы в груди, неслыханный кашель и удушье. У Тургенева я случайно встретился с одним доктором немцем, который полюбопытствовал меня оскультрировать и объявил, что у меня четыре главных болезни: страдание правой почки, страдание левой стороны печени, болезнь сердца и общая анемия организма. Можете себе представить, как мне было весело это слышать! Во всяком случае, мне положительно сделалось в Париже хуже. Надо спешить умирать домой. Здесь на днях умер от болезни сердца Ритар: задохся. С тех пор всем кажется, что задохнутся, в том числе и мне. Положительно каждое утро я почти умираю. Унковский говорит, что я это преувеличиваю. Где уж преувеличивать? Я спрашивал у Тургенева стороной насчет сюжета его романа, но ничего определенного не выяснил себе. Знаю, что действие происходит 5 лет тому назад, что героинями являются две женщины высшего круга, либеральничавшие, в роде Философовой, героями тоже два лица из молодого поколения. Одно, как говорил Тургенев, удалось, а с другим неудача, но выходит. Вообще, по словам самого Тургенева, будет заметно, что он давно в России не живет. Написано 13 глав, всего будет листов 17, которые все и будут напечатаны в 1-й книге «Вести. Европы» на 1877 г. ²⁾.

Вчера я был утром у Флобера, с которым еще прежде познакомился: вместе обедали в одном ресторане. Позна-

¹⁾ 2 тома «Благонамеренных речей» вышли отдельным изданием в 1876 г.

²⁾ Речь идет о романе Тургенева «Новь».

комился с Золя и Гонкурром. Золя порядочный — только уж очень беден и забит. Прочие — хлыщи. Стасюлевич платит Золя: за письма по 240 фр. с листа, за право переводить корректуры романа — по 1.200 франков с романа, т. е. целковых по 12 с листа. Да вдобавок еще поучения ему пишет. Золя не совсем-то доволен и, узнав, что я участвую в редакции, глядел на меня, как собака, ожидающая, что ее приласкают. Просил позаботиться об нем и настаивал, чтобы я взял у Тургенева его адрес, я ответил, что перебивать его нам не приходится, но что адрес его я возьму. Прощайте, будьте здоровы. Очень не хорошо, что и Вы хвораете.

Если не умру по дороге в Россию, то увидимся скоро.

М. Салтыков.

VIII

Баден-Баден, 23 мая (1876 г.).

Получил я Ваше письмо, многоуважаемый Николай Алексеевич, и весьма смутился духом. Известие о Вашей болезни очень меня тревожит, и это, конечно, еще более усиливает во мне желание возвратиться в Россию. Я еще до письма Вашего решил ехать отсюда 30 числа с тем, чтобы через пять дней или около того, т. е. числа 23—25, быть в Петербурге.

В этом смысле я писал сегодня утром и Елисееву, прося его прекратить высылку газет. Пора. Я живу здесь среди невыразимой скуки, не из'ятой, впрочем, сплетен. Ибо где есть Тургенев (теперь его нет, но дух его веет), там, конечно, всякого рода недоразумения.

Заграничная жизнь тем и скверна, что ставит в интимность с такими лицами, с которыми у себя встретился бы два-три раза в год.

Пора, пора домой. Очень рад, что рассказ получен, но думаю, что к моему приезду и № выйдет.

Что касается до «Нового Времени», то никакого фельетона под названием «Благонамеренные речи», я туда не посылал, а послал — о чем и Вам писал — ту статью, которая когда-то была сожжена в «Отеч. Зап.» под названием

«Страшный Год»¹⁾. Но Суворин, как водится, бросился с нею к цензорам, которые и сказали ему, что лучше обождать. Но дело в том, что я обещал дать что-нибудь, во-первых, потому что об этом меня Лихачев очень просил, а во-вторых, потому что меня уверили, что газета имеет сочувствие Ваше и Елисеева. Сидя за границей, в этом отношении очень легко заблудиться — это тоже одно из неудобств, неприятное, даже больше, чем другие. Я же собственно думал, что «Новое Время» — газета ерническая. Замечательно, что, разбирая «Отеч. Зап.», оно никогда, ни одним словом, не упоминает обо мне. Это означает, что есть за пазухой камень. Но ведь и у меня есть таковой. Я сегодня уже писал к Лихачеву, что девиз «Нового Времени» — неуклонно идти вперед, но через задний проход. Садомитяне первые подали пример такого поступания. Впрочем, чорт с с ними. Благодарю Вас за известие о намерении Белоголового, иначе я прождал бы его без конца, а теперь мне руки развязаны. Что-то предполагает делать Елисеев? Я, вероятно, выеду отсюда с Тургеневым, который сам вызвался вместе ехать в Петербург. Но, очень может быть, что он, по обыкновению, обманет. Вообще, — это какой-то необыкновенный человек: лгун и лицемер, и в то же время нахал. Он сам себе в Париже овации устраивает. При свидании порасскажу Вам. В романе его героем является консерватор, который силою вещей делается демократом. Не помню, рассказывал ли я Вам сюжет тоже романа, который с давнего времени тревожит меня. Также Дон-Кихот консерватизма, который идет со своей проповедью, сначала обращается к той среде, которая, по природе, должна быть консервативною — его признают за ренегата уже по тому одному, что он выходит из какого-то принципа и логически идет по этому пути; потом обращается к народу — там просто не понимают его; наконец, обращается к молодому поколению — там смотрят на него, как на выходца из архива. В конце концов, происходит работа, из кото-

¹⁾ Статья эта все же была напечатана в «Новом Времени» (1876 г. №№ 112—114).

рой вырождается радикал. Я не помню, но кажется, я рассказывал этот сюжет Тургеневу, но все-таки должен соизнаться, что не помню. Странно только, что, судя по рассказу Анненкова, те же самые три положения развивает и Тургенев. Дурак я — больше ничего. Впрочем, я в одно из ближайших продолжений «Культурных людей» этот план разовью¹⁾.

Прощайте, больше ко мне не пишите. Скоро увидимся, да и письмо не застанет в Бадене.

Ваш М. Салтыков.

IX

(Петербург, начало июня 1876 г.²⁾

Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, 5 рукописей (в том числе и языковскую); из них «Тесная рамка» положительно чистенькая повесть³⁾, которую можно будет летом в двух №№ поместить под условием немногих сокращений. Но я не знаю происхождения этой повести. Нет ли в редакции письма, из которого можно видеть адрес автора. Во всяком случае, задержите рукопись. Прочее все можно сдать в контору. При письмах из Италии есть письмо, в котором сказано, кому отдать их, в случае неприятия. Пусть А. Н. Плещеев прочтет его.

М. Салтыков.

Пожалуйста, велите присылать ко мне все корректуры попрежнему.

Картина, рисуемая приведенными письмами, была бы, само собой разумеется, несравненно ярче и многостороннее, если бы параллельно с ними

¹⁾ Ни «ближайшего», ни какого-либо иного продолжения «Культурных людей», как известно, не последовало. Произведение это «по обстоятельствам», как выразился Щедрин в подстрочном примечании в «Собрании своих сочинений», осталось недоконченным.

²⁾ Настоящее письмо написано, по всей вероятности, т.е.час после возвращения Салтыкова из-за границы, еще до его отъезда из Петербурга в Витенево, где он проводил лето 1876 года.

³⁾ Первая часть повести «Тесная рамка» была напечатана в № 6 «Отеч. Зап.» 1876 г. и, как свидетельствуют находящиеся у нас материалы, навлекла на себя недоброжелательное внимание цензуры

были напечатаны ответные письма Некрасова. К сожалению, они безвозвратно, повидимому, утеряны. Тем большую ценность приобретают некоторые имеющиеся у нас данные об отношении Некрасова к большому Салтыкову. Сюда прежде всего нужно отнести телеграмму Некрасова к Анненкову от 6 мая 1875 г. (она напечатана в собрании Яковлева), в которой он, беспокоясь о здоровье Салтыкова, ухудшавшемся, благодаря семейной обстановке, поднимал вопрос о том, не следует ли изолировать больного от семьи. Вслед за телеграммой Некрасов отправил Анненкову следующее, еще не бывшее в печати письмо, сплошь посвященное Салтыкову и его здоровью. Вот оно:

27 апреля 1875 г. Петербург.

Любезнейший Павел Васильевич, не браните нас, что мы так много тревожили вас телеграммами. Думаю, что Вы за эти дни поизмучило-таки состояние Салтыкова. С вечера третьего дня нет телеграмм, и это дает нам надежду, хотя слабую, что дело пошло к лучшему. В первом подступе ревматизма у Салтыкова было все то, что в этом третьем и о чем (неразобрано) доктора Белоголового — и прошло. Но теперь сил у него, конечно, менее. Нечего Вам говорить, как уничтожает меня мысль о возможности его смерти теперь именно у (неразобрано). С доброй лошадю и надорванная прибавляет богу. Так было со мной в последние годы. Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко, Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли. Не говорю уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему.

Надо Вам сказать, что последняя моя телеграмма (о семействе) вызвана была некоторыми особыми соображениями. Между нами — в семейном быту его происходит какая-то неурядица, так что он еще здесь колебался — не ехать ли ему одному. Я подумал, не назрел ли вопрос окончательно, и в таком случае немедля поехал бы, чтобы взять от него элемент, нарушающий столь необходимое для него спокойствие. Но ехать за семейством в случае несчастья мне самому не было резона, мы найдем кого послать. Не на

кого оставить журнал. Будьте здоровы. Пишите. Усердный мой поклон Глафире Александровне.

Весь Ваш Н. Некрасов.

Вот стихи, которые я сложил в день отъезда Салтыкова. Прочтите их ему, когда ему будет полегче.

С. (ПРИ ОТЪЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ).

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь—журнальный путь.
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом—у мыслящих людей.
Трудом—и бескорыстной целью!
Да, будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

И телеграмма, в особенности письмо, говорят сами за себя: так тепло и задушевно, вникая в интимные подробности жизненной обстановки, можно говорить лишь о человеке близком и любимом. Среди известных нам нескольких сот некрасовских писем, в огромном большинстве случаев строго деловых, а потому и суховатых, приведенное письмо прямо-таки выделяется. Не меньшими теплотой и задушевностью веет и от стихотворения Некрасова.

Анненков не замедлил ответить Некрасову следующим письмом, часть которого, как непосредственно относящаяся к Салтыкову, не лишнее здесь будет привести (и это письмо еще не было опубликовано):

Баден, 14 мая (2 мая).

Не за что мне Вас бранить, любезнейший Николай Алексеевич, ибо я первый начал ту игру в телеграфные воланы, в которой два дня мы упражнялись. И надо было начать. Была минута, когда Салтыков лежал без памяти, и я ожидал катастрофы, миновавшей только благодаря усилиям попечительности и изумительному вниманию доктора Хеймгенталля. Не мешало бы Белоголовому написать ему в роде благодарного письма, да и вообще имя этого замечательного доктора и человека заслуживало бы сделаться известным в России. Теперь Салтыков уже сидит в креслах, думает об обеде и обмену литературных идей со мной предается, но ревматизм, менее едкий, конечно, чем прежний, все еще гуляет по всему его организму. Увы! Никогда

уже он не будет тем чудесным кровным скакуном, который в крови и в пене всегда приходил первым к цели и так восхищал всех. Натура его надорвана, а последний, совершенно безумный его вояж, отнял у ней и оставшиеся жизненные капиталы. Подумайте—прямо из Петербурга продрал, как фельдшер из Чухны,—прямо в Баден, по холодным ночам, в нетопленных вагонах, без сна и еды. В Берлине провел только день—мы приняли его здесь из кареты, да в постель. Теперь у нас полная, чудная, душистая весна: на нее-то доктор Хеймгенталь особенно и рассчитывает, да и я с ним.

Зерно семейной неурядицы под почвой, но ростков еще не дало, если исключить страшное раздражение больного, проявившееся под мучительными пароксизмами ревматизма вспышками гнева и прочего, но мы приставили к нему моравку, которая умеет его улаживать.

Милые Ваши стихи я ему прочту. Мазь эта подействует на него не хуже, т. е. гораздо лучше—мазей, которыми он теперь оснащает больные свои члены,—так полагаю.

Жена моя благодарит Вас за поклон. В начале июня я буду один, конечно, в Петербурге, и, конечно, был бы очень рад застать Вас там и переговорить с Вами обо всем и о многом другом еще.

Весь Ваш П. Анненков.

Не только от Анненкова, но и от других своих знакомых получал Некрасов сообщения о Салтыкове, при чем эти сообщения делались, само собой разумеется, по настойчивым просьбам поэта, пользовавшегося каждым случаем, чтобы узнать о состоянии здоровья своего соратника по журнальному полирису. В нашем распоряжении находится одно из таких сообщений, а именно, относящееся к весне 1876 г. письмо к Некрасову его старого знакомого и приятеля Валериана Александровича Панаева.

Ницца, 15 мая 1876 г.

Любезный друг, Николай Алексеевич. Я обещал тебе написать тотчас, как приеду в Ниццу. Только третьего дня вечером я приехал сюда и вчера был у Салтыкова. Хотя я мельком видел его у тебя, но никогда даже не разговаривал с ним. Сразу человек этот мне

понравился; очевидно, это человек прямой. Хоть он нездоров, это видно, но вид его произвел на меня весьма утешительное впечатление. Глаза его свежи, удущья незаметно, цвет лица обыкновенный, худобы незаметно. Одно показывает болезненность — это звук голоса, сгорбленность, походка ненормальная и темп речи не совсем здорового человека. Словом сказать, на мой первый взгляд, это человек, начинающий подниматься, а не спускаться вниз.

Здесь теперь божья благодать. Пишу в саду, кругом апельсины и лимоны, тепло, как у нас бывает в июле, — нет ни мошек, ни комаров, ни мух; в некотором роде рай...

Сию минуту видел доктора Чернышева, который пользуется теперь Салтыкова. Он сказал мне, что у Салтыкова действительно есть порок сердца, что с этим пороком можно прожить и двадцать лет, но нельзя ручаться ни за

один день, и что теперь его положение не представляет ничего исключительно опасного.

В. П.

Салтыков, само собой разумеется, не мог не знать об отношении, проявленном к нему Некрасовым во время его болезни, и когда Некрасов весной 1876 г. в свою очередь заболел, заболел недугом, от которого ему не суждено было поправиться, он оплатил ему тою же монетою. Нами не так давно были напечатаны («Книга и Революция», 1921 г., № 2) три письма Салтыкова к Некрасову, относящиеся ко времени пребывания Некрасова в Крыму, куда он уехал с лечебными целями в конце августа 1876 г. Проявившееся в этих письмах отношение Салтыкова к Некрасову полно искреннего и глубокого участия, рожденного прежде всего сознанием, что покидает поле битвы незаменимый соратник, многоопытный боец, с которым Салтыкову пришлось бок-о-бок сражаться в течение долгих лет, отстаивая одно и то же знамя, — а затем непосредственным сочувствием к близкому человеку, в невероятных страданиях сводившему свои расчеты с жизнью.

Литература и искусство

1. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. Очерки современной литературы. Преодоления «Зависти»
2. Л. ГРОСМАН. Исторический фон «Выстрела». — 3. А. ЛЕЖНЕВ. Критика «Критиков» (статья вторая). — 4. Л. БЕРЕЗИН. О стихах М. Зенкевича, — 5. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Не затягивайтесь. Из цикла «Халтуроведение».

1. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕОДОЛЕНИЕ „ЗАВИСТИ“

(О произведениях Юрия Олеши).

Вяч. Полонский

И вот блуждаю я, последний мечтатель
земли, по краям ямы, как раненый нетопырь.
«Ю, О л е ш а, «з а в и с т ь».

I

Юрий Олеша признан всей нашей критикой. Его успех лишний раз показывает, как самоочевидно подлинное искусство. Можно быть недовольным приемами письма автора «Зависти», особенностями его мировоззрения, но нельзя не поддаться очарованию его живописи. С первой же страницы она покорила читателя.

Если оставим в стороне «философию» романа, о которой будем говорить ниже, а взглянем на «Зависть» со стороны ее «заразительности», — то увидим, что сила романа в его исключительной образности. Юрий Олеша образно видит мир. Эта способность не делает еще человека мастером искусства. Но Олеша в превосходной степени владеет способностью мир образно построить. А это переводит его в разряд художников. Он умеет так показать качество вещи, ее фактуру, шершавую поверхность, что восприятие наше становится как бы материализованным, видимым наощупь, до осязательности реальным. Говорит ли автор о воде, рассыпающейся по соломе «полными чистыми каплями», или о пене, которая, падая в таз, «закипает как блин», или о пи-

ве, «ляпающем» на мрамор, или о подушке, которая, ударяясь на ходу о колено, меняет свою форму, или о спине, опоясанной жиром, как «шиной», или о блистающем облаке, похожем на Южную Америку, — он находит слова, сравнения, эпитеты, воспроизводящие объект перед глазами. Это не разговор о предметах, но самые предметы, созданные приемами искусства. Кавалеров, герой «Зависти», уверяет, будто его не любят вещи. Этого не мог бы сказать автор повести: вещи, как ручные голуби, шумят вокруг него. Они открывают ему не только имена, но все свои тайны, — поэтому с такой легкостью воспроизводит он их неслышную жизнь. Он — повелитель вещей, они послушны его руке; он слышит их дыхание. Оттого-то «шебечет» стеклянная пробка флакона, а трубы басов смахивают на «слоновые уши»; жареные пироги в корзине торговли, «остывающие», еще не испустившие жара «жизни», возятся, как щенки, «почти что лопочут под одеялом»; подушка, опущенная на землю, садится рядом, «как свинья», буфет — «смеется», колбаса, с вспотевшей поверхностью, с веревочным хвостиком, свисает с ладони, «как нечто живое», и даже мусор, валяющийся в черном ку-

бе люка, «живет и шевелится», даже диван таит живой звон тугих, девственных пружин.

Сравнения Олеши неожиданны и удачны. С помощью сравнений ему удается не только заострить представление о предмете, но вызвать более сложный эффект. Кавалеров, обиженный пьяной компанией, идет к своему столику, «неся впереди кружку как фонарь»; Иван Бабичев, разглагольствуя, «стучит кружкой по мрамору, как копытом»; в другом случае он размахивает кружками «как гирыми». Благодаря этим сравнениям, мы видим не только кружку, но характер движений человека, размахивающего ею.

Олеша лаконичен и стремителен. Это делает динамической его прозу. Динамизм — черта, характернейшая для прозы Юрия Олеши: он строит мир в непрерывном изменении. Индустриальная эпоха выдвинула перед искусством проблему движения. Ее не разрешил футуризм. Она стоит перед нами. Она отрицает натурализм, статику старого реализма. Она требует динамической формы. С этой стороны приемы автора «Зависти» крайне современные. «Птица на ветке сверкнула, дернулась и шелкнула, чем-то напоминая машинку для стрижки волос» — здесь сохранен маленький вихрь, трепет крыльев. А вот несколько строчек, насыщенных движением: «Грянул марш. Приехал наркомвоен. Быстро опережая спутников, прошел наркомвоен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась за ним». Автор пользуется множеством приемов, с целью дать динамическую картину мира. Он преломляет его в стеклах, зеркалах, показывает закат отраженным в медном тазу на плече уходящего цыгана. Прием этот можно было бы назвать приемом концентрации движения, собирания и преломления его. «По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути». «Окно пляшет в тазу с водой, стоящем подле; голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы». Здесь движение сгущено, как солнце «в металлических пластинках

подтяжек двумя жгучими пучками». Вот описание утра, в котором динамизм обнажен:

«Дрожа, я поднялся. Зевота трясла меня, как пса.

(Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик пробежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось»).

Чтобы усилить ощущение движения, он прибегает к остроумному приему: иногда останавливает его. Жизнь замирает. Именно с этой целью включена сцена ареста Ивана на улице.

«...Поток движения осекся. Чуть ли не вздыбились многие машины, налетев на переднюю, и автобус, заревев, остановился, весь придя в беспокойство, готовый покориться, поднять словные свои шины и попятиться...

И все смолкло...

— В ГПУ! — сказал Андрей Бабичев.

Едва произнесено было волшебное слово, как все, встрепенувшись, вышло из летаргии: сверкнули спицы, втулки завертелись, захлопали двери, и все те действия, которые начаты были до летаргии, получили свое дальнейшее развитие».

Олеша умеет видеть так, как не видит обыкновенный смертный. Он играет своим зрением, как биноклем, приставляя его к глазам читателя. Тогда читатель замечает, что соль, спадая с кончика ножа, не оставляет никаких следов — нож блещет, как нетронутый, что «пенсэ» переезжает переносицу, как велосипед, что человека окружают маленькие надписи, «разбредшийся муравейник надписей: на вилках, ножах, тарелках, оправках пенсэ, пуговицах, карандашах. Никто не замечает их: они ведут борьбу за существование». Вот перевернул он бинокль, сделал его «обратным», и мир — замечает автор, выиграл в блеске, яркости и стереоскопичности. «Краски и контуры как будто уточняются». Вещь, поясняет он, оставаясь

знакомой вещью, вдруг делается до смешного малой, непривычной. «Это вызывает в наблюдателе детские представления». Тогда становится заметным, что вагон крашен кармином, а мостовая далеко не одноцветна: некоторые булыжники даже зеленые, а трамвай «сечет по краю бульвара, как нож по тарту». Показав нам невиданные картины, Олеша напоминает об одной из функций искусства — расширять бытие человека, вооружать его новым зрением, показывать мир чужими глазами, обнаруживать в нем краски и формы, незаметные или малозаметные ранее. Многочисленны приемы, с помощью которых искусство достигает такого эффекта. Олеша преимущественно пользуется тем, который он называет «детскою представлением». Прием этот позволяет автору показывать вещь с неожиданных, а потому впечатляющих, возбуждающих внимание сторон. Он производит при этом в нашем созерцании мира небывалые перемены, нарушает оптику, геометрию, естество, удаляет перспективу, сгущает краски, смещает плоскости, показывает нам отражение мира то в уличных зеркалах, то в окопных стеклах, то в пуговицах. Этим он «остраняет» вещи, делает их новыми, невиданными, острыми. Оттого-то мир, построенный в «Зависти» так свеж, молод — стереоскопически глубок, многопланен и вызывает сильное, как бы неслыханное, впечатление.

Нет необходимости подробно говорить о социальной природе такой именно зрительной способности. Это зрение, выросшее на улице современного города, в шуме движения, среди пересекающихся плоскостей зеркал и витрин, в стальных петлях рельсовых путей, где все течет, меняет формы и

краски, тревожит, выбивает из колеи, держит в постоянном беспокойстве. В молодой советской литературе Олеша один из самых ярких представителей городской, урбанистической стихии. В нем нет ничего от деревни, от ее полей и лесов, медлительности, неповоротливости. Олеша — художник города, горожанин до кончиков ногтей.

II

Можно ли назвать «реализмом» направление Олеша? Нет. Хотя элементы реализма в нем бесспорны. Можно указать даже на обилие натуралистических деталей, грубой физиологии — но они играют служебную роль. Они появляются, чтобы послужить заостряющим выразительным средством. В стиле Олеша много импрессионизма. Он не боится характеризовать предметы с неожиданных, мимолетных точек зрения. Это происходит, когда опять-таки является необходимость в сильнейшем изобразительном средстве.



Юрий Олеша

Он перебрасывает, например, Андрея Бабичева по воздуху, показывая снизу его ноздри — ноздри медного истукана, — нарушая законы реального, чтобы подчеркнуть его монументальность в представлении Кавалерова («неодолимый идол с выпученными глазами»). Соединение приемов реальной, даже натуралистической живописи с смелым импрессионизмом характерно для Олеша. Это соединение дало ему возможность построить удивительный образ Анички Прокопович, реальный и символический вместе; рядом с ней потускнела когда-то пугавшая Федора Сологуба бабаща дебелия и румяная, но безобразная. Соединение реализма и символизма также характерно для

нашего автора: некоторые образы, построенные реально, даются в плане символическом. Вдова Прокопович не просто рыхлая стряпуха, которую можно «выдавливать, как ливерную колбасу». Это символ пошлой жизни, куда падает Кавалеров. Так же точно «девушка в розовом», которая, пробежав, прошумела, как ветвь, полная цветов и листьев — символ идеальной действительности, Кавалерову недоступной. В «Зависти» можно наблюдать как-будто смещение стилей, — это дало основание Д. Тальникову говорить об эклектическом синтезе Олеси. Но, во-первых, эклектика отрицает синтез. Где есть синтез — там нет эклектики, эклектический синтез — nonsens. А во-вторых, и это решает вопрос о характере письма Олеси, в его прозе мы наблюдаем не механическое, а органическое соединение элементов натурализма, реализма, импрессионизма, символизма. Это не смесь, а химическое соединение. Другими словами — заключая в себе эти элементы, приемы Олеси представляют собой образование, качественно, как целое, отличающееся от вошедших в него частей.

Его прозу можно было бы назвать экспериментальной. Она идет навстречу требованиям, которые ставит художнику современное искусство: дать максимально выразительный, насыщенный до предела, полновесный, полнокровный, движущийся образ. Не имена вещей, не их понятия, — но подлинный вещный мир, с плотью и кровью, с весом и мерой, с шершавой поверхностью, осязаемой и цветной, с психологией и физиологией, со всех сторон, — но с помощью минимальной затраты средств и времени. Не в статике, остановке, но в движении, в потоке непрерывной трансформации, диалектической смене форм. Максимум выразительности при минимуме затрат — так, приблизительно, можно было бы алгебраически охарактеризовать задачу, к выполнению которой стремится передовое искусство наших дней, химически переплавляя старые стилистические приемы. На Западе эту задачу ставили, но не осуществили в Германии экспрессионисты. У нас к той же

цели стремится молодая наша проза. Юрий Олеша не реалист, не символист, не импрессионист. Из новейших направлений он ближе всего к экспрессионистам.

Экспрессионизм не создавал законченного стиля. Он — один из путей, ведущих к стилю современности. Здесь не место подробно говорить об этом, отметим лишь, что задача создания нового стиля, выражающего набу индустриальную эпоху, с ее стремительным движением, с отрицанием прошлого, с тягой к будущему, а значит, к творчеству новых форм, качественно отличных от прежних, — эта задача даже в малой мере не разрешена нашим литературным движением. Она только ставится... И появление произведений, подобных «Зависти» — благодаря смелости, с какой реализму и натурализму противопоставляются опыты новых стилистических достижений — независимо от их идеологических эффектов — играют глубоко положительную роль.

III

Острая выразительность приемов Олеси сопровождается их простотой. Проста конструкция отдельных образов — будь то образ человека, или образ-метафора. Проста, наконец, композиция романа. В нем нет сложной фабулы, запутываемых и распутываемых узлов сюжета. Сила романа в легкой человеческих обликов, в психологической глубине их характеристик. «Зависть» — роман характеров, или лучше — социальных типов. Кавалеров, Иван Бабичев, Аничка Прокопович — с одной стороны. Андрей Бабичев, Володя Макаров, Валичка — с другой. Это два мира, между которыми борьба. Предлог для столкновений: коммунист Андрей Бабичев подбирает на улице пьяного Кавалерова и приводит к себе. Все остальное — лишь показ враждебных друг другу образов, их взаимного понимания и непонимания. Социальная непримиримость характеров показана в их философских и психологических особенностях.

При этом действующие лица обобщены. Индивидуальным психологическим

чертам дана яркая социальная окраска. За каждым из них стоит социальный слой, группа (Кавалеров, Бабичев), либо символическое обобщение (вдова Прокопович, Валичка). Такая структура образов — реальных и символических — позволяет автору конденсировать и углублять социально-психологический конфликт, лежащий в основе замысла. Поэтому и рассмотрение романа по существу должно явиться рассмотрением его действующих лиц, анализом их обликов. Такому методу мы и последуем. Николай Кавалеров в центре романа. Познакомимся с Николаем Кавалеровым.

IV

«Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы и самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия,— вот это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системные теории постоянно разлетаются к чорту»...
 ...«Человеку надо одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

Достоевский, «Записки из подполья».

Кавалеров — рафинированный интеллигент старой, буржуазной эпохи. Он эстет. Он несет в себе груз вековой культуры, но ему нечего с ним делать: груз оказывается бременем. Это потому, что Кавалеров оторван от действительной жизни. Живой мир играет перед глазами, вещи дразнят его, противоположения и соединения складывают перед ним затейливые узоры — все это остается в пределах созерцания. Созерцание не переходит в действие. Это создает конфликт между Кавалеровым и его собственным сознанием. Он в постоянной борьбе с самим собой. Его терзает неудовлетворенность. Ему мерещится мир старинных битв, оленей и романтики. Но романтическому миру, «трепещущему, как надкрылья насекомого», противостоит реальная, трехмерная советская действительность, которой он принять не

может. Кавалеров в конфликте с советской современностью. Он расколот, раздвоен, — человек гамлетовской складки, резиньатор и неврастеник.

Основная черта его характера — двойственность. По его словам, он — «комик», толстенный человечек в укороченных брючках. Вместе с тем, этот «комик» обуюн великой гордыней. Он полон самоуничижения и величия. Он размышляет о знаменитом нашем времени. Ему кажется, что прекрасна его судьба, ибо молодость его совпала с молодостью века. Он восторженно глотает слезы, следя, как времена проносятся мимо... «Гул времени», который дано услышать немногим, ловит его обостренный слух. Он хочет, чтобы в этом гуле гудело и его имя. Но этого не хочет его знаменитый век. Век мешает ему. Не дает простора. Кавалеров хотел бы приковать к себе внимание всего мира, но — печальная судьба! — он принужден сочинять пошленькие куплеты для эстрадников:

В учрежденьи шум и тарарам,
 Все давно смешалось там.
 Машинистке Лизочке Каплан
 Подарили барабан...

Какая чепуха! Советская действительность ничего другого не предоставила Кавалерову. Он мечтает поэтом о Европе. Там, думает он, одаренный человек имеет большой простор для достижения славы... А в нашей стране «дороги славы заграждены шлагбаумами. Одаренный человек должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум». Столкновение Кавалерова с «веком» и составляет основу конфликта. Кавалеров хочет показать силу своей личности. Но ему сказали: теперь не то что твоя, самая замечательная личность — ничто. Это приводит его в отчаяние. Он мог бы пройти по канату через Ниагарский водопад, сделаться знаменитым музыкантом, писателем, полководцем, он мог бы схватить свою славу, — но кому это нужно! Все, напротив говорят о «целеустремленности, полезности», требуют от человека «трезвого, реалистического подхода к вещам и событиям». Нашему протестанту, наоборот, хочется «вдруг взять и сотворить что-нибудь явно

нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом:

«Да вот вы так, а я так. Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел».

Кавалеров полагает, что он оригинален. Увы! Мы слышали это. Здесь обнаруживается одно из несчастий Кавалерова: он — эпигон.

Генеалогию свою наш протестант ведет от человека из «подполья» — на это справедливо указала критика. А единство социального источника, питающего протест, обуславливает и формы протеста и его философское существо. Потому-то ничего нового в протесте Кавалерова мы не находим. Про своеволие? Слышали! Кавалеров противопоставляет «свою собственную славу» выгоде общественной, коллективной. «Знаменитый век» этого-то ему, как раз, и не позволяет. В «Заговоре чувств», пьесе, переделанной автором из «Зависти», это столкновение нашего эпигона с «новым веком», от лица которого говорит Андрей Бабичев, подчеркнуто выпукло.

Кавалеров: Вы говорите, что личная слава должна исчезнуть? Вы говорите, что личность — ничто, а есть только масса? Так вы говорите?

Андрей: Так мы говорим.

Кавалеров: Чепуха! Я хочу моей собственной славы. Я требую внимания».

Этого внимания «новый век» ему оказать не хочет. В виде протеста Кавалеров почти пародирует человека из «подполья». Он бросает вызов «веку». Он готов на безрассудство:

«Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повесть у вас над подъездом».

Кавалерова стесняет «общественное». Он протестует против уз, наложенных на личность. Он хочет освободить индивидуальность, опрокинуть вверх тормашками всеобщее благоразумие. Он хочет утвердить своеволие личности. Его романтизм связан с индивидуализмом.

Ж. Эльсберг в статье, посвященной «Зависти», — писал о трагедии Кавалерова, как трагедии современного индивидуализма. Но ведь трагедия Кавалерова в том и состоит, что индивидуализм его не современный. Кавалеров живет реминисценциями уходящей эпохи. Он сознает это. Индивидуализм его — буржуазный, анархический индивидуализм. Это необходимо трижды подчеркнуть. Не то плохо, что в Кавалерове обострено чувство личности. Беда нашего героя в том, что это чувство выросло на буржуазной основе. Поэтому оно реакционно, эгоистично, себялюбиво.

Кавалеров ощущает общество как врага. Реакционность кавалеровского романтизма мешает ему понять современность. Он уходит в мир, создаваемый его воображением, в мир призраков. Отсюда — его визионерство, любовь к зеркалам, смакование «восхитительных противоположностей», бесплодная мечтательность. Он созерцатель по преимуществу. Поэтому Кавалеров часто говорит о «снах». Ему «другое снится». Он живет двойной жизнью: реальной, когда в беседах с Андреем Бабичевым протестует против современности, и в снах, когда трепещут сквозные надкрылья насекомого, когда мерещится ему зеленая трава старинных битв, оленей и романтики.

Он вслушивается в реальный колокольный звон. Из медных звуков возникает некое романтическое видение. Том Вирлирли реет в воздухе.

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой.

«Так в романтическую, — с иронией раскрывает смысл образа Кавалеров, — явно западно-европейского характера греза превратился во мне звон обыкновенной московской церковки».

Автор с большой смелостью сводит эту грезу из мира романтического в мир реальный. Еще звенели в ушах Кавалерова звуки «Том Вирлирли» — в дверь постучали: вошел юноша с котомкой за плечами — Володя Макаров.

Положение Кавалерова между миром реальным и романтическим делает его двойственным. Он не лишен чувства

реальности. В нем иногда подымает голос второй его лик. Реалист борется с романтиком. Романтик, вслушиваясь в гул времени, обуян гордыней, а реалист смеется над коротеньким толстяком. Романтик хочет поразить мир злодейством, реалист отзывается о нем с иронией: «Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не сделал». Кавалеров чувствует свое ничтожество в мире реальном. Здесь он всем чужой. Он с удивительной силой говорит, как его не любят вещи, как мебель норovit подставить ему ножку, как какой-то лакированный угол однажды буквально укусил его. Но, отвернувшись от мира реального, Кавалеров не находит успокоения в мире призрачном. В Кавалерове же много сил: ему недостаточно повторять имя Вали. Он хочет Валу настоящую, ту, у которой на груди голубая рогатка вены, платье которой может придти в беспорядок, и тогда делается видной покрытая загаром грудь.

Перед нами превосходно построенный облик одного нашего современника. Это — буржуазный интеллигент, сбитый с ног в эпоху пролетарской революции и выброшенный на улицу. Он — за вчерашний день. Он — за прошлое. Жизнь и борьба бегут как бы за стеклянной стеной, в недоступном мире. Кавалеров может лишь ловить зрением поток вещей, проносащихся мимо в зеркалах, стеклах витрин, отражениях и преломлениях. Он протягивает к ним руки, повторяя их имена, отдаваясь мечтательности отчаяния. Кавалеров — символ уходящего буржуазного индивидуализма, ненужный человек. Не Кавалеров отверг современность. Напротив: современность отвергла Кавалерова. За его именем скрывается социальный слой рафинированной, упадочнической, эстествующей интеллигенции, которой ничего не остается, как гордо бросить свое презрение реальному, побеждающему коллективистическому миру. Он удаляется в ту самую «башню со стеклами цветными», где спасались от мир-

ской суеты романтики всех времен и народов, парнасцы и декаденты. Разница та, что парнасцы и декаденты рассчитывали на что-то в будущем. У Кавалеровых никаких надежд нет.

Они «бледною немочью» заражены. Это про них, или от их имени написал Э. Багрицкий одно из замечательнейших своих стихотворений:

...горечь полныи на наших губах...
 Нам—нож не по кисти,
 Перо—не по нраву
 Кирка—не по чести,
 И слава—не в славу:
 Мы—ржавые листья
 На ржавых дубах...
 Чуть ветер,
 Чуть север
 И мы облетаем.

Чей путь мы собою теперь устилаем?
 Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
 Потопчут ли нас трубачи молодые?
 Взойдут ли над нами созвездья чужие?
 Мы—ржавых дубов облетевший уют...

(«Югозапад»).

«Ясно, все идет к гибели, — говорит Кавалерову Иван Бабичев, — все предначертано, выхода нет, — вам погибать!» Погибать», — это ясно.

Кого история хочет наказать, у того отнимает разум. Кавалеров — наказан историей. Ему поэтому изменяет разум. Кавалеров не может преодолеть своего внутреннего конфликта. У него — гипертрофия чувства. Он лишен мировоззрения: у него одно лишь мироощущение, диктатура психологии, поток настроений, колеблющихся между полюсами реального и идеального, между миром имен и миром вещей. Он трезит «новому веку» злодейством, хочет убить счастливого соперника, но убийство будет бесцельным—безмотивный террор, протест в пустое пространство, мыльный пузырь, окрашенный радугой. Нет смысла, потому что нет цели. Ибо история замкнула перед Кавалеровым не только шлагбаум славы, но пути жизни вообще. Итти ему некуда, кроме как в ночной мир фантазии. Но мир этот—обман, разоблаченный самим Кавалеровым. Он не верит самому себе. Он боится довести до конца логику своего обреченного положения. Он упрямится. Это делает за него Иван Бабичев.

V

...Бежит и слышит за собой
 Как-будто грома грохотанье
 Тяжело-звонкое скаканье
 По потрясенной мостовой.
 И, озарен луною бледной,
 Простерши руку в вышине,
 За ним несется Всадник Медный
 На звонко скачущем коне...

А. Пупкин.

Идет, идет он, страшный вестник,
 Пятой громоздкой чащи ломит.
 И все сильней тоскуют песни
 Под лягушинный писк в соломе.

С. Есенин.

Иван — обезьяна Кавалерова. Он договаривает то, чего не договаривает Кавалеров. Без Ивана облик нашего романтика был бы не полон. Если Кавалеров начало, Иван Бабичев — конец. Все, что дано в Кавалерове в высоком стиле — в Иване Бабичеве сведено к фарсу.

Иван — это направление, куда ратует Кавалеров. Мироощущение его подобно кавалеровскому: это родственные социально-психологические типы. Мы узнаем кое-что об его профессии инженера, — но, добавляет автор, — «не вязалось с ним представление об инженерской душе, о близости к машинам, к металлу, чертежам». Вместе с Кавалеровым — он враг техники, машинной цивилизации, романтик прошлого, поэт доиндустриальной культуры. Но если Кавалеров — мечтатель, Иван хочет быть практиком. Иван — деловая сторона Кавалерова. Он не только ненавидит машину, — он хочет ее уничтожить, укротить мастодонта техники... Его технические познания послужили ему, чтобы обратиться против техники. Мимоходом брошенное Кавалеровым замечание, что он не понимает механику и боится машин — развито Иваном в систему антииндустриализма. Чтобы уничтожить мастодонта он изобрел собственную машину, анти-машину, и дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви — имя Офелии. «Величайшее создание техники я наделил пошлейшими человеческими чувствами» — уверяет он, полагая, что это верный путь к победе над машиной.

Кавалеров ощущает свою противоположность новому миру, но не договаривается до столкновения двух миров:

дальше сознания своей обреченности и бессилия он не идет. Иван шагает дальше. Он оформляет романтическую грусть Кавалерова. Кавалеров тешился иллюзиями. У Ивана иллюзий нет. Он знает, что «их» не пустят на праздник, что их отвергла новая эпоха, что все у них позади. Он ощущает свою кровную связь с повергнутыми властителями жизни.

«— Мой милый, мы были рекордсменами, мы тоже избалованы поклонением, мы тоже привыкли главенствовать там, у себя... где у себя? Там, в тускнеющей эпохе. О, как прекрасен поднимающийся мир, о, как разблещается праздник, куда нас не пустят. Все идет от нее, от новой эпохи, все стягивается к ней, лучшие дары и восторги получит она. Я люблю его, этот мир, надвигающийся на меня, больше жизни, поклоняюсь ему и всеми силами ненавижу его!».

Он называет себя последним Дон-Кихотом. Но он ошибается. В нем больше от Санчо-Нансы. На словах цепляющийся за романтическое высокое прошлое, он на деле защищает то низкое, что прямехонько ведет его к символической постели Анички Прокатович. Не тонкая Дульцинея, о которой мечтает Кавалеров, а пошлая Альдонса — удел Ивана Бабичева. Его бунт против «нового мира» оформляется, как восстание на защиту «домашнего очага». Он демагог: он зовет на бунт всех, кто за очаг, за семью, за теплый старый дом. Он хочет остановить тяжелый шаг «слонов революции». Он — контрреволюционер.

На допросе Иван развивает следователю систему отрицания нового мира. Сквозь маску болтуна, упадочника, завсегда пивной виден пародийный облик великого трагика — не зря же автор показывает мимоходом, как котелок Ивана с'ехал на затылок и открылся «большой, ясный, усталого человека лоб».

Иван именуется королем пошляков — но это уничтожение паче гордости. Он ведь газывает себя также «мозгом старого века», умевшим сочинять не только формулы, но и песни. Он хочет открыть глаза обреченным. Кому? Тем, в ком не умерли еще чувства жа-

лости, нежности, гордости, ревности, любви. Оказывается, наличие этих чувств отличает человека «кончающейся эры» от человека нового мира. В новом мире этих чувств не будет. «Эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души». Каких? О них можно видеть по Андрею Бабичеву и его наследнику — Володе Макарову. Это будут, если можно так выразиться, «бесчувственные состояния». Богатство чувств — на стороне старого века. Чувства, которыми гордился человек, — так говорит Иван Бабичев, — оказываются чувствами упадочными, подлежащими уничтожению. Им нет места в новом мире. «Новый человек, — замечает он следовательно, — приучает себя презирать старинные, прославленные поэтами и самой музой истории чувства». Он сравнивает эти чувства с вольфрамовыми нитями, — накаленные добела в лампочке, они-то и дают ощущение света. Новый век разрушит их. Тогда наступит тьма, и во тьме будут лишь позванивать мертвые, обгоревшие нити. Иван поэтому против нового века. Он за чувства! Он устраивает последний парад обреченных чувств. Он хочет «встряхнуть сердце перегоревшей эпохи», чтобы нити соединились на мгновение и вновь вспыхнули, — на секунду. Он зовет за собой «носителей великих чувств, ныне признанных ничтожными и пошлыми».

Такова проповедь Ивана Бабичева. Он снижает ее пафос, называя себя королем пошляков, королем подушек. Он превращает ее в пародию. Ибо сам не верит в нее. Конец концов: «Нас гложет зависть, — говорит он Кавалерову.—Мы завидуем грядущей эпохе». Но эта характеристика наводит на ложный след. Если дело в «зависти» — от нее можно было бы избавиться. Как? Ступить ногой на новую землю. Это невозможно. Почему? Потому что Кавалеровы обречены. В каком смысле? В том именно смысле, что не могут примириться с новым миром и не хотят перекинуть к нему мостов. Потому, что новый мир — не их мир. В новом мире, по их убеждению, — будет тьма. Но их обуревают те самые чувства,

которым несет он смерть. Чему же они завидуют? Духовному окостенению, бесчувственности, ожидающей, по их убеждению, человека нового мира? На ложный след наводит Иван Бабичев. Он — сгусток ненависти, а не зависти. Он ненавидит новый мир, боится его, не хочет его, — оттого-то и предлагает Кавалерову «устроить скандал, уйти с треском, хлопнуть, как говорится, дверью». Ему кажется даже, что самое главное: «уйти с треском. Чтобы шрам остался на морде истории»... Он поэтизирует театральный уход, убежден, что им один путь: погибать. Но он хочет гибель свою украсить фейерверком. Уходя, попрощаться так, чтобы их «до свидания» раскатилось по векам.

Он зовет к бунту. Надев маску «пошляка», «короля подушек», он рассчитывает не только на «честных мещан», «людей, верных традициям», на отцов, «леелеющих дочерей». Он обращается также к «сильным личностям», людям, решившим жить по-своему, эгоистам, упрямам. Он призывает старый мир восстать на новый, объявить ему войну, — а так как надежды победить нет, погибнуть с треском. Он не хочет «сойти на-нет капельками, мелким водяным кипением». «Нет, друзья мои, не так вы должны погибнуть», — говорит он. У него есть поэтому все основания сказать брату Андрею:

«— Ты — вождь, но я вождь тоже».

Против кого же собственно ведет Иван Бабичев свои когорты обреченных? Против брата Андрея, колбасника и повара? Нет. Андрей — только вождь. За Андреем — новая эра, та самая, что разрушит вольфрамовы нити и погасит свет прекрасных человеческих чувств. Мы слышали имя врага. «Эра социализма» Вот он «страшный вестник» — «медный всадник» наших дней, тяжело-звонкое скаканье которого устрашает Кавалеровых. Эту именно эру и несет Андрей Бабичев. Таков смысл противопоставления «великого колбасника» нашим уходящим героям. Такова объективная роль, какую в романе играет Андрей.

Из этого элементарного противопоставления и родилось убеждение некоторой части нашей критики в глубо-

кой положительности Андрея Бабичева. Он был провозглашен новым человеком, героем нашего времени.

Так ли это на деле?

VI

Андрея Бабичева можно было бы назвать анти-Кавалеровым. Кавалеров — романтик. Бабичев — реалист. Кавалеров — мечтатель, Бабичев — весь в практике. Кавалеров живет в мире имен вещей, Бабичев — в мире вещей. Кавалеров мыслит чувствами; Бабичев, напротив, даже чувствует мыслями. В Кавалерове гипертрофия чувства; в Бабичеве — гипертрофия рассудка. Если воспользоваться символической повестью, в душе Кавалерова — цветы; в душе Бабичева — цифры. Кавалеров — несчастен. Бабичев — воплощение удовлетворенности. Кавалеров — лирик. Бабичев — эпически невозмутим. Кавалеров мечтает о несбыточном будущем. Бабичев — знает лишь осуществимое настоящее. Любому свойству Кавалерова соответствует с обратным знаком свойство Бабичева. Кавалерова не любят вещи — Бабичеву они отдаются. Ирония судьбы: ваза, похожая на фламинго, восхищающая Кавалерова, находится в обладании Бабичева. Кавалеров мечтает о Вале — Валя будет принадлежать Андрею или Володе Макарову, что одно и то же. Кавалеров — уничтожен. Андрей — победитель. Наши симпатии на стороне последнего. Мы говорим побежденному: скатертью дорога! Но мы хотим критически отнестись к победителю. Мы всматриваемся в его лицо. Нас тревожат некоторые его черты: победитель нам перестает нравиться. Тот ли он, за кого мы его приняли?

Двойственность этого персонажа произошла прежде всего потому, что облик его написан кистью Кавалерова. Глазами Кавалерова показан Андрей Бабичев. Наш мечтатель не пощадил врага: последний получился выпуклым и живым, как портрет, выходящий из рамы.

Рисуя Андрея, Кавалеров ограничился преимущественно изображением его внешних черт. Внутреннего мира у Бабичева не оказалось. Кавалеров ли-

бо скрыл его от нас, либо в самом деле нечего было изображать. Мы видим Бабичева со всех сторон, знаем вес его тела, упругость его кишечника, слышим, как поет он по утрам в клозете, нам известно: он начинает полнеть — несколько новых гимнастических упражнений будут ему, конечно, полезны. Он элегантен, носит серый костюм, от него пахнет одеколоном. У него прекрасная квартира. В квартире чудесная ваза, похожая на фламинго. Но у него нет воображения. Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница. Он не смеется, а давится от хохота. Он ржет.. Он не спрашивает, но у него иногда выскакивают вопросы, совершенно неожиданные. Он невежествен. Он не знает Йокасты. Его лицо похоже на румяный горшок. У него потная шея. Во сне он храпит. Он обжора. Яичницу он ест со сковороды, «откалывая куски белка, как облупливают эмаль». Его глаза при этом наливаются кровью, он снимает и надевает пенсенз, чавкает, сопит, у него во время еды двигаются уши. «Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока и бросил. Имя Офелия кажется ему бредом. У него нет сомнений. Валя передает ему слова Кавалерова о ветви, полной цветов и листьев, — Бабичев отвечает: «Что? Ветвь? Это, наверно, какой-нибудь алкоголик». У него нет общих идей. В его языке, суконом и тусклом нет красок и обобщений. Он весь в сегодняшнем дне, в работе, в делечестве. Он — великий колбасник, кондитер и повар. Он жаден и ревнив. Он строит столовую. «Это будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак».

«Четвертак» — так называется «хрустальный дворец», воздвигаемый Андреем. Если Кавалеров символизирует личность, оторванную от общества, отвергающую общество, — Бабичев — символ этого общества. В нем сосредоточилось все, против чего бунтует Кавалеров. Бабичев — как бы образцовый представитель общества, выразитель его потребностей, его поэт, его жрец; не случайно Кавалеров бросает мимо-

ходом про его смех: это хохот жреца. Если Кавалеров — символ романтика, Андрей Бабичев — символ реалиста. «Кто превратит мои цифры в цветы?» — с иронией спрашивает Андрей. Он сознает свою социальную значительность. Он мог бы сказать: «общество — это я»... «Против кого ты воюешь, негодяй!» — грозно бросает он брату Ивану.

Таков Андрей Бабичев глазами Кавалерова. Автор отдал Бабичева Николаю Кавалерову, так сказать, в концессию. Кавалеров и преподнес нам его таким, каким он, Кавалеров, пожелал. Это подрывает доверие к Бабичеву. Мы видим: образ Бабичева ироничен. Андрей Бабичев — пародия. Но автор подает его всерьез. Этой-то серьезностью он и обманул критиков. И режиссер театра Вахтангова, Потов, талантливейший режиссер, постановщик «Заговора чувств», был глубочайше убежден, что, воздвигая монумент Андрею, он создает апологию нового человека нашего времени.

«Заурядная личность» — бросает Бабичеву Кавалеров. Разве Кавалеров не прав? Андрей строит «Четвертак» — что ж из того! Мало разве «четвертков» понастроено в Европе? Энергичная деятельность Бабичева стремится к маленьким целям. О, разумеется, со стороны утилитарной она несоизмерима с романтическими причитаниями Кавалерова. Кто ж будет спорить, что Бабичев в житейском узком плане полезней Кавалерова. Разумеется, маленький деревянный дом лучше, чем большая каменная болезнь, — но удовлетворится ли этим маленьким домом человечество? О «Четвертаке» ли идет речь, когда мы говорим о великой пролетарской революции, о социалистическом строительстве невиданного размаха, о реконструкции мира, об освобождении человека? Когда великий колбасник и кондитер строит «Четвертак» — с прилежанием и любовью — да будет ему триумф! Но стоило ли огород городить, если «Четвертак», огромная кухня эта выдвигается как «смысл философии всей», как прообраз грядущего нового мира? А ведь в этом все дело. «Четвертак» — пародия, так же точно, как его строитель, великий

обжора и колбасник, Андрей Бабичев, является пародией на подлинного и великого реконструктора мира.

«Еще одно-другое достижение в колбасном деле; еще одна-другая удешевленная столовая, вот предел вашей деятельности» — говорит Кавалеров Бабичеву. И здесь Кавалеров прав. Бабичев плоский и пошлый. Маленькое дело только тогда теряет свой мещанский характер, когда строится в большом плане. Мелкое средство для большой цели. Именно большой план — хотя бы и далекий — никогда незабываемый, оправдывает пафос малых дел. Но тогда исчезает малое дело. Оно становится великим. Пафос Бабичева велик, но дело его мелко.

Автор позволяет Кавалерову с великопнейшей иронией издеваться над великим кондитером:

«...О чем с таким вдохновением говорит... тучный гигант в синих подтяжках? На вилке он держит кусок колбасы. Уже давно пора исчезнуть кружку во рту говорящего, и он никак не может исчезнуть, потому что говорящий слишком увлечен своей речью. О чем говорит он?»

— Сосисок у нас не умеют делать! — говорил гигант в синих подтяжках. — Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон. Вы — еврей, ничего не понимаете в сосисках, — вам нравится кошерное, подсоленное мясо... У нас нет сосисок... Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добыю, вот увидите, я сделаю такие сосиски.

Мы сочувствуем изобретателю сосисок. Кто станет доказывать, будто нашей стране не нужны хорошие сосиски! Нашей стране нужно еще много хороших вещей. Но все это нужно в каком-то общем плане. Где этот «план» у Андрея Бабичева? Его нет. Место общего плана занял «Четвертак». Средство сделалось целью. Настоящая цель, оправдывавшая увлечение средством, исчезла. Революционер превратился в колбасника. «Хрустальный дворец» — в мещанский «Четвертак». Пафос Бабичева кажется великим, когда это пафос колбасника. Он делается ничтожным и начинает казаться пародией, когда выдается за пафос комму-

ниста. Все на свете относительно. Если бы перед нами был владелец колбасного производства «Бабичев, Макаров и К^о», не было бы трагедии социального порядка. «Зависть» рождается там, где колбасник становится коммунистом, т. е. выступает в роли реконструктора мира, строителя завтрашнего дня, героя нашего времени. Именно как «герой нашего времени» выступает Андрей против Кавалерова. Но именно здесь-то и обнаруживается его несостоятельность.

Кавалерова и Андрея Бабичева сближает общая черта: оба они мещане. Оба они средство принимают за цель: Кавалеров — с ужасом, Андрей — с удовлетворением. Оба они поэтому теряют перспективы. Кавалерова это ввергает в отчаяние, Андрея Бабичева — в самодовольство. Кавалеров превращается в мещанина погибающего. Андрей Бабичев — в торжествующего. Ибо узок его кругозор, ибо увлечен он частной задачей, из-за деревьев не видит леса. Проблему будущего он укладывает в строительство «Четвертака», — это именно и отличает, его от настоящих революционеров-коммунистов, от настоящих практиков социальной революции. Именно поэтому Володя Макаров идет в рабство к машине, теряет над ней власть, изменяет социализму, ибо социализм пришел не закабалить человека, не превратить его в механизм или в винтик от механизма, но, напротив, освободить его, поставить машину на ее настоящее место. Приписывая коммунизму замысел вытравить из человека его чувства, Кавалеров рисует карикатуру на коммунизм.

Правда, кроме «Четвертака» у Андрея Бабичева есть другая цель. Не ради «гигантской кухни» и прыскающих сосисок, оказывается, живет он. Володя Макаров — вот будущее, куда обращается взор Андрея. «То, ради чего я живу, — говорит Андрей, — сосредоточилось в нем. Мне посчастливилось. Жизнь нового человечества далека. Я верю в нее... прекрасный мой новый мир. Новый мир живет в моем доме. Я души в нем не чаю».

Все это углубляет как-будто образ Андрея Бабичева. Бросает на него другой свет. Снимает с него маску, наде-

тую Кавалеровым. Но лишь на первый взгляд.

Эти черты не противоречат портрету, нарисованному Кавалеровым. Конечно, Андрей Бабичев верит в «новый мир». Вся беда в том, что новый мир его — ограничен и плоск. Разумеется, не на высокой постели хочет умереть он: Андрей Бабичев все-таки воспитан революцией. Верим и тому, что масса, а не семья примет его последний вздох. И все-таки.. и все-таки, не вера в Володю Макарова, а сам Володя Макаров решает вопрос. Другими словами: каков же этот «завтрашний день» Андрея, цель его жизни, его «прекрасный новый мир»?

VII

«Мещанство, как (временное и предварительное) сохранение некоторых форм жизни (быта) в качестве отправной строительной позиции, в интересах социалистического конструктивизма также может быть оправдано!».

К. З е л и н с к и й. «Конструктивизм и социализм» («Б и з н е с»).

«Малозамечательный юноша, известный только на футбольном поприще» — иронически говорит про Володю Иван. Странное дело, — эта характеристика правильна. Облик «нового человека» сделан так, что в нем действительно, кроме хороших мышц, нет ничего замечательного. Подобно Андрею, он лишен воображения. У него нет дарований. Его ноги работают лучше головы. Он говорит суконым языком. Автор воспроизводит письмо Володи — оно тускло. Стиль его бездарен.

Макаров мечтает быть Эдиссоном нового века, — но разве великие изобретения делались ногами? Володя знает, что он «совершенно новый человек». Он иронически относится к своему приемному отцу, хотя и считает его «мудрейшей, удивительной личностью». Иронизирует Володя потому, что мудрейшая личность, оказывается, еще не совсем рассталась с «чувствительностью». Андрей Бабичев пугает Кавалерова каменным равнодушием, а Володе кажется, что Андрей — сентиментален. Он объясняет это специальностью Андрея: фрукты, травы,

пчелки, телята и всякое такое. Володя же, по его словам, — человек «индустриальный»... — «Я, — пишет он, — понимаешь ли, уже новое поколение»¹⁾.

Что же нового в Володе Макарове? Ненависть к символическим «телятам»? «Я — человек-машина, — пишет он. — Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться». «Я хочу быть машиной».

Если бы Володя был поэтом, — он писал бы поэмы о машине. Но Володя Макаров, совсем как некоторые лефы, — отрицает поэзию. Разница та, что некоторые лефы стали отвергать поэзию после того, как поэзия отвергла некоторых лефов. Володя же никогда на поэзию не покупался: футбол отнимал у него свободное время. К тому же Володя лишен поэтических дарований. Его увлечение машиной тупое и какое-то буквальное. «Цифры», которые Андрей Бабичев противопоставляет «цветам» Кавалерова, густо растут в сознании Володи.

1) Любопытно отметить те же мотивы, звучащие в «Братьях» К. Федина. Арсений Арсеньевич Бах, осколок уходящей буржуазной интеллигенции, высказывает Родиону мысли, напоминающие рассуждения Ивана Бабичева: «...мир, обреченно уходящий из жизни, этот мир не менее достоин преклонения, чем новый человек. Мы не знаем красоты, какую создадите вы. К'е знаем, как будете чувствовать вы вашу новую красоту. Но никогда уже не повторятся наши чувства, потому что никогда не повторится человек нашей эпохи. А мы умели чувствовать, Родион, мы умели создавать прекрасное и обольщаться им! И мне грустно, Родион, что новое человечество безжалостно выбрасывает нас из жизни...».

В романе намечен также облик представителя молодого поколения, напоминающий Володю Макарова. Это — сын Шеринга. «Товарищ, вы устарели, — наступает он на отца. — Ни одного житейского факта вы не можете разрешить без сусальничанья: революционная этика, в традициях старой гвардии и прочая! Мы — люди нового, практического века, а вы становитесь музейным экспонатом. Мы приняли от вас ваше завещание и приступаем к работе. Позвольте нам знать, как лучше строить описанную в ваших книжках жизнь. Мы прежде всего хотим уметь работать, то-есть быть специалистами!».

Шеринг — настоящий революционер, не чета Андрею Бабичеву — говорит про сына:

«Отец был революционером, а сын будет остолоп».

Эта переключка образов была уже указана Ж. Эльсбергом в № 13—14 «На Лит. Посту».

Его даже мучает зависть к «машине». «Чем я хуже ее» — говорит он.

Человек-машина, человек-цифра, вот он «завтрашний день» Андрея Бабичева. В человеке-машине действительно не останется человеческих чувств, и женщина в самом деле может превратиться в инкубатор. Володя любит Валу — у него все вычислено: они поженятся через четыре года. Первый раз они поцелуются, когда откроется «Четвертак», уверяет Володя. Это значит: он лишен чувства смешного. Он, кроме того, не ощущает собственной пошлости. В таком случае его ненависть к «телятам» теряет свое оправдание.

Духовный мир Володи Макарова плоский и бедный. У него нет своих слов — такие ли люди придут на смену нашему поколению? Это ли «социалистический» человек, которому история поручит перестроить мир, сделать его просторней, светлей, красочней, свободней? При этом Володя мало начитан. Иначе он знал бы, что «новизна» его успела постареть: людей такого «конструктивистского» типа, как он, сколько угодно сейчас можно встретить в Америке. Молодые дельцы, презирающие «тонкие чувства», превосходные спортсмены, предпочитающие цифры цветам, все они, подобно Володе Макарову, мечтают быть Эдиссонами нового века, — но, пока что, подражают Дугласу Фербенксу. Володя, совсем как молодые американские практикеры, с насмешкой относится к «идеологии». Это не мешает ему создать свою «идеологию». Она характерна. По его убеждению, люди «злятся и обижаются» потому, что у них нет «понятия времени». Они, видите ли, незнакомы с техникой. Если бы все были техниками, — исчезли бы злора и самолюбие — все эти мелкие чувства. По его мнению, у людей нет настоящего воображения. Оно коротко: его хватает на год. «А на тысячу лет они не разгоняются. Они видят только три-четыре деления на циферблате, ползут, тычутся. А всего циферблата они охватить не могут, — т. е. не могут заглянуть на тысячу лет вперед». Володя прав, конечно: если загадывать на тысячелетия, оставляя без внимания мелкие цифры циферблата, все «человече-

ское», т. е. то, чем страдает человек — действительно потеряет смысл. Но ведь с точки зрения «вечности» померкнет и смысл борьбы, какую ведет человечество. И уж во всяком случае обеспечится «Четвертак» Андрея Бабичева. Поскольку большие числа «циферблата» убивают «зло и обиды» — постольку они разряжают ту энергию ненависти, которая была двигающей силой истории. Коммунизм, классовая борьба как раз вырастают и питаются мелкими цифрами, от них идя к крупным. «Злость и обида» толкали человечество вперед, а Володя полагает, что это ошибка: люди не имели понятия времени.

Он рассказывает свой сон: сидят они «с «Валькой» на крыше и смотрят в телескоп на луну. Сон, как говорится, «в руку». Володя тем именно и занимается, что смотрит на луну. Занятие тоскливое, если не оправдано человеческой потребностью, т. е. опять-таки мелким делением циферблата.

Так дорисовал Володя Макаров облик Андрея Бабичева. Много ли нового прибавил он?

VIII

О, разумеется, «деловитость» Володи Макарова — явление положительное. Кто же станет спорить с Д. Тальниковым, будто «деловитость, точность, трезвость мысли» не нужны нашей стране после «веков опьянения словом и эмоциями, после расхлябанности идеалистов и романтиков, после высокой лирики «всечеловеческих» чувств поэтов и интеллигентов»? Все это — сущая правда. Прав Д. Тальников также, когда говорит, что Андрей Бабичев «действительно новый тип активного делового русского человека, выступившего на историческую сцену». Не в этом спор. Разногласия начинаются с того момента, когда решается вопрос: по праву ли эти активные деловые люди представляют от имени «нового века». Другими словами: говорит ли ими продолжающаяся революция, или, быть может, это люди переходного времени, идеологи остановки, стабилизации, т. е. мещанства, прикрывшегося революцией, революционное мещан-

ство, как ни парадоксально звучат эти слова? Даже Д. Тальников, ответствующий «новых людей» отметил, что «к сожалению, автор не сумел нам показать именно «коммунистического» содержания своего героя, мир его идей». К сожалению! Выходит так: вот они, положительные герои нашей эпохи, деятели, практические деятели, борцы, энергичные, без мерехлондии и слюнтяйства, с здоровыми мышцами и крепкими челюстями, призывающие «дело делать», но, между прочим, лишенные «коммунистического содержания»! Да ведь это устряловцы, а не коммунисты, это те самые «годные люди», которые готовы с энергией, с энтузиазмом подымать хозяйство, колбасные фабрики, гигантские кухнестоловые, железные дороги, даже дворцы труда, — но только без коммунизма! В Андрее Бабичеве и Володе Макарове не оказалось сущих пустяков: коммунистического содержания. Это и означает, что Андрей Бабичев и Володя Макаров — попутчики революции, заявляющие громкогласно: «Стоп! Нам здесь вылезать!»

От деятели Бабичева не пахнет коммунизмом. Ведь и Устрялов является апологетом «дела». Уж будто бы буржуазия против «делячества»? По этой линии Андрей и Володя — архибуржуазны. Их деячество не оправдано коммунистическим содержанием. Оттого облик их при всех положительных чертах — пародийный.

Андрей Бабичев не реальный портрет «нового человека», а портрет «воображаемый», именно портрет, нарисованный сочной кистью Кавалерова. Таким воображает себе «героя нашего времени» упадочная, буржуазная интеллигенция, с ужасом рисуя торжество «грядущего хама», человека с «блестящей клеткой зубов», но без сердца, с упругим кишечником, но с бедным мозгом, в элегантно пиджаке, но без воображения. В виде «Четвертака» представляет себе она надвигающийся новый мир, «блистательную эпоху», в которой, тем не менее, погаснут нежные вольфрамовы нити.

Олеша с блеском, вновь и по-новому показывает нам трепет старой бур-

жуазной интеллигенции перед коммунизмом. Именно под флагом защиты человеческих чувств и гордого своеволия происходит отход буржуазной интеллигенции от революции: социализм, по мнению «гордых упрямец» и «сильных личностей», несет с собой нивелировку, всеобщее поравнение, вместе с механизацией хлебопечения — механизацию деторождения, — не случайно в пьесе, переделанной из «Зависти», рядом с «Четвертаком» появляется намек на огромную спальню, где будут производиться тысячи половых актов в день. Создавая такой облик социализма, буржуазная интеллигенция приходила в ужас. Она объявляла социализму борьбу. Становилась на защиту чувств, которым грозила «железная пята» надвигающейся эпохи. Охраняя индивидуальную свободу, право на своеволие, буржуазная интеллигенция некогда рисовала «хрустальный дворец» как шигалевицу, ныне же представляет его себе как вульгарнейшую столовую-кухню или грандиозный инкубатор, где машина железным задом своим придавит сердце и мозг человека. Но кем установлено, что цена «новой эре» «четвертак»? Кто сказал, что вольфрамовы нити будут оборваны и воцарится мрак? Откуда видно, что цифры заменят цветы и умрут великие чувства — любовь, ревность, нежность, слава, красота? Все это представляется умственному взору Кавалерова, — но с каких пор точка зрения упадочника-импрессиониста делается объективным критерием? В том-то и суть, — здесь и рождается трагедия Кавалеровых, — что обманывает их пристрастное умственное зрение, ибо то, что принимают они за реальный облик «нового мира», есть призрак, созданный их враждебным, обращенным к прошлому воображением. «Зависть» замечательна не только тем, что показала нам трагедию реакционного романтического индивидуализма в эпоху пролетарской революции: она с большим искусством реализовала, воплотила, о материализовала «новую эру», как последняя представляется глазам этого реакционного индивидуализма.

Как же могло произойти, что «новый человек» оказался сделанным по рецепту людей из подполья, буржуазных романтиков, упадочников, которые, говоря о социализме, говорили о себе и неистовом своем страхе?

IX

Мы подходим к любопытнейшей черте творчества Юрия Олеши. Мы говорили до сих пор о героях «Зависти». Но за кулисами театра, где главные роли разыгрывали Кавалеровы и Бабичевы, за спиной этих подставных лиц, мы обнаруживаем подлинного героя, главное действующее лицо. Это — автор.

Критика наша отметила уже — здесь сошлись и Ж. Эльсберг, и Д. Горбов, и Д. Тальников, — что автор наделил Кавалерова своим духовным зрением, подарил ему свой образный язык, отдал ему свои глаза, свое превосходное зрение художника.

Первая, основная часть «Зависти» написана Кавалеровым. В ней развернута трагедия, о которой речь шла выше. В ней до конца намечены образы, с какими мы имеем дело в романе. Вторая часть, написанная от имени автора, не прибавила ничего существенно нового: точка зрения Кавалерова оказалась последовательно проведенной до последней страницы романа. И все наши похвалы, которые мы расточали автору, по праву могут быть обращены к Кавалерову. И все кавалеровские черты — его талантливость, тонкость восприятия мира, его визионерство, его романтизм, его конфликты с миром — неразрывно связаны со стилем романа, с его образностью, с его красками, с калейдоскопом движения, с динамикой его действия. Даже высокопарности Кавалерова не лишен стиль романа: нельзя найти черту, отделяющую витиеватую патетику Кавалеровской речи, пряную изысканность его сравнений, манерность обращений, от патетики и изысканности самого автора. Впрочем, «низкопарности» Кавалерова мы в авторе не заметили. Если Кавалеров может разделить лавры успеха с Юрием Олешей, то

Юрий Олеша кое-чем обязан Кавалерову. Ведь сила романа, яркость лирического раскрытия кавалеровщины, как социально-психологического явления, убедительность его образов, глубина его содержания — обязаны своим происхождением этому именно совпадению главного героя и автора. Из всех современников, которым посвятил свой роман Юрий Олеша, он — первый и самый достойный, ибо он один решился и сумел художественно раскрыть перед нами внутреннюю драму, терзающую Кавалеровых. Заслуга и счастье Олеши в том, что он сумел это сделать: объективировав свой внутренний, лирический мир в художественных образах, он получает возможность его преодолеть. В этой способности его отличие от Кавалерова. Это и делает его «высокопробным». Олеша — Кавалеров, преодолевающий кавалеровщину. Или, если хотите, Кавалеров — раскаявшийся. Но, покаившись, идя навстречу Андрею Бабичеву, признавая его, как победителя, прикасаясь к действительной жизни, он продолжает на Андрея Бабичева смотреть прежними глазами. Другими словами: он принимает Бабичева, серьезно полагая, что это и есть тот самый реконструктор мира, которого выдвинул «знаменитый век.» Он и «новую эру» продолжает видеть глазами Кавалерова. Разница лишь в том, что Кавалеров нераскаянный приходил от этого созерцания в ужас, Кавалеров кающийся, преодолевая ужас, готов принять «Четвертак» таким, каков он есть. Кавалеров отрицал Андрея Бабичева. Олеша, признавая, хочет отыскать в нем черты, которые оправдали бы это примирение. Он протягивает Бабичеву руки, он искренне готовит ему апофеоз, — он в самом деле в великом колбаснике хочет увидеть реконструктора мира, — это и спасает его от обвинений в умышленном и злостном пародировании «нового человека» — а такие обвинения уже брошены автору «Зависти». Продолжая видеть Андрея Бабичева таким, каков он был раньше, Кавалеров бунт против него прекращает. Здесь мы находим объяснение странной картины: облик явно пародийный, Андрей Бабичев рекомендует-

ся автором в качестве подлинного провозвестника нового мира. Оставив Андрею черты, какие страшили нераскаянного Кавалерова, автор отдаёт, однако, Андрею Валю и будущее. Он хочет оправдать Андрея. Потому-то во второй части романа в облике Бабичева появляются штрихи, несмело перекочевывающие к нему из кавалеровского арсенала. Андрей Бабичев, отрицатель чувств, разрушитель вольфрамовых нитей, великий колбасник, раздражается таким монологом: «Значит, что жё? Значит, человеческое чувство отеческой любви надо уничтожить? Почему же он любит меня, он, новый? Значит, там, в новом мире, будет тоже цвести любовь между сыном и отцом? Тогда я получаю право ликовать: тогда я в праве любить его — как сына и как нового человека. Иван, Иван, ничтожен твой заговор. Не все чувства погибли. Зря ты беспокоишься, Иван! Кое-что останется!»

Андрей Бабичев, оказывается, за чувства! Против чего же бунтует Иван? Не все, значит, вольфрамовы нити будут оборваны. Не мрак, следовательно, несет Андрей Бабичев. А это уже «кое-что»! И когда раскаявшийся Кавалеров обращается к своему счастливому сопернику, Володе Макарову, он и в нем находит черты, которые могут примирить с молодым механиком. Чувство товарищества было в Володе, оказывается, самым сильным. В нем — кто бы мог подумать! — жили преданность, самопожертвование, пылкие проявления дружбы. Значит, действительно, живут чувства, даже в Володе Макарове, все своеобразие которого состояло в крепких мышцах и сверкающей клетке зубов, — если даже в нем есть много «кавалеровского», во имя чего поднимает бунт нераскаянный Кавалеров. Наконец, сам Иван Бабичев, прожженный упадочник, вождь пошляков, и тот признается: «Я ошибся, Валя. Я думал, что все чувства — любовь и преданность и нежность — погибли, но все осталось, Валя».

Это — крах заговора чувств. Конец бунта, его поражение. Автор казнит своих героев, отдавая их власти вдовы Прокимович.

«Кавалеров полностью понял мерзость своего положения... Он почувствовал, что вот наступил срок, что вот проведена грань между двумя существованиями — срок катастрофы, порвать, порвать со всем, что было... Сейчас, немедленно, в два сердечных толчка — не больше — нужно переступить грань, и жизнь, отвратительная, безобразная, не его — чужая, насильственная жизнь, останется позади».

Кавалеров этой грани не переступил — в романе. Так оно и должно было быть: ибо, переступи эту грань в «Зависти», он разрушил бы трагедию, легшую в основу романа, а значит, не было бы и романа. Автор попытался это сделать в «Заговоре чувств». К сожалению, неудачно. Процесс перерождения Кавалерова — сложный процесс. Пока он нам автором не показан. Он лишь намечен, он будет, быть может, предметом ближайших произведений талантливого автора. Поживем — увидим. Но и то, что показано нам в «Зависти», представляет большую ценность — художественную и социально-психологическую. Автору еще придется посчитаться с Кавалеровым. Не таков Кавалеров, чтобы, покаявшись, сложить оружие навсегда. Он продолжает тревожить своего двойника, вновь и вновь ставит перед нами проблемы, — и это очень хорошо, потому что благодаря все еще продолжающейся борьбе мы имеем несколько новых произведений Олеси, теснейшим образом связанных с «Завистью». Мы говорим о рассказах «Любовь» и «Лиомпа».

Новое издание «Зависти» следует сопроводить этими двумя рассказами. В них вновь встречаемся мы с сомнениями Николая Кавалерова. Мы кратко коснемся этих рассказов.

X

Одним из следствий конфликта Кавалерова с современностью является потеря им веры в правильность своего зрения. Он постигает мир образно. Он улавливает самую легкую из теней — тень падающего снега, — и все-таки мир отвергает его. «Но

я не слепец, — говорит он себе. У меня голова на плечах... Я грамотен. Именно в этом мире я хочу славы». Но в этом мире слава дается его противнику. Кто из них прав? Кавалеров сомневается в своей правоте. Здесь зерно его социального выздоровления. Он говорит: я не хочу мыслить образами. Он думает даже, что его следует лечить гипнозом, чтобы не мыслить образами. Но ведь «образность» мышления связана с эмоциональной стороной интеллекта. Отсюда убеждение в гибели чувств, которую несет новый мир. Отсюда бунт Кавалерова, заговор, война новому миру. Тот же узел завязан в рассказе «Любовь». Здесь мы наблюдаем то же столкновение мышления образного с мышлением безобразным. Борьба Кавалерова с Андреем Бабичевым, оказывается, не кончена. Но противники поменялись ролями. В «Любви» «завидует» не Кавалеров, а Бабичев. Вот как происходит это любопытное перемещение героев.

В рассказе два главных действующих лица: молодой марксист Шувалов и его антипод, дальтоник, неизвестный гражданин в черной шляпе. Молодой марксист влюблен. Любовь преображает мир. Он начинает видеть то, чего нет. Дальтоник, напротив, сохранил полную невозмутимость чувств. Он поэтому видит мир таким, каков он, будто бы, есть на деле — за одним лишь маленьким нарушением: зеленый цвет он воспринимает как синий. Дальтоник подтверждает: «Вы видите то, чего нет». Как же видит наш влюбленный марксист? Он видит именно так, как видел Кавалеров в «Зависти»: образно. Мир по-новому возникает перед его глазами. Шувалов садится на пенек. Летают насекомые. Вдрагивают стебли. «Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас — некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город». Его зрение обостряется, как если бы к глазам приставили тот самый бинокль, которым забавлялся Кавалеров. Он замечает разнообразие стеблей, листьев, стволов, его поражает многоцветность того, что

называют травяным покровом: «многоцветность самой почвы оказалась для него совершенно неожиданной». Леля — новый вариант «девушки в розовом» — приближается к нему. Мир стремительно изменяется. Ветви шумят. Леля идет, «встречаемся овацией листвы».

Шувалов говорит Леле:

«— Происходит какая-то ерунда. Я начинаю мыслить образами. Для меня перестают существовать законы... Я становлюсь идеалистом...

— Это от любви, — сказала она, истекая абрикосовым соком.

Перед нами Кавалеров и Валичка. Они вновь, но уже вместе разыгрывают любовный мотив «Зависти». Умерли чувства или нет? Прав был Кавалеров, бунтуя против Андрея, или неправ? Обманывает его образное видение мира или, наоборот, — обогащает, расширяет его мир, окрашивает его подлинными цветами и листьями?

Влюбленному марксисту противостоит гражданин в черном. Сквозь грим проступают черты Андрея Бабичева или, если хотите, Володи Макарова. Дальтоник воспринимает мир по-бабичевски.

«— Значит, весь мир воспринимается вами правильно? — спрашивает дальтоника влюбленный марксист.

— Весь мир, кроме некоторых цветочных деталей» — отвечает дальтоник.

«Вы видите то, чего нет» — добавляет он Шувалову. Но сам-то он вместо зеленых груш видит синие, вместо зеленой листвы — синюю листву. Спор о цвете, затеянный в «Зависти», продолжается. «Должен быть глухой синий цвет — химический, а не романтический» — утверждал Андрей Бабичев. Перед нами груши, окрашенные в этот химический цвет.

«Синий цвет несъедобный, — говорит Шувалов. — Меня бы стошнило от синей груши».

Такова «реальность» дальтоника. Она «несъедобна». Молодой марксист сомневается в истинности этой реальности. Пьяный от любви, он просыпается на новой земле. На этой земле все умирительно и смешно. Им овладевает «детскость представлений», владевшая Кавалеровым. Мир де-

лается прекрасным, ярким, веселым. Он приобретает краски. Предметы оживают. Вещи начинают говорить — совсем так, как это мы видели в «Зависти». Молодой марксист перестает чувствовать свой вес. Он не ходит. Он летит. «Летит на крыльях любви» — говорит кто-то в окне под боком. Над ним издевается дальтоник. Он принимает облик Исаака Ньютона. «Вы сегодня летали, молодой марксист?» — насмешливо спрашивает Шувалова великий физик. Молодой марксист решает взбунтоваться против всеисилия чувства. «С тех пор, — говорит он Леле, — как мы встретились, что-то сделалось с моими глазами». Он хочет вернуть потерянный мир. Он хочет покинуть Лелю. Он уходит от Лели. Его не радует рай, в котором он живет.

«— Вы член партии? — спрашивает его дальтоник.

— Да, я член партии, — сказал Шувалов.

— Вам нельзя жить в раю».

Шувалов завидует дальтонику совсем так, как Кавалеров завидовал Андрею Бабичеву. Шувалов хочет вернуть потерянный мир. Он говорит дальтонику:

«— Как хорошо весь мир воспринимать правильно и путаться только в некоторых цветочных деталях, как это происходит с вами. Вам не приходится жить в раю. Мир не исчез для вас. Все в порядке. А я? Вы подумайте, я совершенно здоровый человек, я материалист... и вдруг на моих глазах происходит преступная, антинаучная деформация веществ, материи...

— Да, это ужасно, — согласился дальтоник. — И все это от любви».

Долой диктатуру чувства! — решает Шувалов. Он предлагает дальтонику:

«— Дайте мне вашу радужную оболочку и возьмите мою любовь».

Дальтоник не согласен. Он испуганно «сползает» куда-то вниз, теряя даже сходство с человеком. Он просит передать поклон «Еве», — намекая этим на первобытность, первозданность, стихийную природность отношений, которые существуют между Шуваловым и девушкой. Шувалов стоит перед вопросом: как быть? С чувством — или без

чувства? С тем миром, где нет «с'едобного» зеленого цвета, цвета жизни, — или с миром образов, который раскрывается перед влюбленными глазами? Ичти ли Шувалову вслед за Кавалеровым к врачу гипнотизеру, лечиться от образного видения мира, или, наоборот, принять этот мир? Кто прав? Бабичев или Кавалеров?

Рассказ написан, чтобы посрамить дальтоника. Он прогадал. Когда девушка и влюбленный марксист вновь сближаются, дальтоник сдается.

«— Слушайте — говорит дальтоник Шувалову. — Я согласен. Возьмите мою радужную оболочку и дайте мне вашу любовь».

«— Идите покушайте синих груш» — отвечает в последний строке рассказа Шувалов.

Восторжествовали чувства, образное видение мира. Так Бабичев позавидовал Кавалерову.

Мы видим, что нашего автора продолжает тревожить проблема чувств. Он все еще с Кавалеровым против Бабичева: он воюет, диспутирует, сомневается.

В «Лиомпе» он вновь возвращается к кавалеровской теме, но с другого конца. Кавалерова мучает разрыв с действительным миром. Он живет в мире имен, но не в мире вещей. Вещи не любят его. Оторванность от действительной, реальной жизни — основное страдание Кавалерова. Кавалеров борется за реальную жизнь, за мир вещей. Он борется вместе с тем за «детскость» представлений, за образное восприятие мира, за эмоциональное расширение математических пределов реального. Мир вещей, чувственный, материальный мир, — все, что имеет человек. Отказ от вещей — отказ от жизни. Смерть есть постепенное суживание круга вещей. Автор с большой тонкостью показывает, как суживается мир вещей вокруг больного, как вещи уходят от него, уменьшается их число. Наконец, больной теряет право даже выбирать вещи. Смерть по дороге к нему уничтожает их. Уходя, вещи оставляют больному свои имена. Но что делать с именами вещей живому человеку? Имя —

абстракция. Жизнь в мире абстракций — смерть.

«Я думал, что мира внешнего не существует, — размышляет больной Пономарев, — я думал, что глаз мой и слух управляют вещами, я думал, что мир перестанет существовать, когда перестану существовать я. Но вот... я вижу, как все вторачивается от еще живого меня. Ведь я еще существую. Почему же вещи не существуют? Я думал, что мозг мой дал им форму, тяжесть и цвет, — но вот они ушли от меня и только имена их — бесполезные имена, потерявшие хозяев, — роятся в моем мозгу. А что мне с этих имен?»

И тут кавалеровская тоска по реальной жизни, по реальному миру, по вещам, живым, как яблоко, блистающее в листве, которое поворачивает с собою «куски дня, голубизну сада, переплет окна», которое «таит множество причин, могущих вызвать еще большее множество следствий». А в то время, когда Пономарев, умирая, видит, что живой мир, величия и разнообразия которого он не замечал, уходит от него, оставаясь жить вне его, — этот самый мир дается ребенку, не утерявшему «детскости впечатлений».

Ребенок ходил. «Вещи неслись ему навстречу. Он улыбался им, не зная ни одного имени. Он уходил, и пышный шлейф вещей бился за ним». Пономарев грозит ребенку, что ничего ему не оставит: «Ни двора, ни дерева, ни папы, ни мамы. Я заберу с собой все». Но ребенок знает, что это неправда. Мир, живой и прекрасный, останется жить. Исчезнет лишь одна вещь, не сумевшая или не умевшая до своей гибели увидеть мир по-настоящему, приблизиться к нему вплотную, войти в него так, как входит ребенок, с «детскостью» представлений, с умением ощущать его чувственную природу. И в Пономареве, далеком каким-то концом, мы наблюдаем страх Кавалерова, кавалеровское томление души. И даже роман для детей «Три толстяка», который кажется написанным Кавалеровым в сотрудничестве с Исааком Ньютоном, — даже этот роман в сердцевине своей заключает все ту же кавалеровскую тему о чувстве, о мощности чувств, о великой

и благородной силе чувства. На последней странице раскрывается лейтмотив романа: «Три толстяка приказали мне: вынь сердце мальчика и сделай для него железное сердце. Я отказался. Я сказал, что нельзя лишать человека его человеческого сердца. Что никакое сердце — ни железное, ни ледяное, ни золотое — не может быть дано человеку вместо простого, настоящего человеческого сердца». Наш автор оказывается автором «одной темы». Дон-Кихот чувства, он с яростью защищает его от воображаемых врагов, искренне полагая, что чувствам в самом деле грозит смертельная опасность.



Литературная деятельность Юрия Олеши — в самом начале. Сейчас трудно представить себе, какими путями пойдет его дальнейшее развитие. Мы и не хотим ничего предсказывать. Мы удовлетворяемся тем, что в его лице папа литература приобрела выдающегося мастера, с очень большим содержанием. Его вещи насыщены значительностью. Это писатель «проблемный» — не в дурном, а в лучшем значении слова. Он ставит большие вопросы — а это крупное достоинство. Пусть разрешает он их не так, как того хотели бы мы. Мы с ним поспорим. Но большой заслугой его является уже то, что проблема в художественной форме им поставлена. Кавалеров и Бабичев — два полюса, между которыми пока ко-

леблется Юрий Олеша. Решен спор был в пользу Бабичева: Кавалеров разоблачен и казнен. При ближайшем рассмотрении, однако, оказалось, что Бабичев — не тот, за кого его принимали. Обнаружилось, что сам Бабичев не прочь признать кое-что из кавалеровского арсенала чувств. Не все, значит, в Кавалерове обречено на слом: «кое-что осталось». В «Зависти» это прозвучало «под сурдинку». В «Любви» и «Лионте» мотив этот развернут: мы видим здесь реабилитацию положительных кавалеровских качеств: восстановление власти чувств и образного видения мира. Можно сказать, что, преодолев упадочного Кавалерова, наш автор занят сейчас преодолением Андрея Бабичева: химический синий цвет оказался «несъедобным».

С нетерпением будем ждать новых произведений нашего автора. Его близость Кавалерову, его заинтересованность темой Кавалерова говорит о том, что и ближайшие произведения его будут находиться в той или иной связи с нею. Она ведь автором не разрешена до конца, и художественно он от нее не освободился. Не думаю, чтобы автор наш в самом деле оказался автором одной только этой темы. Ближайший период его творчества, мне представляется, должен проходить под знаком преодоления не только Кавалерова-мещанина, но и мещанина-Бабичева. А таков двойной путь подлинного преодоления «Зависти».

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН „ВЫСТРЕЛА“

(К истории политических обществ и тайной полиции 20 х годов)

Леонид Гроссман

I

Сильвио в пушкинском «Выстреле» обильно и как бы намеренно наделен резкими фантастическими чертами. Пушкин последовательно кладет на его облик тона зловещей загадочности.

«Какая-то таинственность окружала его судьбу» — сообщает он с первых же строк своего рассказа. «Имея от природы романтическое воображение,—

говорится далее, — я всех сильнее.. был привязан к человеку, коего жизнь была загадкой и который казался мне героем таинственной какой-то повести...». И далее: «Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола...».

В последней главе появление Сильвио наводит ужас; при взгляде на него все цепенеют («я почувствовал,

как волосы стали вдруг на мне дыбом»; «люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели»); его дьявольская усмешка запоминается беспечным графом навсегда.

В таком демоническом обличьи, «гером таинственной какой-то повести» выступает перед нами этот мстительный бреттер с итало-испанским именем романтического героя и зловещим профилем гофманского персонажа.

Но, как обычно у Пушкина, мотив волшебной фантастики облекается в живую плоть конкретных бытовых деталей. Многие из них глубоко вводят образ в характерную человеческую среду, создают вокруг него определенный жизненный фон, окружают его такими четкими признаками эпохи и нравов, что понемногу сказочный герой раскрывает в своем магическом облике черты подлинного исторического лица.

При сопоставлении первой новеллы Белкина с некоторыми документами и материалами эпохи, мы начинаем различать под сардонической маской Сильвио довольно явственный облик одного пушкинского современника. И если мы пристально взглянемся в забытые черты этого весьма любопытного, отчасти загадочного для окружающих, но вполне реального лица, нам, вероятно, удастся вскрыть довольно точную художественную портретность фантастического героя «Выстрела».

II

Когда в сентябре 1820 г. Пушкин приехал в Кишинев, там жил один весьма оригинальный и всем известный военный — подполковник Иван Петрович Липранди.

Личность его по разнообразным основаниям заслуживает внимания историка русской литературы. Ряд крупных писателей прошлого столетия так или иначе связан с этим именем. Липранди был, прежде всего, сослуживцем поэта Батюшкова в шведскую войну 1808 г., и в своих любопытных походных записках он вспоминает этого батальонного адъютанта, ставшего известным поэтом. Привлеченный к делу 14 декабря, Липранди проводил свой арест в обществе Грибоедова. Мы

знаем, что кишиневский полковник был одним из ближайших приятелей Пушкина в бессарабский период, и можно считать установленным, что именно он рассказал поэту сюжет «Выстрела». Наконец, историко-военные труды этого раннего участника Бородинского сражения имелись в библиотеке Льва Толстого и несомненно изучались им в эпоху создания «Войны и мира».

Таковы весьма внушительные права Липранди на интерес и внимание литературных исследователей.

Но в биографии его имеются, к сожалению, и прикосновения иного рода к некоторым крупным литературным деятелям. Известно, что его имя выступает печальным и мрачным пятном в истории жизни Достоевского. Поступив в 40-х годах на службу в министерство внутренних дел по департаменту полиции, Липранди был главным создателем «дела петрашевцев». Ему принадлежит знаменитая докладная записка по этому «заговору», в которой он определяет кружок Петрашевского, как «зло великой важности». По именным спискам, составленным Липранди, десятки русских фюреристов, в том числе и Достоевский, были приговорены к смертной казни расстрелянием, и лишь по соответственной конфирмации сосланы на каторгу. В ту же эпоху и в плане той же секретной полицейской службы Липранди имел отношение к аресту Огарева, и заслужил от Герцена те резкие разоблачения, которые надолго придали звучной южно-романской фамилии этого официального разведчика весьма плачевный нарицательный характер.

Такова была старость Липранди. Но в начале 20-х годов, когда он встречался с Пушкиным, эти подпольные черты его натуры еще не были заметны окружающим. В то время его облик и характер должны были, напротив, привлечь внимание художника своими живописными контрастами. Личность его представляла несомненный интерес по своим дарованиям, судьбе и оригинальному образу жизни.

Липранди был мрачен и угрюм, но любил собирать у себя офицеров и широко угощать их. Источники его дохо-

дов были для всех покрыты тайной. Начетчик и книголюб, он славился бреттерством, и редкая дуэль проходила без его участия.

Уже в таком беглом очерке мы узнаем характерные черты Сильвио. Попытаемся более обстоятельно сопоставить исторические материалы о Липранди с художественными свидетельствами Пушкина. Это поможет нам выяснить любопытный вопрос о творческой системе поэта при портретировании его современников.

III

Припомним для этого, прежде всего, портрет Сильвио, зачерченный на первой странице «Выстрела».

«Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмелился о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной гордостью бедной мазанки, где он в разговоре между нами касался

часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы ему были неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства...».

Почти все черты этого портрета точно соответствуют живому оригиналу, очевидно, служившему Пушкину моделью для Сильвио. Общий облик и характерные подробности здесь одинаково совпадают. Нам необходимо проследить шаг за шагом историческую точность этого портрета, чтобы выяснить тесную связь пушкинской повести с одной забытой военной биографией.

* * *

Уже внешние детали характеристики Сильвио поддаются точному историческому комментарию.

«Он казался русским, а носил иностранное имя» — рассказывает Пушкин.

При своей европейской фамилии Липранди был вполне русским. У Вигеля читаем: «По фамильному имени надобно было почитать (его) итальянцем или греком, но он не имел понятия о языках сих народов, знал хорошо только русский и принадлежал к православному исповеданию».

На самом деле род его восходил к фамилиям испанских дворян «и, следовательно, — говорит один из мемуаристов, — в жилах его текла кровь, жаждавшая полей брани...»¹⁾. Липран-

¹⁾ Для нашей темы нам, главным образом, служили: Ф. Ф. Вигель — «Записки», в 7 ч. М. 1891 — 92 (или новое издание под ред. Я. С. Штрайха. М. 1928). С. Г. Волконский. — «Записки». СПб. 1902. И. П. Липранди. — «Замечания на «Воспоминания» Ф. Ф. Вигеля» М. 1873, II. Его же. — «Заметка на статью «А. С. Пушкин в Южной России». «Русск. архив». 1866, VIII, IX, X. Его же. — «Как был вят гор. Суассон 2(14) февраля 1814 г.». «Русск. архив». 1868, VI. И. А. Арсеньев. — «Слово живое о неживых». «Ист. Вестн.». 1887, XXVII — XXVIII. «Алфавит декабристов». Под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. (Восстание декабристов. Материалы. VIII. 343). П. И. Бартевев. — «Пушкин в Южной России»; мы использовали также известные воспоминания Вельмана, В. П. Горчакова и ряд других работ самого Липранди или же мемуаров, писем и статей, на которые ссылаемся ниже.

ли, действительно, рано вступил на военную службу, и в отечественную войну уже состоял офицером генерального штаба.

«Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо» — читаем у Пушкина.

Липранди на военной службе (правда, по другому роду оружия) достиг значительных успехов. За Финляндскую войну он был отличен шестью боевыми наградами «с назначением в свиту его императорского величества». В 1809 г. он был награжден золотой шпагой. Во время заграничного похода он отличился при взятии крепости Ротенбург, и даже был отмечен в реляции главнокомандующего, как «искусный и храбрый офицер». Неудивительно, что в эпоху наполеоновских походов он занимал во Франции ответственные и важные посты. Мы видим, что Липранди, как и Сильвио, несомненно проходил военную службу «счастливо».

Но по возвращении в Россию Липранди пережил служебную катастрофу. Она отмечена у Пушкина:

«...никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке...» — говорится о Сильвио.

Это — точное отражение целого этапа биографии Липранди, как раз в период его первого знакомства с Пушкиным. В ноябре 1822 г. Липранди должен был выйти в отставку.

Когда Вигель в 1823 г. приезжает в Кишинев, он встречает своего блестящего парижского знакомого Липранди, «который находился тут в отставке и в бедности». Оказывается, «вскоре по возвращении в Россию из генерального штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу...». Тайну этой отставки Вигель не раскрывает нам. Мы остановимся на ней ниже.

Возраст Сильвио не случаен у Пушкина. Герою «Выстрела» «около тридцати пяти лет». Липранди родился 17 июля 1790 г. Стало быть, в эпоху его знакомства с Пушкиным (1820—1824 гг.) ему 30—34 года.

Сильвио мрачен. Пушкин отмечает его «обыкновенную угрюмость» и вы-

держивает весь портрет его в рембрандтовских тонах.

Вигель пишет о Липранди: «он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда не блистала радость...». «Многим казался он страшен...». При встрече их в 1825 г. «лицо его, всегда довольно мрачное, показалось еще мрачнее...».

Но при этом Сильвио любит широко угощать. Он «держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою...».

«Вечно бы ему пировать, — сообщает о Липранди его близкий знакомый и антагонист Вигель. — В нем было бедуйское гостеприимство... Я всегда находил у него изобильный завтрак или пышный обед... На столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и дорогого винограда...».

Об офицерских приемах у себя в Кишиневе рассказывает сам Липранди: «Три—четыре вечера, а иногда и более, проводил я дома». Своими постоянными посетителями Липранди называет нескольких офицеров кишиневского гарнизона и генерального штаба, а из штатских одного Пушкина, который, «впрочем, редко оставался до конца вечера...».

У Сильвио, как известно, идет крупная игра в банк, хотя сам он обычно воздерживается от игры. Липранди уверяет в своих «Воспоминаниях», что сам он в карты не играл, но, по свидетельствам мемуаристов, на сборищах у него шла азартная игра.

«Чаще всего, — рассказывает Вельман, — я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая веселая беседа, еcarté и иногда, roué varier, «направо и налево», чтоб сквитать выигрыш. Иногда забавы были ученого рода».

Таков был общий облик одного из штаб-офицеров кишиневской дивизии, довольно отчетливо зачерченный в пушкинской повести.

IV

Но и духовная природа Сильвио явственно отражает черты Липранди. Пушкин неоднократно отмечает в своем рассказе большой ум и опытность Сильвио. Это обычное впечатление, производимое Липранди на современников. Все знавшие его говорят о его тонком и остром уме. «Энциклопедически образованный, — определяет его в своих воспоминаниях И. А. Арсеньев, — замечательный лингвист, обладавший редкой способностью быстро понимать и соображать в известной момент силу обстоятельств и их последствий...». Неудивительно, что этот культурный военный обладал в Кишиневе интересным собранием научных книг.

Пушкин не забывает отметить в «Выстреле» библиотеку Сильвио: «у него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад...».

У Липранди действительно была библиотека, составленная в значительной своей части из военных книг. Владелец ее сообщал впоследствии, что он начал собирать ее уже с 1820 г. Здесь, в частности, находились топографические карты и богатый отдел сочинений о Турции. С 1830 г., по словам Липранди, его библиотека была известна европейским ученым обществам, а «в 1856 г. она, по высочайшему повелению, куплена была для библиотеки генерального штаба»¹⁾. Таким образом, в эпоху пребывания Пушкина в Кишиневе, Липранди собирал это замечательное собрание, хорошо знакомое поэту.

В своих «Записках» Липранди сообщает, что Пушкин «интересовался многими сочинениями» из его библиотеки: он называет Овидия, Валерия Флакка, Страбона, Мальтебрюна, труды по истории и географии. По каталогу Липранди значится, что одна книга так и осталась за Пушкиным. Вспомним

¹⁾ Остаток библиотеки Липранди хранится в Туркестанской гос. библиотеке. См. «Пушкин», статьи и материалы, под ред. М. П. Алексеева, в. III. 64. (Од., 1926).

в «Выстреле» замечание о книгах Сильвио: «он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад».

Материальное положение Сильвио «в бедном местечке», где он жил, очерчено, как и весь его образ, контрастными чертами: смесь роскоши и нужды — вот формула его жизни.

«... Жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном скюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка...»

Эта своеобразная черта Сильвио, — смесь бедности и расточительности, — оказывается также характерной для его прототипа. Кишиневский приятель Пушкина В. П. Горчаков рассказывает, что «Липранди поражал нас то изысканною роскошью, то вдруг каким-то презрением к самым необходимым потребностям жизни, — словом, он как-то умел соединять прихотливую роскошь с недостатками. Последнее было слишком знакомо Пушкину»¹⁾.

При этом подчеркивается таинственность его денежных ресурсов: «никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать».

Полное соответствие этому находим в биографии Липранди. Загадочность его для многих заключалась в скрытых и непонятных источниках его широких средств: Вигель рассказывает, что довольно часто встречал в Париже одного, «не весьма обыкновенного человека: у него ровно ничего не было, а житью его иной достаточный человек мог бы позавидовать». «Карты объясняют расточительность иных бедных людей», но он не был игроком: «целый век умел он скрывать от глаз человеческих тайник, из коего черпал средства к постоянному поддержанию своей роскоши». Таков был жизненный режим Липранди в Париже.

В России его военная карьера пошатнулась, и он был вынужден выйти в отставку. «Не зная, куда деваться, — сообщает далее Вигель, — он остался в Кишиневе, где положение его очень

¹⁾ «Московитянин». 1850, № 7, отд. 1. Стр. 196 — 197.

походило на совершенную нищету». Но с назначением на юг Воронцова, под начальством которого Липранди служил во Франции, последний воспрянул духом. Он явился к своему прежнему начальнику, разжалобил его, добился денежной помощи, деловых поручений и назначений. «Тогда на раз'езды из казенной экспедиции начали отпускать ему суммы, в употреблении коих ему очень трудно было давать отчеты... Вдруг откуда что взялось: в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы¹⁾, обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно бедуинское гостеприимство...».

В Кишиневе, таким образом, возродился парижский образ жизни, и на этот раз, видимо, установился надолго. В октябре 1826 г. бессарабский знакомый Пушкина, Н. С. Аджеев, сообщает ему: «Липранди... живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает, откуда берет деньги...».

Таков общий голос удивленных современников об интригующем и непонятном источнике благосостояния Липранди.

V

Но тайна эта, неразрешимая для многих в пушкинскую эпоху, стала общим достоянием в середине столетия.

Липранди служил в тайной полиции. Еще во время оккупации Франции иностранными войсками он заведывал русской тайной полицией за границей. По его собственному свидетельству, дело было так. В 1816 г. образовалось во Франции злонамеренное общество «Des Epingles» (булавок). Французское министерство сообщило об этом начальникам союзных корпусов, и Воронцов возложил соответственное поручение на Липранди, который вошел в сношения с жандармскими офицерами, секретарем министра полиции в Париже и, наконец, знаменитым сыщиком Видоком.

О том же говорит в своих воспоминаниях Вигель, описывая «лукулловские трапезы» Липранди в Париже. «И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры». Это были парижские сыщики и агенты тайной полиции, вербуемые из подонков уголовного мира. Здесь, у Липранди, Вигель познакомился с знаменитым «главою парижских шпионов» Видоком, который «за великие преступления был осужден, несколько лет был гребцом на галерах и носит клеймо на спине...».

Вигель удивляется этому пристрастию Липранди к каторжным, высказывая предположение, что эта среда постоянно служила удовлетворению любопытства Липранди: «через них знает он всю подноготную, все таинства Парижа...». Отметим, что Вигель не догадывался о служебном характере этого «любопытства» Липранди.

Он считал его, впрочем, наиболее осведомленным источником тайной политической информации. Назначенный в 1823 г. членом верховного совета Бессарабии и имея от Блудова и Воронцова поручение сообщить им о состоянии края и «о всем любопытном, в нем происходящем», Вигель обращается к Липранди, как к главному источнику соответственных сведений о Кишиневе и его обитателях.

Роль этого секретного информатора в те годы не вполне выяснена. Б. Л. Модзалевский считал, что Липранди состоял в Кишиневе «правительственным тайным агентом» («Пушк. и его совр.», IV, 177). Другие исследователи полагают, что в Кишиневе Липранди не занимался тайным шпионажем («Пушкин», ст. и мат., в III, 63). Нужно думать, что прав был Вигель, утверждавший, что Липранди «одной ногою стоял на ультрамонархическом, а другую на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны». Это особенно сказалося в его кишиневский период, совпавший с усиленным освободительным движением в Европе.

Двойственная игра политического авантюриста развернулась в атмосфе-

¹⁾ Вспомним, что Сильвио жил в «бедной мазанке», где шла азартная карточная игра.

ре этого революционного оживления особенно широко, и вольнолюбивый член тайного общества, пострадавший за убеждения, неожиданно стал поражать окружающих подозрительной и непонятной роскошью своего повседневного быта.

Мы знаем, что расцвет полицейской деятельности этого военного сыщика сказался значительно позже, когда он с большим умением и полным успехом организовал сложную провокацию, погубившую Петрашевского и членов его кружка.

Но нужно думать, что и в двадцатые годы таинственность, окружавшая Липранди, его облик заговорщика и черты необъяснимой щедрости находят себе объяснение в секретных канцеляриях императорских штабов и министерств.

VI

Но «Выстрел», — прежде всего, повесть об одной необыкновенной дуэли. Это оригинально построенный рассказ о поединке с хронологически разоб- щенными выстрелами в последовательном изложении обоих дуэлянтов, из которых каждый сообщает третьему лицу о пистолетном огне своего противника.

Сильвио прежде всего — бреттер. Он сам говорит о себе: «Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех был или свидетелем или действующим лицом». Окружающие полагают, что «на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства».

Фабула «Выстрела» сводится в основном к рассказу Сильвио об одной своей необычайной дуэли.

Обратимся к Липранди.

Вигель рассказывает о нем: «Кто всем распрял между военными он был примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим от того казался он страшен».

Бартенев отмечает, что Пушкин дорожил мнением И. П. Липранди в дуэльных вопросах, и принимал в таких случаях его советы и распорядительство.

Сам Липранди подробно рассказал нам о повышенном интересе Пушкина к поединкам.

«Дуэль К—ва с Мордвиновым очень занимала его; в продолжение многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других, на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т. п...»

«Дуэли особенно занимали Пушкина. В Киеве или во время поездки его к Раевским он слышал о славном поединке Реада с поляком в Житомире и восхищался частностями оног...».

«Будучи еще в Петербурге, он услышал о двух из моих столкновений, из коих одно в декабре 1818 года, по выходе корпуса Воронцова из Франции...».

«Но о другом, в 1810 году, в Або, с шведским гвардейским поручиком бароном Бломом, вызванным мною через абовские газеты, на что противник мой отвечал в стокгольмских газетах, с назначением дня прибытия его в Або для встречи со мной, — Александр Сергеевич знал, но неудовлетворительно, а потому неоступно желал узнать малейшие подробности как повода и столкновения, так душевного моего настроения и взгляда властей, допустивших это столкновение.

... Чтоб удовлетворить его настоянию, я должен был показать ему письма, газеты и подробное описание в дневнике моем, но и этого было для него недостаточно: расспросы сыпались».

Липранди вообще мог обильно питать этот жадный интерес поэта к знаменитым поединкам. В записках, мемуарах или исторических трудах этого военного деятеля мы находим бесчисленные упоминания и рассказы о замечательных встречах». Дуэль в Париже майора Бартенева с тремя французскими офицерами, столкновение его с ген. Алферьевым, поединок между дивизионным врачом Маркусом и драгунским капитаном в городе Телеле, дуэль в Нантеле между бригадным командиром П. И. Каблуковым и подполковником Д. Н. Мордвиновым, трагическое столкновение подполков-

ника Мерлиния с полковником Петрулиным в г. Вилькомире и т. д. и т. д., — таков бесконечный реестр поединков, занесенный в записи Липранди. Здесь изложены самые разнообразные случаи: дуэли на пистолетах и на саблях, с одним заряженным, а другим холостым оружием, при многочисленных свидетелях и совсем без секундантов, со смертельным или благополучным исходом. Пользуясь рассказами Липранди, Пушкин мог бы написать обширную и занимательную книгу о дуэлях на подобие старинного сборника Брантома «Duels celebres», увлекательно повествующего о необычайных единоборствах французских вельмож и итальянских дворян.

Но Пушкин поступил иначе. Из неисчерпаемого источника бреттерских воспоминаний Липранди он выбрал один только эпизод, видимо наиболее трагический и волнующий, чтоб разработать его в своем излюбленном жанре «быстрой повести с романтическими переходами».

VII

Пушкин сам прозрачными инициалами отметил живой источник своей повести. В списке лиц, сообщавших Белкину сюжеты для его сказочек, имеется и такая помета:

«Выстрел» (рассказан Белкину) подполковником И. П. Л.¹⁾

Здесь любопытно не только точность в воспроизведении инициалов Ивана Петровича Липранди, но и полное соответствие указанного чина его рангу. «Вначале пребывания Пушкина (в Кшиневе) я был подполковником, а потом полковником...» — сообщает в своих воспоминаниях И. П. Липранди.

В пушкинской литературе этот источник «Выстрела» был издавна указан. Еще в 1866 г. Бартечев категорически сообщал, что повесть «Выстрел» «слышана Пушкиным от Липранди». Прочитав это в «Русском архиве» и отвечая на статью Бартечева, престарелый Липранди не опро-

верг этого указания, но, правда, и не подтвердил его. «Не помню этого рассказа и желал бы знать источник». Ответа в печати не последовало, но у нас есть все основания предполагать, что Бартечев слышал это от офицера генерального штаба В. П. Горчакова, сообщавшего ему ценные устные материалы для его исследования.

Этот именно очевидец бессарабской жизни Пушкина сообщал впоследствии в печати, что поэт, много и часто беседовавший с Липранди, «от него слышал рассказ «Выстрел»¹⁾.

Нам остается разрешить вопрос, действительно ли в практике Липранди был дуэльный случай, рассказанный в «Выстреле»?

Но, к сожалению, дать здесь окончательный ответ пока затруднительно. Нам известно только, что у Липранди был один знаменитый поединок, о котором много писали в зарубежной печати. Им-то особенно и интересовался Пушкин, требуя от Липранди обстоятельных рассказов, дневников и газет. Все, что мы знаем об этой дуэли, сводится к следующему.

В 1810 г. Липранди, считавший себя, видимо, оскорбленным, поместил в газетах Або картель шведскому поручику гвардии барону Блому, который через стокгольмские газеты принял вызов и назначил день встречи в Або. В старинных «Записках артиллериста» И. Радожицкого даются вскользь некоторые дополнительные сведения об этой дуэли. Радожицкий познакомился с Липранди в 1814 г. в Варшаве и был очарован оригинальностью, начи-

1) «Русский архив», 1900, I. — На сходство инициалов рассказчика «Выстрела» и Липранди обратил мимоходом внимание Н. И. Черняев в своем этюде о «Выстреле». Поставив вопрос о том, не Липранди ли рассказал поэту фабулу этой повести, Черняев приходит к заключению, что прототипом Сильвио был грек Софиано или Софианос, известный гетерист, близко стоявший к русским военным группам и сражавшийся под Скулянами.

Мнение Черняева принято составителем «Материалов для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» («Пушкин», статьи и материалы под ред. М. А. Алексеева, в III, Одесса. 1926 г. Стр. 65): «для повести Л. мог действительно сообщить некоторые черты из жизни Софиано-Сильвио».

¹⁾ В некоторых изданиях стоят инициалы И. П. Л., но такая перестановка существенно дела не меняет.

танностью и любезностью молодого офицера.

«Но пылкость характера, — продолжает мемуарист, — заводила его часто в безрассудства. Бывши в Або, он вызвал на дуэль одного из врагов своих через газеты; два месяца учился колоться; наконец, встретился с противником, и дал ему смертельный штос».

Последнее указание неверно. Липранди в своих воспоминаниях сообщает, что его противник барон Блом в 1862 г. жил полковником в отставке за ранами в Никопинге. Отметим, что он принадлежал к старинной и знатной шведской фамилии. По сообщению Липранди, родословная Бловых напечатана в книге о войне России со Швецией в 1809 г. Известно, что один из представителей этой фамилии был долготелым послом в Петербурге и встречался в 30-х годах с Пушкиным.

Вот пока все немногие сведения об этой дуэли Липранди. Аналогий с поединком Сильвио немного, но они все же есть. В обоих случаях к барьеру вызывается молодой поручик знатного рода (у Пушкина — граф). Липранди, как Сильвио в повести, особо и длительно готовится к этой дуэли, обучаясь безошибочному удару. Наконец, в обоих случаях необычайный поединок не имеет смертельного исхода.

Не будем настаивать на дальнейшей тождественности этих двух дуэлей и ограничимся бесспорным сведением о том, что «Выстрел» рассказан Пушкину Липранди. Позволительно думать, что нечто подобное происходило в его личной бреттерской практике, но это, во всяком случае, не существенно. В отношении Пушкина всякая проблема заостряется в сторону своей литературной природы, — таков и данный случай. Нам важно запомнить, что в Кишиневе Пушкин широко применяет систему собирания творческих материалов в беседах. Он документируется для творчества у многих лиц.

Офицер В. П. Горчаков рассказывал ему о сражении под Скулянами, чиновник М. И. Лекс о гайдуке Кирджали, гетеристы Каранья, Дука и Пендадеки — всевозможные молдавские предания. Многое из этих рассказов вошло в его

творчество. Но, конечно, самым ценным для него из всей этой устной литературы оказался рассказ Липранди об одном экстравагантном бое двух офицеров. Дуэль всегда привлекала Пушкина и не только как акт молодечества, но и как заманчивый литературный факт. Он глубоко ощущал благодарный композиционный материал этой темы, ее высокую сюжетную насыщенность, ее способность туго напрягать действие рассказов и резко выявлять все изломы главных характеров. Мы знаем, как разнообразно он разработал этот мотив в двух своих больших романах — в «Онегине» и «Капитанской дочке». И для нас не безразлично, что в этом направлении воздействие на его творчество незаметно шло от его кишиневского собеседника. Мы знаем, что Пушкин жадно слушал его бесчисленные рассказы об оскорблениях, вызовах, секундантах, барьерах, выстрелах и всевозможных чудесах фехтования и прицела. Все это незаметно отлагалось в его творческом сознании отважными образами, героическими эпизодами, кровавыми сценами и той головокружительной поэзией опасности и смертельной игры, которая всегда была дорога Пушкину. Недаром он так жадно вбирал в себя эти полковые истории и походные предания об удалестве, молодечестве и риске, предоставляя им свободно бродить в своем воображении или отлагаться в своей памяти. Через несколько лет мировая литература обогатилась маленьким шедевром о дуэли — повестью «Выстрел».

VIII

Обратимся к исторической концовке «Выстрела», несколько неожиданно завершающей повесть о зловещем бреттере.

«Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра Ипсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».

Пушкин придает своему герою ореол борца за вольность, возводит его в сан политических вождей, причисляет его к горсти отважных представителей

европейского свободолюбия. Сильвио погибает смертью Байрона — в активной борьбе за освобождение Греции. Более высокой канонизации образа поэт, кажется, не мог бы дать.

Она должна нам показаться резко противоречащей характеру Липранди по всему, что мы теперь знаем о нем. Но это освещение несколько не противоречит тому впечатлению, какое Липранди стремился производить в молодости на окружающих. Как многие агенты секретной полиции, как многие сыщики и провокаторы, он заигрывал с «крайней левой», прикидывался революционером, и в опасной политической игре был, видимо, готов менять свои позиции в зависимости от победы той или иной воюющей стороны. Об этом, мы видели, с полной категоричностью свидетельствует Вигель.

Сам Липранди охотно демонстрировал свои радикальные убеждения. Радожицкий, познакомившийся с ним в 1814 г., довольно прозрачно сообщает в 1835 г. в своих воспоминаниях:

«... Капитан Л***, горячий итальянец, называвший себя Мартинистом, обожатель Вольтера, знал наизусть философию его и думал идти прямым путем в жизни. С пламенными чувствами и острым, хотя не всегда основательным умом, он мог вернее других отличать хорошее от дурного, благородное от низкого; презирая лесть, он смеялся над уродами в нравственном мире¹⁾. В эту эпоху ликвидации великой революции и господства знаменитого обывательского лозунга «C'est la faute à Voltaire», звание «вольтернанца» было почти равносильно обозначениям якобинца и карбонария. Между тем, Липранди, видимо, шеголял этим званием, подчеркивая независимость своих суждений и пренебрежений к господствующим предрассудкам.

¹⁾ «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. Артиллерии подполковника И... Р...». Москва. 1835, ч. III. 1814 год. Война во Франции, стр. 354 — 355». Это и есть те «Записки артиллериста» Радожицкого, на которые ссылается в своих воспоминаниях Липранди. Разрешением этой библиографической проблемы мы обязаны М. А. Цявловскому.

Его таинственная отставка и опала как раз в эпоху повышенного революционного брожения в Европе, после блестящих военных успехов, объясняется, прежде всего, его репутацией вольнодумца и мятежника. Вигель снова дает отдаленный намек: «из генерального штаба был он переведен в линейный егерский полк, и, наконец, принужден был оставить службу. Все это показывает, что начальство смотрело на него не с выгодной стороны».

Разгадку этой тайны дает в своих «Воспоминаниях» декабрист Сергей Волконский. Вот, что он пишет о Липранди, как о своем сослуживце в эпоху наполеоновских войн:

«Как молодой человек, он приобрел уважение, любовь своих товарищей и доверенность начальников; служа в генеральном штабе, состоял он при второй армии и, по неприятностям с высшим начальством по его роду службы, перешел в один из егерских полков 16-й дивизии и был, в уважение его передовых мыслей и убеждений, принят в члены открывшегося в этой дивизии отдаленного общества, известного под названием «Зеленой книги». При открытии в 20-х годах восстания в Италии, он просил у начальства дозволения стать в ряды волонтеров народной итальянской армии. По поводу неприятностей за это, принятое как дерзость, его ходатайство он принужден был выйти в отставку и, выказывая себя верным своим убеждениям к прогрессу и званию члена Тайного общества, был коренным другом майора, сослуживца его по 32-му егерскому полку Вл. Фед. Раевского, о котором буду говорить впоследствии при происшествии 25-го года».

Итак, в качестве передового военного, Липранди был принят в Тайное общество. Под «Зеленой книгой» имелся в виду знаменитый питомник декабристов — Союз Благоденствия, статут которого занесен в зеленую тетрадь. Все это проливает свет на

личность Липранди и на некоторые построения Пушкина.

Прежде всего, нам становится понятной начальная черта портрета Сильвио: «Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным... Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку», и проч.

Вспомним некоторые обстоятельства из истории южных тайных обществ. В момент приезда Пушкина в Кишинев в сентябре 1820 г. Липранди еще находится на военной службе. Но в декабре 1821 г. прошла глухая молва о Союзе Благоденствия, и главная квартира настоятельно потребовала открытия «заговора»; 5 февраля 1822 г. был арестован близкий друг Липранди В. Ф. Раевский, и отвезен в Тираспольскую крепость для опроса в особой следственной комиссии. Неслучайно, видимо, в тревожный момент, накануне ареста Раевского, Липранди берет трехмесячный отпуск и оставляет Кишинев (30 января 1822 г.). Это, впрочем, не спасает его. 11 ноября 1822 г. он вынужден выйти в отставку. Только три года спустя, в конце 1825 г., Липранди снова был принят в войска. Таким образом, во вторую половину пребывания Пушкина в Кишиневе Липранди, как и Сильвио, находился в отставке, но продолжал вращаться в прежней офицерской среде, «не будучи военным».

Свидетельство Волконского проливает свет и на революционную роль Липранди. В военном обществе 20-х годов он — представитель «передовых мыслей и убеждений». Его принимают в состав тайного политического общества, он близкий друг «первого декабриста» (по формуле П. Е. Щеголева¹⁾ — В. Ф. Раевского, и, наконец, за верность своим убеждениям он вынужден прервать свою блестящую военную карьеру и выйти в отставку. В эпоху общего воспламенения Европы и восстаний в Италии он решается заявить о своем желании стать в ряды восставших. Мы видим, что в кишиневский период Пушкина Липранди стоял

«на ультрасвободном грунте». Вспомним, что это была эпоха заразительного политического брожения на Западе, сильно увлекшего русских военных, проделавших заграничные походы.

Это настроение Липранди сказалось и в эпоху декабрьского движения. Герцен впоследствии решительно называл его «членом Тайного общества 1825 г.»²⁾. Его прикосновенность к декабрьскому движению одно время считал несомненной Вигель. Его ближайший начальник и покровитель Воронцов секретно сообщал в Петербург об арестованном Липранди, что относительно него «сомнение превратилось в явное подозрение».

Пушкин, конечно, и отдаленно не догадывался о тайной политической миссии Липранди³⁾. Он верил в искренность вольнолюбивых речей и толковника, и несомненно считал его в стане революционеров. Липранди, — пишет Пушкин Вяземскому 2 января 1822 г., — «мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством, и в свою очередь не любит его» (Письма, I, 25).

О причастности Липранди к Тайному обществу Пушкин был, видимо, осве-

¹⁾ «Какой благородный поступок со стороны Перовского и его клеврета Липранди — некогда члена Тайного общества 1825 г. и впоследствии пшиона» (Герцен, соч., IX, 598).

²⁾ Одна фраза из «Выстрела» могла бы показаться намеком на такую правильную осведомленность Пушкина в деятельности Липранди: «Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с гадюком (то, что французы называют *bonnet de police*, полицейской шапкой); он ее надел» и пр. Этот необычный французский термин полицейского головного убора мог бы ввести в сомнение, если бы не точная картина взаимоотношений Пушкина и Липранди, исключаяющая всякую возможность такого предположения. Остается думать, что Липранди сообщил Пушкину кое-что из своей деятельности во Франции в тех пределах, приемлемых и даже обязательных военных поручений, о которых он рассказал впоследствии в печати. Заговоры, Видок, таинственные преступления — все это представляло собой соблазнительный материал для бесед Липранди с Пушкиным. Но не может быть никакого сомнения, что поэт и отдаленно не догадывался о тайной полицейской службе Липранди в России. Он искренне считал его революционером и врагом правительства и за это особенно ценил его.

¹⁾ П. Е. Щеголев. Декабристы. Л., 1920.

домлен. Сам Липранди сообщает, что «Пушкин принимал живейшее участие в судьбе В. Ф. Раевского и чрезвычайно любопытно узнавать причину его ареста». Между тем, Липранди в известной степени разделял судьбу Раевского, и интерес Пушкина должен был распространяться и на него.

Естественно предположить, что Липранди, вообще щеголявший радикализмом, должен был широко учитывать оппозиционные настроения сосланного Пушкина и открыто демонстрировать перед ним свою показную революционность. Автор «Кинжала», антиправительственных нозлей, эпиграмм на царя и министров представлял собою благодарного слушателя для кишиневского вольтерьянца и карбонария.

Последний термин особенно применим к тогдашним ролям Липранди. Мы видим, что он с исключительным интересом отнесся к делу итальянских «угольщиков», т.е. революции в Неаполе в 1820—1821 гг., когда он стремился даже стать в ряды инсургентов. По свидетельству Волконского, Липранди даже пострадал за свое сочувствие мятежным неаполитанцам — и нужно думать, что соответственные речи о европейской революции были учтены военными следователями и сыграли свою роль при постановлении приговора.

С ноября 1822 г. Липранди в глазах посвященных и сочувствующих был окружен некоторым ореолом жертвы за смелые убеждения и горячую приверженность великому делу освобождения европейских народов от тиранического гнета Священного Союза. Передовое общественное мнение Европы было всецело на стороне революционного Неаполя, стремившегося сбросить с себя иго бурбонской Франции и меттерниховской Австрии.

Нам становится ясной неожиданная на первый взгляд концовка «Выстрела», вполне закономерно завершающая цельную композицию главного образа.

На глазах у Пушкина Липранди как бы принимал муку за стремление освободить чужую народность от тяжкого реакционного гнета. Этот жест и нашел отражение в героическом эпилоге

Сильвио, гибнущего в борьбе за освобождение восставшей Греции. Если Липранди мечтал вести народные ополчения итальянской армии на штурм старых монархий, Сильвио «предводительствовал отрядом этеристов» и пал в знаменитом революционном сражении.

Таким торжественным штрихом завершает Пушкин образ своего героя, до конца стремясь точно фиксировать свое творческое впечатление от одной необыкновенной личности и судьбы.

IX

Краткая история знакомства Пушкина с Липранди внесет в нашу тему необходимую хронологическую ясность.

По приезду в Кишинев, Пушкин сейчас же познакомился с Липранди. Приехав на место своей ссылки 21 сентября 1820 г., он уже 23 сентября встречается у М. Ф. Орлова с этим видным офицером его дивизии, с которым довольно быстро сближается. Липранди вспоминает их «приятные, веселые беседы» в первые же недели их знакомства.

Пушкин действительно становится вскоре его постоянным посетителем, слушателем его рассказов, читателем его библиотеки.

Тридцатилетний полковник, проделавший три кампании, естественно превращается в руководителя двадцатилетнего юноши, заброшенного в «чужие степи». Он способствует акклиматизации Пушкина в полувоенном кишиневском обществе и нередко выводит его из беды. Со своей обычной точностью и несомненной исторической правдивостью Липранди излагает несколько случаев, когда его вмешательство расстраивало поединки, в которых поэт с обычной беспечностью ставил по пустякам свою жизнь на карту¹⁾.

Он заботился и о научном развитии Пушкина. В качестве дилетанта-уче-

¹⁾ Вызов Пушкиным двух полковников — Ф. Ф. Орлова и А. П. Алексева, решение стрелять с неизвестным нам лицом за вопрос: «Как! Вы поэт, и не знаете об этой книге?» и проч. Во всех этих случаях Липранди осторожно и умно устранял опасность.

ного и отчасти литератора (впоследствии Липранди расценивали, и не без основания, как довольно заметного военного писателя) он правильно угадывает направление интересов молодого поэта. Он устраивает ему нечто в роде экскурсий по историческим местностям Новороссийского края. Служебная поездка в Аккерман и Измаил в 1820 г. представляет собою некоторую экспедицию на место ссылки Овидия, поездка в Бендеры в 1824 г. имеет целью осмотр мест, связанных с именами Карла XII и Мазепы. В попутных беседах штабной полковник развертывает свою обширную эрудицию по географии, истории и этнографии страны, излагая ряд специальных сведений, столь драгоценных для его слушателя-поэта. В Бендеры он даже привозит в своих чемоданах научную литературу о войне со шведами, старинные путешествия, военные карты, планы лагерей и крепостей, изображения исторических деятелей. Все это отлагается в творческой памяти его гениального слушателя, и через несколько лет в эпилоге «Полтавы» еще звучат явственные отголоски этих бендерских бесед, осмотров и прогулок.

Все это внушало Пушкину несомненное уважение к Липранди. В бумагах поэта сохранился хвалебный отзыв о кишиневском полковнике, «соединяющем ученость истинную с отличными достоинствами военного человека» (Бумаги Пушкина, I, 279). В своих письмах к разным лицам он «дружески обнимает» Липранди, — называет его своим «добрым приятелем», считает его среди несколько лиц, «близких своему воспоминанию». В одном из одесских писем он даже сознается, что ему «брюхом хочется видеть Липранди».

Вот почему отзвуки автобиографического признания слышатся нам в заявлении автора «Выстрела» о Сильвио: «Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностью¹⁾».

¹⁾ Ряд автобиографических признаков этой новеллы не подлежит сомнению. Еще Верте-

Их личные отношения закончились в 1824 г. За две недели до выезда Пушкина из Одессы, т. е. в июле 1824 г., Липранди виделся с ним в последний раз. «Два-три письма в нескольких строчках, из коих последнее было из Орла, когда он ехал на Кавказ к Паскевичу, заключили наши сношения¹⁾».

Пушкин, впрочем, продолжает ласково упоминать Липранди в своих письмах. Не лишено интереса, что в последний раз он это делает через два месяца по окончании «Выстрела», в декабре 1830 г. («Выстрел» был написан 12—14 октября)²⁾.

X

Образ Липранди не мог не привлечь к себе художественного внимания Пушкина. Потомок испанских грандов, участник наполеоновских походов, независимый противник существующей власти, байронически сочувствующий поднявшейся европейской вольнице; при этом, бесстрашный дуэлист, знаток экзотических стран юго-востока, стратег и историк, боевой офицер, избородивший все военные пути Европы от Иденсальми до Бородина и Парижа, герой знаменитых сражений, отличенный уже на двадцатом году золотой шпагой, чтоб затем неожиданно выйти из полка за причастность к тайному

нев указал, что в повести «Выстрел» ряд черт очевидно принадлежит Кишиневу. Он же отметил, что в первой дуэли Сильвио Пушкин приписал молодому талантливому графу «собственные действия в кишиневском поединке с офицером генерального штаба З.» (завтрак черепяки у барьера).

¹⁾ Письма Пушкина к Липранди до нас не дошли. По сообщению самого Липранди, у него хранились 5 писем Пушкина, пропавших в 1851 г. во время отъезда его за границу («Русский архив», 1866, стр. 1450). В. Л. Модзалевский условно приписал Липранди адресатом одной кишиневской записки Пушкина. (Письма, I, № 19).

²⁾ Для полноты нашей хронологии отметим, что Липранди надолго пережил Пушкина. Он скончался 90 лет от роду 9 мая 1880 г. Хорошо помнивший время Екатерины II, он умер накануне открытия московского памятника Пушкину и знаменитой речи Дюгосевского. Над свежей могилой Липранди громко прозвучали два литературных имени, с историей которых он был так тесно и так различно связан...

политическому обществу; человек загадочных контрастов—роскоши и нужды, кутежей и пасмурных раздумий, кровавых подвигов и сосредоточенной мысли; хладнокровный мастер пистолета, участвующий во всех поединках, и при этом владелец редкостного военно-исторического книгохранилища,— все это, вместе взятое, сплеталось в интригующий и привлекательный образ, столь благодарный для разработки романтическим поэтом. Подполковник 16-й пехотной дивизии Иван Петрович Липранди не мог не поразить фантазии двадцатилетнего автора «Кавказского пленника». И он, действительно, оставил свой след в творческой памяти поэта.

Не подозревавший о художественном преображении кишиневского штаб-офицера в беллетристике Пушкина, их общий приятель Горчаков совершенно правильно свидетельствовал впоследствии, что Липранди «своей особенностью не мог не привлекать Пушкина: в приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического, — не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях»¹⁾.

Пушкин, мы знаем, питал жадный интерес к таким фигурам привлекательных авантюристов и отважных чудаков. Якубович, тоже отважный воин, мрачный герой, бреттер и участник тайных обществ, долго был героем его воображения. Толстой-американец, получивший от Грибоедова прозвание ночного разбойника и дуэлиста, привлекал внимание Пушкина и, как известно, послужил ему моделью для секунданта Ленского. Мог ли он пройти равнодушно мимо кишиневского офицера, поражавшего своих однополчан не только остротой ума и обширностью познаний, но еще более оригинальностью своего быта, глухой и соблазнительно славою загадочного политического заговорщика?

Липранди, действительно, выступил перед поэтом «героем таинственной какой-то повести», и именно таким впо-

следствии вступил в его собственное творчество.

* * *

Все это могло бы вызвать в нас некоторую тревогу. Зная позорную изнанку жизни и деятельности Липранди, мы, естественно, могли бы пожалеть об эстетической канонизации этого отталкивающего персонажа под оживляющим пером Пушкина.

Но в плане своих личных отношений и творческих восприятий поэт не ошибся. У мрачного провокатора, случайно вступившего в его биографию, была одна искупительная черта. Этот холодный сыщик, поставивший под расстрел Достоевского, искренне любил Пушкина. Мы уже видели, что история их близости непрерываемо свидетельствует о глубоком внимании и нежной опеке старшего друга над его юным сотоварищем, которого он приобщает к своему житейскому опыту и научной культуре, не переставая оберегать повышенное самолюбие, обостренное чувство чести, духовные интересы и даже нередко жизнь Пушкина.

Друзья поэта высоко оценили эти отношения. Баронесса Вревская (в девичестве Евпраксия Вульф), горячо преданная памяти своего Тригорского поклонника, в 1839 г. в доме Сергея Львовича много беседовала с постаревшим уже Иваном Петровичем о их покойном общем друге и вынесла из этого разговора впечатление, что, Липранди «восторженно любил Пушкина» («il l'a aimé avec entousiasme»).

Поэт, мы знаем, не остался в долгу. Он запомнил образ своего кишиневского приятеля и по-своему обессмертил его. Он пронес сквозь свои литературные и жизненные скитальчества воспоминание об одном необычайном офицере Орловской дивизии и во всей свежести яркого художественного восприятия сохранил его в своей поэтической памяти.

И вот однажды, в золотую болдинскую осень, среди пышного творческого праздника, между «Моцартом и Сальери» и эпилогом «Онегина», поэт вспомнил увлекательный рассказ спутника своих южных кочевий. Бреттерский анекдот развернулся в драго-

1) «Московитянин», 1850 г., № 7, отд. 1, стр. 196—197.

ценную новеллу, а самый рассказчик его превратился в главного героя этой короткой и трагической повести.

Нам остается взглянуть в художественные принципы Пушкина при этой зарисовке эпохи и портретировании современников.

XI

Мы видели, что художественный метод Пушкина в изображении Сильвио сводится прежде всего к точной фиксации реальных черт его модели. Фантастический стиль образа несколько не нарушает общего тона достоверной мемуарной записи, господствующей в характеристике героя. Если Липранди сохранил для нас образ Пушкина в своих дневниках и воспоминаниях, поэт запечатлел таинственного полковника в плане своей художественной прозы, — в романтической повести, восходящей к подлинной житейской практике этого бесстрашно-го дуэлиста.

Поэт выполнил свое задание с изумительной близостью к непосредственным свидетельствам жизни и показаниям исторической действительности. Он сумел во весь рост зарисовать своего героя, схватив в своем портрете все выдающиеся черты его своеобразного облика.

Это тем удивительнее, что новелла о Липранди выдержана в излюбленном Пушкиным жанре короткого и стремительного рассказа.

Основной принцип пушкинской прозы «*narré rapide*» нигде не изменяет ему в «Выстреле». Лаконизм характерный, сжатость изложения, сюжетная сосредоточенность рассказа могут считаться здесь образцовыми. Приходится поистине удивляться, как при соблюдении этих неумолимых условий быстрого повествования автору удалось вобрать в него такое обилие подлинных черт, запечатлеть столько характерных линий своей модели, наконец, с такой непрерываемой достоверностью наметить в герое этого необыкновенного приключения подлинную биографию исторического лица. Зоркость наблюдения и точность момен-

тальной зарисовки здесь одинаково поражают. В одной фразе Пушкину удается выразить целый жизненный этап или основное свойство характера Липранди, т. е. те черты и факты, на изображение которых Вигелю, Волконскому или другим мемуаристам потребуются впоследствии обстоятельные и детальные описания.

«Быстрый карандаш» Пушкина уверенно и мастерски, в нескольких штрихах, с максимальной выразительностью зачерчивает поразивший его необычайный профиль современника.

Нельзя не удивляться и силе художественной памяти Пушкина. От Кишинева и Одессы до Болдина прошло шесть-семь лет, от первых встреч с Липранди — целое десятилетие. Где только не побывал Пушкин за эти годы и кого он не перевидел на своем пути! Какие крупные исторические события, личные впечатления и творческие раздумья пронесли за это время в его сознании... А между тем, точность его зарисовки равносильна записи дневника, непосредственно записанной после встречи и беседы. Свежесть его впечатления, отчетливость его воспоминания, характерная острота и выпуклость однажды схваченного образа ни в чем не потускнели и не сгладились. Художественная память Пушкина поистине может поспорить в достоверности с официальными документами или историческими свидетельствами эпохи, тем более, что точная фактичность показаний здесь как бы усилена и углублена ясновидением творческого сознания.

Это относится в равной степени и к живописи исторического фона. Так же, как сложная личность Липранди схвачена целиком в гениальных ракурсах пушкинского портрета, так и вся эпоха этих походов и заговоров сосредоточена в коротеньком очерке Белкина.

Неподражаемый темп рассказа застывает от нас его временную длительность и как бы скрадывает глубину исторического фона. А между тем, эта маленькая повесть захватывает период не менее, чем в пятнадцать лет. Вспомним, что от пощечины, полученной Сильвио, проходит шесть лет до

его второго поединка; пять лет истекают от этого момента до рассказа графа; только спустя некоторое время автор узнает о смерти Сильвио под Скулянами, т. е. в 1821 г. К этому следует еще присоединить некоторый срок гусарской службы Сильвио до пощечины и даже до вступления в полк графа Б. Таким образом, общий срок рассказа захватывает примерно период от 1806—1808 до 1822 гг. Повесть начинается в эпоху, когда гусарские полки действительно взрывали копытами дороги царства польского, и заканчивается в момент, когда офицеры русской службы шли командовать отрядами гетеристов.

Какой широкий отрезок времени, а главное, — какой насыщенный событиями период! Ведь именно о нем вспоминал Пушкин:

Метались смятенные народы,
И высились и падали цари...

Таким образом, исходя из живописной фигуры одного офицера, Пушкин дал нам малую повесть, которая представляется на первый взгляд авантюрной новеллой, но по существу уже предвещает исторический роман. Если расшифровать здесь все знаки, если взойти по всем разбросанным намекам, если развернуть тесно сомкнутое кольцо сюжета и пристально взглянуться в раскрывающиеся за ним перспективы истории и жизни, — этот полковой эпизод широко распахнет перед нами окна в бурную и героическую эпоху своего возникновения. Художник беспрерывно

ощущал ее в момент создания «Выстрела» и зорко хранил в своем кругозоре обширный цикл исторических событий и образов, еле зачерченных им в скупых и лаконических чертах. Стиль «Выстрела» это — максимальная концентрация художественного письма, вбирающего в себя огромные фрагменты истории и быта. Эти беглые фразы не перестают сигнализировать нам своими мгновенными знаками о каких-то больших и катастрофических событиях. Перед нами в двух коротеньких главках разворачивается целая хроника эпохи с ее балами и дуэлями, жизнью армейской дивизиц и буйным бытом гусарского полка, шампанским, пуншом и картами, либеральными офицерами, прекрасными полками и графинями-амазонками. И в довершение этого вихревого разворачивания целого царствования, перед нами проносятся исторические профили Александра Ипсиланти и «славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым». Это, в сущности, целая эпопея, сжатая в один офицерский анекдот, это, в известном смысле — «Война и мир» на четырех страницах. Ибо весь героический период александровской эпохи, с ее отгудами знаменитых сражений и первыми грозowymi предвестиями декабризма здесь раскрыт в такой моментальной вспышке, и запечатлен с такой ударностью, быстротой, уверенной силой и ослепительной яркостью, что повесть поистине имеет право называться «Выстрел».

3. КРИТИКА „КРИТИКОВ“

А. Лежнев

Статья вторая ¹⁾.

1. Усложнение монеры или в поисках штампованного человека

1

Лузгин гармоничен, как аккорд на расстроенном рояле. Он — совершенен: как круг, как нуль. Но его совершенство — совершенство монеры. Его равновесие — равновесие простейшей системы.

В Ермилове оно нарушено. Если Лузгин — напостовский классик, то Ермилов — напостовский романтик. В нем нет уже этой законченности, этой строгости соответствий; она уступила место импрессионизму, настроению, случайности. Лузгин — медлителен и вял. Ермилов — резв и напорист. Лузгин потеет теорией. У Ермилова она

¹⁾ См. «Новый Мир», кв. 4.

бьет полной струей. Лузгин привержен к основным вопросам методологии искусства, над которыми тщетно морщит свое многодумное чело. Ермилов предпочитает критическое наездничество, легкую рекогносцировку, эффектные стычки. Лузгин с трудом проживает свою жесткую, как подошва, мысль, Ермилов не столько аргументирует, сколько порхает, как мотылек, — от цветка к цветку. Но он уже отравлен их соком. И поэтому он так жаждет гармонии.

У романтиков, как известно, в особом почете интуиция. Не та интуиция, которая входит необходимым элементом во всякое творчество, в том числе и научное, а та интуиция, которая стремится заменить собой науку, знание. Ермилов — мастер догадки. Скажу даже: гаданья. Да, он — несомненно гадалщик.

Предположим, вы бы захотели написать о Киплинге. Для этого вы перечитали бы его произведения, ознакомились с его биографией, с социальными условиями его страны и его эпохи, с состоянием английской литературы, вы заглянули бы в библиотеку, сделали бы ряд предварительных работ и т. д. Не так поступает Ермилов. Его метод иной. Он берет стакан густого черного кофе и начинает пристально вглядываться в гущу. Это занятие продолжается неопределенное количество времени, пока, наконец, из кофейного мрака не начинают вырисовываться смутные образы. Вот они уплотняются все больше и больше, вот они надвигаются на Ермилова, и Ермилов начинает вещать: «Американец Киплинг — откровенный поэт клыкастой империалистической буржуазии. Романтика Киплинга, конечно, чужда каких бы то ни было феодально-дворянских элементов — и не только потому, что он — поэт американской буржуазии, а и потому, что сильный буржуазный хищник Америки не нуждается в переливании в свои жилы крови феодального хищника»¹⁾.

¹⁾ «За живого человека в литературе», стр. 176—177. Все дальнейшие цитаты взяты из этой книги, в которой Ермиловым заботливо собраны все его статьи и заметки по 1928 г.

Тщетно стали бы вы доказывать Ермилову, что Киплинг — не американец, а англичанин, всю свою литературную работу посвятивший воспеваю империализма, что «феодальные» мотивы вовсе не чужды его поэзии, что об английском характере его империализма говорит каждая строчка его индусских рассказов. Тщетно бы стали приводить цитаты из его произведений и несомненные факты его биографии. Тщетно стали бы вы убеждать Ермилова, что сперва надо прочесть Киплинга, а потом уже писать о нем. Магия не признает доводов от разума и голоса обыденных фактов. И недаром Лузгин говорит, что каждый сам себе метод и сам себе критерий.

2

Кофейная гуща и собственный большой палец пребывают единственными источниками вдохновения и учености Ермилова. Вот он берется писать исследование о фельетоне. Он ошарашивает нас едва ли не с первой страницы. «Как известно, у французов понятие «фельетон» означает «шевеление пустяков» (стр. 153). Мы поставлены в тупик. «Как известно», фельетон в буквальном смысле означает «листок»; это название произошло от того, что фельетоны первоначально печатались на выданном листе, а только потом заняли характерный для них «подбал». В смысле же литературного жанра фельетон у французов означает приблизительно то же, что и у нас, с той только разницей, что у французов это «понятие» шире и включает в себя также «исторический» фельетон. Откуда взял Ермилов свое удивительное определение, кому оно «известно», по чему у него французы выражаются таким изящным стиль-руссом, достойным провинциального фотографа, — остается его интимным секретом. Мы на него не посягаем — из скромности.

Понятно, когда изучение предмета заменяется черной магией, из этого не может ничего получиться, кроме «шевеления пустяков». «Шевелением пустяков» и оказывается большая часть литературоведческих экскурсов Ермило-

ва. «Коренное отличие» фельетона от рассказа он видит в том, что в фельетоне допустима фальшь, шаблон, «фабульная затрепанность» и другие «неисчислимы пороки». Ермилов намекает, вероятно, на свои собственные статьи. Однако, хотя в них достаточно и фальши и шаблона, мы не скажем, что это — фельетоны, а скажем, что это — юмористика, хотя невольная. Ермилов может, таким образом, убедиться, что его определение неспецифично¹⁾.

«Шевеление пустяков» — генеральный принцип Ермилова. Встретив у своего противника слово «трансплантация», он задает ему вопрос: «Почему бы не сказать по-русски—перенесение» (стр. 219). А потому, дорогой Ермилов, что трансплантация значит не перенесение, а пересадка, — железнодорожная, не путайте, а пересадка ткани, например. Но стоит ли обращать внимание на такие пустяки—(предоставим их «шевелению» фельетонистам), когда, перелистав страницу, мы вынуждены вновь конфузливо отвести глаза, стараясь не встретиться взглядом с Ермиловым. Оспаривая мнение Полонского, считающего, что Пильняк «метельность», т. е. совершеннейший беспорядок, сделал принципом творчества», Ермилов заявляет, что в таком случае произведения Пильняка—«вне искусства»: «Мы всегда думали, что Пильняк — художник, писатель. По Полонскому же выходит, что это просто версификатор какой-то» (стр. 217). Нельзя употреблять слова, смыс-

ла которых не знаешь. Версификатор значит — делатель, кропатель стихов, поэтому, если бы даже Полонский и отрицал за прозаиком Пильняком качества подлинного художника (согласимся на минуту, что это так), то и тогда нельзя было бы сказать, что тем самым он приравняет его к версификатору. Только человек совершенно беззаботный насчет элементарной грамотности способен делать такие... ошибки.

Черная магия Ермилова расшифровывается очень просто. Это — невежество, и не простое, а квалифицированное, биквадратное невежество. Невежество манерное и претенциозное. Как дикарь украшает себя стеклянными бусами, перьями и кольцами в носу, так и Ермилов любит щеголять французскими словечками, немецкими терминами, азбучными максимами, истрепанными и убогими, но которые ему кажутся пределом утонченности. Он небрежно бросит фразу о «Sturm und Drang'e» (о, верх учености!), он что-то такое проронит относительно «mots», он упомянет вскользь, что, «как известно», у французов фельетон означает «шевеление пустяков» (ах, эти французы! Как они подводят бедного Ермилова!), он протянет в нос, что «у тов. Зонина получилось то, что французы называют «ridicule» (а почему бы не сказать по-русски: смешное). Он блеснет портативной, потертой истинной из отрывного календаря, в роде того, что «удивление — мать философии». Но если удивление — мать философии, то читатели Ермилова должны превратиться в заядлых философов: им приходится удивляться на каждой странице его книги. Если же мать философии — любознательность, то Ермилов навсегда избавлен от опасности стать философом. Тернии философского пути его минуют, и он до конца своих дней будет сидеть в редакторском кресле «На Литпосту».

3

Ермилов нелюбознателен. И так как он ничего не знает, то он не знает и сомнений. Он безапелляционен, как таблица умножения. «Мы — люди бодрые

¹⁾ Ермилов пишет: «То, что воспринималось бы в рассказе, как фальшь, воспринимается в фельетоне, как вполне законное и приемлемое» (стр. 156). Это категорично, но смахивает на анекдот. Всякая ли фальшь и в любом ли виде допустима в фельетоне или не всякая? Если всякая и в любом виде, то пред нами, очевидно, не особый литературный жанр, а просто плохая литература. Если не всякая, то определение и должно начаться с того, при каких условиях фальшь перестает быть фальшью и становится художественным фактором. А Ермилов этого-то и не делает. Удивительный его тезис может иметь только тот смысл, что фальшь в фельетоне не ощущается из-за юмористической интонации. Но ведь то же самое можно сказать и относительно юмористического рассказа. В чем же тогда специфика?

и самоуверенные!», заявляет он. О, да! — соглашаемся мы, — и даже чересчур, — особенно, если принять во внимание необременительность вашего научного багажа. Конечно, невежество, может быть, и не позор, а несчастье, но это такое несчастье, которое следует поскорее ликвидировать. Ермилов же вовсе не собирается ликвидировать. Наоборот, он еще судит и поучает, он упрекает других в невежестве. Он заявляет, что ему «отчаянно надоело употреблять термин «безграмотные», по отношению к своим противникам. Это ему-то, автору «Примечаний к Редьярду Кипплингу»!¹⁾ И не покраснеет же человек, и не дрогнет же рука!

В числе излюбленных своих трюизмов Ермилов приводит, кажется, известное изречение: «Человек — это стиль». Говорю: кажется, потому что общих мест у него столько, что нет никакой возможности их запомнить. Недаром же Ермилов предлагает любому желающему воспользоваться кое-чем из его собственного, ермиловского, «личного запаса» трюизмов (стр. 228), запаса, видимо, очень богатого. Во всяком случае, к Ермилову приведенный афоризм подходит как нельзя лучше. Его безапелляционность и нахрап находят свое точное соответствие в его стиле. Он любит повелительные интонации: «Зарубите все это на носу, тов. такой-то!». О своих противниках он пишет: «Скупой и бережливый по природе своей» Жиц в обычное время занимается бухгалтерией или служит фармацевтом, или занимается частными коммерческими операциями. Он аккуратно ведет приходо-расходную книгу, куда заносит: «Гонорар за статью о Есенине — столько-то. Жене на кинематограф — столько-то. На выпивку — столько-то!». Натуралистическая экспрессия его языка необычайна: «завязший в своих липких испражнениях человечиска», «девка», которая «ухитряется в общем гуле, смуте и мраке очень рельефно совокупиться и даже

на глазах у всех сделать необходимые физиологические отправления», «некоторые «кусочки» Пильняка, посвященные А. К. Воронскому и имеющие очень неприятный запах». Это — словарь исправника или армейского капитана, да еще находящегося «под шефе». Это — нечто среднее между стилем пасквиля и начальственной распеканцией. Не надо вовсе симпатизировать взглядам Жица (который, кстати, проводит теперь почти-что ортодоксальную напостовскую линию), чтобы почувствовать отвращение к такого рода приемам литературной полемики.

Она столь же грамотна, сколь и пристойна. Ермилову ничего не стоит написать: «Прекратили рост Рингов, Мещеряков и другие» (стр. 127), как-будто рост — нечто, зависящее от воли человека, нечто такое, что он может по произволу вызывать и прекращать; или: «Кольцов любит «прикрепить» человека в какой-нибудь внешней детали» (стр. 158) (раз «любит», то значит действие многократно повторялось, значит надо «прикреплять», а не «прикрепить»). Его метафоры умопрачительны: «Новое лицо Федина в том, что он совсем не хочет показать своего лица» (стр. 46) (лицо в нежелании показать лицо — это почти заумь), «В пролетарской литературе есть как бы вершины, которые являются как бы пещкой, от которой нужно танцевать» (стр. 107). Дальше эти «исходные вершины» оказываются уже «критерием»¹⁾. Эти примеры показывают, что Ермилов не чувствует вкуса слова, его прямого смысла. Метафорический ряд должен быть построен так, чтобы сохранилась не только логика переносного значения, но и логика сцепления образов. Поэтому вершина, представленная в виде пещки, от которой танцует (не впрямую ли?) этаким человечек в роде Ермилова, способна произвести лишь сильно комическое впечатление.

Примеры эти можно без труда умножить. В книге Ермилова 311 страниц и на каждой попадаете какой-нибудь перл. Но вылавливание их — занятие

¹⁾ К сведению Ермилова: Кипплинга зовут Редьярд (Ридьяр). Он родился в Бомбее, в 1865 году, учился в Англии, много путешествовал, и, хотя империалист, имеет ту хорошую особенность, что пишет только о том, что знает.

¹⁾ «У нас имеются вершины, которые являются для нас критерием» (стр. 122).

утомительное и неблагодарное. И хотя многочисленные образцы учености и стилистического изящества Ермилова заранее настроили нас на скептический лад, следует все же перейти к содержанию его статей по существу. Во имя чего сражается, твердит зады и демонстрирует свое невежество Ермилов?

4

Начнем с теории, к которой Ермилов, правда, гораздо менее привержен, чем гармонический Лузгин. «Методы (и пути развития) искусства, одной из функций которого является познание жизни», вещает наш хранитель марксистских заветов, «бесспорно близки методам науки¹⁾». Белинский в его «Взгляде на русскую литературу 1847 г.» писал: «...видят, что искусство и наука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе образовывать данное содержание».

Одной из отличительных черт напостовцев является их удивительное мастерство самих себя опровергать теми цитатами, которые они приводят в доказательство. Белинский говорит, что разница между искусством и наукой не в содержании, а в способе образовывать содержание, т. е. в методе (искусство «образовывает содержание» посредством образов, наука — посредством понятий), т. е. Белинский говорит обратное тому, что утверждает Ермилов, заявляющий, что в методе сказывается не различие, а сходство науки и искусства.

Но слова Ермилова — не случайная обмолвка. Мы уже видели, как продуктивно потел над этой проблемой Лузгин и к какому выводу он пришел. К выводу: искусство отличается от науки своим «предметом», содержанием. Теперь перед нами — законченная система, начало которой положил Лузгин, а завершил Ермилов. Искусство разнится от науки своим содержанием и сходствует методом. Иначе говоря, система, противоположная взглядам Плеханова-Белинского, «скромными» учениками которых напостовцы себя застенчиво

квалифицируют. Действительно: скромные! ученики! Белинского!

Могут спросить: какое практическое значение имеет эта разница в формулировках? Не схоластика ли — заниматься их анализом, придирается к словам, ловить на противоречиях? Отнюдь нет. Из этих отвлеченных положений вытекают самые конкретные следствия.

Если искусство не имеет своих специфических методов, то нет возможности провести какую-либо грань между искусством и неискусством. Принимая, как данное, отсутствие принципиальной разницы между методами искусства и науки, мы должны утверждать то же самое и о публицистике, ибо, по отношению к искусству, наука и публицистика находятся в одинаковом положении. В таком случае, всякая статья, всякая корреспонденция, всякая разоблачительная заметка, всякий судебный отчет, мало того, всякое объявление о пропавших документах и продаже щенка должны быть сочтены за произведение искусства, а если в них достаточно пошлости и фальши — окатиться высокосортными фельетонами. Тут нельзя даже укрыться под сень лузгинской оговорки об отличии «предмета» искусства: я сознательно подобрал примеры конкретной публицистики, рассматривающей конкретные действия конкретных людей²⁾. Незаметно для себя, но неизбежно, люди, защищающие ложный тезис Ермилова, должны притти к лефовской теории замены литературы газетной работой, к лефовскому отрицанию искусства.

Ведь и лефы начинали с того, что ставили знак равенства между метода-

1) Напоминаю: «Оговорка» Лузгина состоит в том, что искусство «познает не природу, не общественные закономерности», а конкретного человека и его конкретную деятельность (у него это выражение туманнее и запутаннее — с разными бессмысленными терминологическими выкрутасами, в роде «чувственного переживания», но смысл, насколько его можно уловить, именно таков).

Объявления, конечно, не являются «публицистикой», но в качестве примера, показывающего, куда приводит отрицание специфичности методов искусства, они так же законны, как публицистика. Тем более, что «предмет» их вполне конкретен.

1) Подчеркнуто всюду и дальше мной. А. Л.

ми науки и искусства. Более умные и начитанные, они делали это в форме долженствования: искусство должно перейти к методам науки. Эстетический «момент» отменялся: художник руководствуется отныне целесообразностью, требованиями техники, назначением вещи — и ничем другим. Но тогда искусство должно исчезнуть? Что ж, тогда ему и дорога, — говорили наиболее последовательные из них. Разница между лефами и Ермиловым та, что лефы понимают, что при отрицании специфичности методов искусства для последнего не остается места, а Ермилов не понимает. Но недомыслие никогда еще не оказывалось преимуществом.

Конечно, нет абсолютной противоположности между методами искусства и науки. Границы здесь относительны, как и всякие границы. Мы говорим о растении и о животном как о двух разных типах органического развития. Дерево и млекопитающее убеждают нас в том, что это деление не надуманно, а покоится на реальных различиях. Но существует мир простейших организмов, где эти различия, такие явные при сравнении высших растений и высших животных, стираются, делаются едва уловимыми — и классификаторы нередко колеблются, куда им отнести того или другого его представителя. Такая переходная область существует между искусством и наукой, публицистикой и т. д. По мере развития и дифференцирования науки, эта область суживается, но она и сейчас еще достаточно велика. Сюда относятся мемуары, путешествия, бытовые и этнографические очерки — словом, все те промежуточные формы, которые сейчас выдвигаются лефом, как замена собственно художественной литературы. Но сближение литературы и науки происходит и иным путем. Разрушая в своем развитии промежуточные формы¹⁾ и, таким образом, обрывая старую пуповину, которой она связана с искусством, наука срачивается с ним с другого конца, вторгается в него через другие ворота. На-

учное мировоззрение все полнее овладевает художником. Оно расширяет область его тем. Оно вызывает в нем потребность в большей точности описания. Оно приучает его пользоваться документом, производить обследование, проверять свой глаз. Это влияние огромно — и, конечно, оно доказывает, что нет непроходимой пропасти между искусством и наукой. Но надо знать границы этого влияния. Оно не затрагивает основного принципа искусства, его творческого метода. Художник может обследовать трущобы Парижа как статистик, как репортер, как фабричный инспектор. Но при оформлении материала он не пойдет ни путем статистика, ни путем репортера. Он пойдет путем художника. Золя пользовался документами, цифрами, газетными сведениями, но он их превращал в некоторую эстетическую данность. А это превращение возможно только при помощи специфического художественного метода.

5

Ермилов доказывает близость методов науки и искусства не зря. Теория служит у него лишь оправданием известной «практики». Ход его рассуждений таков:

Перед наукой — конкретная действительность. «Конкретное, как известно, буквально означает «сращенное». Конкретное, это — живое, всегда переплетенное «тысячами корней и нитей с множеством других явлений». Наука абстрагирует живое, разрывает его кровеносные сосуды, «останавливает жизнь». Таков путь научного познания. Но методы искусства близки к методам науки. Поэтому оно тоже вправе абстрагировать явления, что оно на первых порах и делает. Искусство молодого класса всегда не конкретно, а схематично.

Прежде всего, неизвестно, зачем Ермилову понадобилось прибегать к первоначальному смыслу термина. Это — такое же дурного тона щегольство, как усиленное употребление затасканных и ничего не говорящих французских словечек. Конкретное — сращенное, рели-

¹⁾ Так, разрушена история, как искусство, и на ее развалинах возникла история, как наука.

гия — связь, все эти ссылки на «буквальный» смысл или ничего не говорят, или служат для того, чтобы затемнить ясные понятия игрой слов. Для нас важно не первоначальное значение термина, а то значение, которое оно имеет сейчас. Сам же Ермилов сразу вынужден был соскочить со «сраченного» на «живое», доказав полную неужность своей ссылки.

Наука не только «разрывает сосуды», «останавливает жизнь», изолирует явления, но часто, наоборот, старается наблюдать явления в их связи, в их жизненной целостности; *in vivo* (на живом) такой же ее принцип, как *in vitro* (в стекле). Кроме того, изолирование явлений (например, в опыте), или изучение на мертвом — не совсем то, что абстрагирование. Абстрактно научное мышление, но не абстрактна научная методология¹⁾. Все же верно, что абстракция — вернейшее орудие науки. Но искусство конкретно по своему принципу. Чем больше в нем абстракции, тем меньше оно является искусством. Абстракция в науке — доказательство ее силы, в искусстве — его слабости.

Беду наших писателей—схематизм—Ермилов возводит в закон и превращает в добродетель. Во-первых, схематизм оказывается необходимым (первым) этапом в развитии всякой молодой литературы. В доказательство Ермилов приводит мешанскую драму XVIII века. Но ведь еще вопрос, надо ли начало буржуазной литературы считать именно со «слезливой комедии», а не отодвинуть дальше, например, к пьесам Мольера (оставаясь в пределах драматического ряда). Ермилову, может быть, известно, что такое мнение существует. А если оно справедливо, то выходит, что схематизм является уже не первой стадией, а какой-то последующей, а это никак в ермиловскую схему не укладывается. С другой стороны, так ли уже безоговорочно схематична буржуазная драма XVIII века? Пьесы Лессинга несомненно должны

считаться образцами этой драмы. А между тем, можно ли сказать, что «Минна фон Барнгельм» абстрактна? Я уже не говорю о таких вещах, как «Коварство и Любовь» Шиллера, написанных несколько позже, хотя и проникутых тем же духом, что и лессинговская «Эмилия Галотти». В словах Ермилова верно то, что схематичны, ходульны были положительные типы буржуазной драмы. Но ходульность этих типов еще не дает права считать схематичной буржуазную драму в целом. Во всяком случае, утверждение Ермилова требует существеннейших оговорок. Но ведь это — единственное основание, на котором покоится его «теория». Шаткий фундамент!

В нашей литературе схематизма сколько угодно. И не только в пролетарской, но и в так называемой крестьянской, в «попутнической» и т. д. Может быть, в пролетарской его больше, чем где бы то ни было. Но это надо объяснить, исходя из конкретных условий современности, из всей нашей обстановки, из бытия пролетариата, как класса и т. д., а не прибегать к голословным и бессодержательным теоретическим построениям, к «генеральным» гипотезам, выбрасываемым в фельетонном порядке, без того, чтобы их авторы давали себе труд обосновать их фактами. Так, быть может, причины мы бы нашли, например, в рационализме, свойственном революционной эпохе, о котором говорил еще Плеханов, в слабости художественной культуры у пролетариата (и поднятых им к активности широких масс демократических низов) сравнительно с буржуазией, которая в феодальном обществе занимала другое положение, чем пролетариат в буржуазном.

Для Ермилова схематизм не только неизбежный этап, но и желательный. Это — необходимое орудие познания пролетариатом действительности. Абстракции и схемы пролетарской литературы выполняют большую общественную и историческую роль. Поэтому Ермилов очень далек от их осуждения. Он их не столько объясняет, сколько оправдывает. И он думает, что он этим оказывает большую услугу пролетарским писателям.

¹⁾ Напрасно поэтому Ермилов ссылается на слова Маркса, говорящие именно о мышлении («В мышлении оно (конкретное) выступает, как процесс соединения» и т. д.).

Мы живем в мире железной необходимости. Все происходящее происходит в силу каких-нибудь причин. Но признать обусловленность явления — не значит преклониться пред ним, пасть пред ним ниц. А Ермилов распластывается перед фактом, бьет неистовые поклоны, расшибая лоб в кровь. Схема хороша потому, что схема существует — вот несложная формула его рассуждений. Тот, кто оправдывает схему, не может с ней бороться.

Ермилов назвал свою книгу «За живого человека в литературе». Но литература в его понимании не имеет ничего общего с живым человеком. В этом нас убеждает и его защита схематизма, и самый способ его аргументации. Наука «разрывает кровеносные сосуды», «останавливает жизнь»? Мы уже видели, что не всегда. Анатомию изучают на трупе, но физиологию можно изучить только на живом. Работа над мертвым дает материал лишь для описательных, морфологических наук. Наука о процессах, об организме, как функционирующем аппарате, исходит от живого. Теперь — как полагает Ермилов: литература, а особенно литература, проникнутая диалектико-материалистическим духом, аналогична наукам морфологическим или наукам, изучающим процессы, живое в становлении? Думаю, что двух ответов быть не может. Литература, которая бы ограничилась регистрацией наблюдений, была бы жалкой, ненужной, мертвой литературой. Литературой мелкого, поистине «бескрылого» бытовизма. Но, в таком случае, теории Ермилова и являются оправданием этого бытовизма. Схема и бытовизм — вот два предела, внутри которых мысль его чувствует себя особенно уютно.

6

Но все это только цветочки по сравнению с теми чудовищными утверждениями, которые мы встречаем у Ермилова дальше. «Именно штампом пролетарские писатели завоевали читателя» (стр. 33), заявляет он с ясным челом, торжественно призывая в свидетели классика марксизма Либединского. Вы протираете глаза, вы не вери-

те, что вы это действительно прочитали, вы думаете, что это ошибка, опечатка, недоразумение, вы перелистываете одну за другой страницы, чтоб убедиться, что это не так. Увы, нет! Ермилов сказал именно то, что хотел сказать. Дальше в лес — больше дров. «Читатель хватался за штамп, потому что чувствовал, что этот штамп отвечает его потребности в осознании общества» (стр. 33). «Схема и штамп пролетарской литературы отличаются тем, что это не мертвая неподвижная схема, а деловая схема работы» (стр. 103, подчеркнуто у Ермилова). И, наконец: «Презрительное отношение к штампу и схеме является не только проявлением худшего вида барства, оно является, кроме того, и проявлением простого невежества» (стр. 103). Элементарный такт должен был бы подсказать Ермилову, как неудобно ему, киплинговеду и создателю новой теории фельетона, упрекать кого-то бы то ни было в невежестве: чья бы корова мычала... Но особенно неудобно делать это тогда, когда самый характер упрека обнаруживает бездонное невежество упрекающего.

Ермилов валит в одну кучу две совершенно разных вещи: штамп и схему. Схема — упрощение действительности, грубо-приблизительный чертеж, в котором даны лишь основные линии реальных отношений, не рисунок, а остов рисунка, условный план. Ее абстрактность враждебна принципам конкретного искусства. Чем произведение схематичнее, тем оно (при прочих равных условиях) художественно слабее. Но в схеме все же уловлены основные линии реальности; поэтому она может служить орудием познания, — только не художественного познания. Мы и говорим защитникам схематизма: будьте последовательны, скажите открыто, что вы против художественной литературы, что вы за голую публицистику, за вытеснение «выдумки» газетой, за промежуточные жанры, станьте откровенными лефовцами.

Схема лишена художественной значимости. Но она может обладать значимостью познавательной. Не то штамп. Штамп предполагает какой-то уже су-

ществующий образец, который он с большей или меньшей точностью повторяет. Понятие изношенности, трафарета, шаблона входит в него основным элементом. Штамп — метафора, реальный смысл которой — механическое повторение готовой формы. Штамп — выражение оказывания литературы или ее неумения разбираться в окружающей действительности. Он — истина вчерашнего дня, повторенная в изменившихся условиях и ставшая неправдой. Поэтому нет ничего более противного духу диалектики, не знающей отвлеченных и раз навсегда установленных истин, чем штамп. Он лишен не только художественной, но и какой бы то ни было познавательной ценности. Всякий штамп есть фальшь.

Поэтому можно оценить всю изумительную ученость и глубокомыслие людей, которые утверждают, что пролетарская литература штампом завоевала читателя, и что всякая литература непременно должна начать со штампа. Я еще понимаю, когда нечто подобное говорят о схеме, хотя и там это неверно. Но сказать, что фальшью можно было завоевать пролетарского читателя — значит обнаруживать величайшее, именно барское, неуважение к этому читателю. Но всего смехотворнее попытка канонизировать штамп и представлять его обязательным для всякого молодого искусства ступенью.

Штамп — работа по готовому рецепту, шаблону, трафарету. Стало быть, если мы говорим, что молодая литература — в частности — пролетарская, — начинает со штампа, это означает лишь то, что она рабски копирует какие-то до нее существовавшие образцы. Но, во-первых, неизвестно, почему зависимость молодого класса от предшествующей культуры должна непременно вылиться в форму рабского подражания, а, во-вторых, непонятно, каким образом рабское подражание может завоевать читателя. Если же образцы для штампа созданы самой пролетарской литературой, то, значит, она начала не со штампа. История ее развития тогда принимает такой вид: сначала молодая литература создает какие-то новые образцы, потом она внезапно испытывает деградацию и на-

чинает механически повторять эти образцы, таинственно теряя способность к творчеству. Т. е., получается явный абсурд, тем больший, что здесь имеется в виду не частный случай (пролетарской литературы), а общее правило для всякого молодого искусства. Но из круга этих противоречий нельзя выбраться: если штампы — пролетарского происхождения, то значит пролетарская литература начинает не со штампов, а с того, что послужило образцом для них; если же она начинает со штампов, значит они какого-то иного, чужеродного классового происхождения. Иначе говоря, теория штампа или логически несостоятельна или сводится к банальному констатированию общеизвестного факта культурного влияния, и все своеобразие ее заключается в том, что она этот общеизвестный факт доводит до чудовищного преувеличения и затем расплывается пред ею же созданным идиолом.

Удивительное утверждение, будто пролетарская литература завоевала читателя штампом, настолько нелепо, что его даже совестно оспаривать, и если это приходится делать, то только потому, что дикая теория, родившаяся (вместе с другими аналогичными) в схоластическом воображении Либединского, приобрела все права гражданства в «На Литпосту», стала одним из краеугольных камней его литературной платформы. Ермилов, со свойственным ему романтическим пылом, может быть, только слегка преувеличил, переборщил, но действовал по точным напостовским инструкциям. И, конечно, его книгу надо было бы назвать не «За живого человека», а «За штампованного человека».

7

Ермилов и сам смутно чувствует всю неловкость своих утверждений. Возьмите его формулировку: «Схема и штамп пролетарской литературы отличаются тем, что это не мертвая неподвижная схема, а деловая схема работы». Естественнo ожидать, что если в первой половине определения взяты два разных понятия: схема и штамп, то каждое из них будет повторено и во второй его половине, т. е. формула бу-

дет звучать так: «Схема и штамп пролетарской литературы отличаются тем, что это деловая схема, деловой штамп работы». Почему же это не сделано? Потому, что «деловой штамп работы» звучит абсурдно, потому что не может быть творческого штампа. И это не случайность: каждый раз, когда Ермилов дает подобные определения, он поступает точно так же (ср. стр. 121), он провозит штамп контрабандой, под флагом схемы. То, что он провозит контрабандой, доказывает, что он понимает, что в его аргументации что-то неладно. Но то, что он все-таки провозит, доказывает, что эта контрабанда ему зачем-то нужна. Зачем же?

Cui prodest? Спросим мы напостовского Цицерона на его родном латинском диалекте. Кому это выгодно? Конечно, теория творческого штампа настолько оригинальна, что может обесмертить имя Ермилова. Но ведь не вульгарная жажда лавров руководила им, тем более, что лавры пришлось бы отдать Либединскому. И не внушения собственной практики, как ни силен ее голос. Нет, его мотивы были более общи и принципиальны. В самом деле, кому нужна теория творческого штампа? Чьи грехи она прикрывает? Чью деятельность оправдывает?

Конечно, не подлинного пролетарского писателя, а халтурщика, приспособленца. Он-то и работает тем самым методом штампа, который так близок, так понятен Ермилову. Напостовцы усиленно отгораживаются от радионалистических теорий Фриче. Но эти теории плюс отрицание критерия художественности, настойчиво проводимое автором статьи «Толстой и Чернышевский», да еще плюс требование немедленной 100-процентной идеологической выдержанности от каждого писателя, без какого условия его рекомендуется не печатать, — является объективно поощрением всяческой халтуры и приспособленчества. Поэтому совершенно непонятно, зачем Ермилову и Авербаху понадобилось отгораживаться. Построение Фриче так напоминает штампованные конструкции «На Литпосту», как-будто их строила одна рука.

Ермилов как-будто предчувствует такие возражения. Он называет «нелепым» вывод, будто он «оправдывает, прикрывает всякую схему, всякий штамп, возможность халтурного, несерьезного, легкомысленного отношения к своей писательской работе». Но почему же этот вывод нелеп? Наоборот, он вполне естественен и законен. Достаточно признать какой бы то ни было штамп, чтоб он, этот вывод, об'явился сам собой. Всякий и штамп есть проявление халтуры или творческого бессилия. Нет и не может быть творческого штампа. Стоит здесь увязнуть ноготку, как и всей птичке пропасть. И сколько бы Ермилов не клялся и не божился, он будет понят писателем именно так, что он поощряет халтуру. Ленин как-то заметил, что надо отвечать не только за то, что ты сказал, но и за то, как тебя понимают. А Ермилова нельзя понять иначе.

Но он упорно ищет «хороший» штамп, как когда-то отчаявшиеся крестьяне искали «теплых рек». И он приводит примеры, которые помогли бы отличить хороший штамп от плохого. И примеры эти так любопытны, что на них стоит остановиться.

Первый из них — рассказ Минаева «Аграфена». Предоставим слово Ермилову: «Минаев берет очень сложную проблему и разрешает ее чрезвычайно упрощенно. Процесс превращения верующей женщины в неверующую показан у Минаева очень просто: муж приходит домой и видит, что жена опять повесила на стену иконы, которые он выбросил. Он заявляет: «Уходи, я буду рбенка кормить сам». Самый уход жены от мужа показан у Минаева одним словом: «Ушла», после чего «для значительности» стоит многоточие. Затем мы видим жену, через несколько дней возвращающуюся домой к мужу уже неверующей. Объясняет она дело таким образом, что «вот, мол, я, значит, решила, что, действительно, бога нет, если бог допустил, что я иконы бросила».

Возьмем рассказ в той интерпретации, которую ему придал Ермилов. Для нашей цели, т. е. для выяснения взглядов Ермилова, этого вполне достаточ-

но. Ермилов недоволен рассказом Минаева, но недоволен потому, что рассказ, по его мнению, слишком упрощен. Между тем, для всякого непредубежденного читателя ясно, что недостаток рассказа вовсе не в этом, а в его чудовищной фальши. Кого убедит, будто героиня Минаева действительно стала из религиозной женщины неверующей? Какие мотивы толкнули ее на это? Только то, что ее муж выгнал? Но это могло лишь озлобить ее. Всякий поймет рассказ так, что женщина притворилась неверующей для того, чтобы не лишиться семьи, мужа, ребенка, которого у нее отняли.

Логика рассказа не допускает другого толкования. Перед нами даже не штамп, а просто фальшь. В основе штампа лежит какое-то зерно истины, когда-то действительной, но выветрившейся, стертой, перешедшей в свою противоположность, в нестерпимую фальшь именно вследствие своей неподвижности и шаблонности. В рассказе же Минаева нет этого зерна, а потому нет и штампа. Всякий штамп — фальшь, но не всякая фальшь — штамп. Рассказ Минаева фальшив не потому, что его положения «застыли», а потому, что они ложны по существу. Вместо психологического перерождения героини подсовывает притворство — ради сохранения семьи.

Мы видим, таким образом, к чему сводится штамп в понимании Ермилова: к художественной и жизненной неправде. Нельзя поэтому считать его ошибкой только терминологической: говорит, мол, «штамп», а думает другое. Да, он путает «схему» и «штамп», «штамп» и фальшь. Он девственно невежествен. Но эта путаница не без умысла. В ней есть свой расчет.

8

Минаевский штамп — еще «хороший» штамп. «Рассказ Минаева и другие такие же рассказы», заявляет Ермилов, «необходимы Платошкину» (молодой автор, пишущий на те же темы, но, по мнению Ермилова, значительно более ярко и талантливо), «он отталкивается от них. И поэтому этот рас-

сказ входит в систему пролетарской литературы. Отталкиваясь от Минаева, Платошкин схеме наполняет живым содержанием»¹⁾. Какую схему? Ту ли, что жен надо гнать на улицу и отнимать у них ребят за то, что они вешают иконы? Или ту, что психологический перелом художник должен заменять притворством, лицемерием? Или, может быть, Ермилов хочет сказать, что важна сама «антирелигиозная» тема, тема превращения верующего человека в неверующего? Но неужели без рассказа Минаева пролетарский писатель этого бы не понял? Неужели об этой теме не напоминают, неужели ее не ставят в порядок дня наши газеты, диспуты, доклады, вся наша действительность? Чем здесь может помочь казенная стряпня Минаева?

По Ермилову, рассказ Минаева и подобные ему необходимы. Они входят в систему пролетарской литературы. Иначе говоря, это и есть та синяя птица творческого штампа, за которой он усердно гоняется в своих статьях. Но если это — хороший штамп, то можно себе вообразить, что понимает Ермилов под дурным. Впрочем, о дурном он мало думает. Развитие литературы представляется ему в чрезвычайно умильном, идиллическом виде. «Минаев своим рассказом как бы дает творческую задачу всей пролетарской литературе. И тот же самый Минаев в процессе своего писательского роста, или Платошкин или другой какой-нибудь пролетарский писатель, который будет разрабатывать ту же самую тему, уже приблизит ее к художественному воплощению, к воплощению в образах».

Конечно, литература является коллективной работой, коллективным творчеством (как и наука). Коллективным не в том смысле, что каждое произведение создается замыслом и выполнением коллектива, но в том смысле, что начатое одним, подхватывается другим, доводится до совершенства третьим и т. д., в том смысле, что литература строится на основе обмена и

¹⁾ Подчеркнуто всюду мной. А. Л.

усвоения опыта, перекрещивающихся влияний, культурной преемственности. Здесь нет разницы между самой индивидуалистической и самой социальной литературой. Символизм или романтизм, такое же коллективное создание, как и пролетлитература. Самое замкнутое, субъективное, асоциальное произведение, автор которого полагает, что оно лишь адекватное и самоцельное выражение его личности, — по существу является тоже продуктом творчества многих. Пролетарская литература может отличаться лишь тем, что внесет сюда, в процесс коллективного творчества, больше сознательности, планомерности, последовательности. Пока еще этого сказать о нашей пролетлитературе нельзя. Потому утверждение Ермилова и звучит так елеяно и приторно.

Но дело даже не в этом. Дело в том, входят ли произведения, в роде минаевского, необходимым звеном в систему пролетарской литературы, могут ли они выполнять в ней какую-нибудь положительную функцию? А на такой вопрос нельзя ответить иначе, как отрицанием. Наука в еще большей степени коллективное творчество, чем искусство. Всякое открытие, всякая серьезная работа входит действительным звеном в ее развитие, вызывает проверку, дополнения, дает дальнейшее направление опытам и т. д. Но если какой-нибудь любитель или досужий невежда станет излагать свои домашние соображения насчет устройства вселенной, в роде как уже упомянутый мною чеховский герой, объяснявший укорочение дня зимой сжиманием от холода, то плоды его фантазии никакого действия на науку не окажут. Они выпадут из науки. Так же выпадают из литературы рассказы, аналогичные минаевскому. Они, в лучшем случае, будут характеризовать литературный быт — с его халтурой, ремесленничеством и скороспелой работой на заказ. А то, что Ермиловы их оправдывают, канонизируют, делают им рекламу, скажет нам яснее ясно, что если они выпадают, как фактор развития литературы, то они очень действительно, как фактор ее торможения.

III. Исповедь горячего сердца в анекдотах

1

Теория — только побочное занятие Ермилова. Основная его профессия — критика. Его меньше занимают обобщения, чем оценка конкретных фактов. Он собирается нас порадовать не столько ученым глубокомыслием — «там, где ничего нет, — кончаются права короля», гласит старинная поговорка, — сколько критической интуицией и темпераментом. Это — те «лошади», на которых он ставит. И лошади оказываются хромыми.

Начало 1927 года. Леоновский «Вор» еще только печатается в «Красной Нови». Но Ермилову не терпится. Он пишет большую статью с многообещающим заглавием: «Проблема живого человека в современной литературе и «Вор» Л. Леонова». Очевидно, какие-то чрезвычайные обстоятельства заставили его предпринять такой экстраординарный, чреватый опасностями для его репутации, шаг. Действительно, при звуках фанфар и турецкого барабана он возвещает:

«Новый роман Леонова... воспринимается, как литературное событие... «Вор» — в фокусе читательского внимания... «Вор» не где-то на границах литературы, он движется не по боковым ее линиям, — «Вор» — в том центральном, узловом пункте, куда, как и в Рим, ведут все дороги, где перекрещиваются все вопросы, задачи, стоящие перед современной литературой (подчеркнуто мной.—А. Л.). Таким узловым пунктом является проблема живого человека в литературе — в частности, того реального, с плотью и кровью, с грузом тысячекратных страданий, с сомнениями и муками, с бешеным стремлением к счастью живого человека, начавшего жить на перекрестке двух эпо (подчеркнуто мной. — А. Л.), принесшего в новую эпоху вековое наследие отцов, дедов и прадедов, часто не выдерживающего перенагрузки эпохи, — того живого человека, которого пытается показать в своем романе Леонид Леонов» (стр. 30).

Иначе говоря, Ермилова заставилл писать о неоконченном романе, т. е. лоневоле прибегать к догадкам, два обстоятельства: 1) то, что роман — «литературное событие», 2) то, что он — в «узловом пункте» современной литературы, так как разрабатывает вопрос о «живом» человеке. Как это видно из приведенной цитаты (да и из всего контекста статьи), «живой» человек понимается Ермиловым, как герой переходной — к социализму — эпохи, как личность, из которой, пусть в «сомнениях и муках» (выражаясь патетическим слогом Ермилова), выковыивается новый человек, строитель и коллективист. «Живой человек», о котором идет речь у Леонова и которого разбирает Ермилов — Митя Векшин. Это Митя Векшин держит экзамен на «нового» человека.

Но стоит ознакомиться с Векшиным по первым же главам романа, чтобы увидеть, насколько он далек от этого намерения. Этот модернизированный Карл Моор, «благородный разбойник», ушедший из общества на дно, потому что ему кажется — поругана справедливость и новые пути повернули вспять, к старому, отличается от своего героического прообраза тем, что он почти не действует, а только позирует и говорит жалкие (или громкие) слова, т. е., прежде всего, он — не живой человек в самом прямом и элементарном смысле этого определения. Он соткан из литературы и позы. А если мы захотим добраться до социального «эквивалента» этого неудачного образа, то тут выводы получаются еще менее утешительные для Ермилова. Намерение автора пробивается довольно отчетливо: это стремление показать «большого» человека, запутавшегося в противоречиях эпохи. Леонов указывает и на причину, по которой его большой человек запутался: недостаток культуры. Даже в такой трактовке в «Воре» мало похожего на то, что нашел в нем Ермилов. Но мы никак не можем признать в Мите Векшине большого человека. Мы выглядываемся в его лицо, сведенное судорогой вечного патетического страдания, и перед нами встают черты хорошо нам знакомого по прежним вещам «мелкого человека»,

этого центрального образа леоновского творчества. В Мите говорят все старые голоса: от Бурьги и Егорушки до Лихарева. Он надломлен, он надорван, и его надрыв отдает достоевщиной и психопатологией, он занят устройением своего душевного хозяйства, он замкнут в себе, он корчится под колесами истории. И мы должны верить, что этот человек, загнанный во мрак душевного подполья, и есть тот «живой», «новый» и пр., и пр. человек, которого ищет наша литература! Что за пустяки! Что за «сумасшедшие» пустяки!

Ермилов сопровождает, на всякий случай, свое утверждение разными осторожными оговорками. Еще бы! Роман-то ведь не был еще кончен — и кто знает, что мог бы в дальнейшем «выкинуть» автор. Но и то, что было известно Ермилову, не давало никаких оснований для его выводов. Его утверждение, будто читатель с самого начала был взволнован «Вором», потому что видел или ожидал увидеть в этом перегруженном достоевщиной и пышной литературностью романе «осуществление своих чаяний», т. е. «живого», «нового» человека, совершенно произвольно. Я помню, как меня — и не меня одного — удивило появление в «На Литпосту» статьи, в заголовке которой «Вор» сопоставлялся с проблемой «живого человека». С таким же успехом его можно было соединить с чем угодно: с рефлексологией, с поднятием сельского хозяйства, с ростом кулачества, с абортom.

2

Но последуем за Ермиловым дальше. И человек Леонова, и самое мироощущение этого писателя, — говорит Ермилов, — коренным образом отличаются от человека и мироощущения прочих попутчиков, в особенности — Всева Иванова. Там — грязный, жестокий, «завязший в своих липких испражнениях человечиска», враждебно противостоящий природе, там — пассивность, раздвоенность, дуализм. Здесь — человек — «единственный сосуд, в котором содержатся смысл и тайна мира», активный, «творящий мир заново»,

единый с природой. «Человек—творец мира» — восклицает в экстазе Ермилов. «Для Леонова не существует разрыва между человеком и миром, потому что мир—это и есть человек. И в этом близость Леонова к эпохе и к тому миросозерцанию, которое характеризует нашу эпоху: к материалистическому монизму¹⁾».

Да, это действительно монизм. Только... не материалистический.

Материализм исходит из единства мира и человека. Их единство—в их материальности. Но если «человек—творец мира», если «мир—это и есть человек» (т. е. его сознание), то это уже не единство, а тождество. Тождество же—формула идеализма²⁾. Если мир равен сознанию человека, то это значит, что он и существует только в его сознании. Иначе говоря, реальность мира, его независимое от нашего сознания бытие отрицается. Человек творит мир из себя. Про объективный идеализм, отрывающий мышление от бытия, превращающий его в «независимую от человека сущность», Разум, дух, начало всего существующего, Фейербах говорит, что он «представляет собой лишь перевод на философский язык теологического учения о том, что природа создана богом». Формула Ермилова—«человек творит мир», т. е. мир—как мое представле-

¹⁾ Подчеркнуто всюду мной. А. Л.

²⁾ «...единство между мышлением и бытием вовсе не означает и не может означать тождества между ними. Здесь выступает перед нами одна из самых важных черт, отличающих материализм от идеализма» (Плеханов. Основные вопросы марксизма. Том XVIII, стр. 197). Там же: «Теперь мы видим, в каком смысле человек является у Фейербаха основой единства бытия и мышления. Он является ею в том смысле, что он сам есть ни что иное, как материальное существо, обладающее способностью к мышлению» (стр. 197). Но «учение об единстве субъекта и объекта, мышления и бытия в одинаковой мере свойственно как Фейербаху, так и Марксу—Энгельсу» (стр. 191).

Ср. также: «У Гегеля мышление и есть бытие: «Мысль—субъект; бытие—предикат». Выходит, что Гегель—и вообще идеализм—устраняет противоречие лишь посредством устранения одного из его составных элементов т. е. бытия, материи, природы» (стр. 187).

ние, — несомненно формула субъективного идеализма. Но субъективный идеализм ведет к религии почти так же неизбежно, как и объективный. И мы поздравляем Ермилова с прибытием к берегам обетованной земли, где его ждет такая приятная и разнообразная компания и где для него уже приготовлена яса и кадило.

И вот он облачается в ризу, и вот он берет кадило, и вот он елейным голосом, полным умиления и сладости, возглашает: «Основная черта, определяющая мироощущение Леонова... — отражается в образах, избираемых художником. Так, например, закат для него — это «лента из девчоночкиной косы»; — этот прекрасный и нежный образ мог создать только художник, воспринимающий природу и человека как неразрывное целое».

Не буду говорить уже о том, что если для художника мир — только представление, иллюзия, то ни о каком чувстве единства с природой не может быть и речи. Нельзя «связываться» с несуществующим объектом. Но самый пример, приводимый в доказательство благочестивейшим Ермиловым, в высокой степени смехотворен («то, что французы называют «ridicule»). Основная черта поэтической метафоры — антропоморфизм. Для поэта — сознает он это или не сознает — человек всегда — мера всех вещей. Так что если Леонов — материалист на том основании, что употребил антропоморфическую метафору («девчоночкина коса догорела»), то надо считать материалистами всех поэтов, когда-либо существовавших на земном шаре. У Лермонтова: «и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой», «звезда с звездой говорит», у Тютчева ветер «сетует безумно», зарницы разверзаются «словно тяжкие ресницы», «солнце еще раз взглянуло и сподобья на поля», слезы людские льются, «как льются струи дождевые в осень глухую, порою ночной». Тучи и звезды, собравшиеся толпой и слушающие песню; звезды, разговаривающие друг с другом — все это несомненно «очеловеченные» образы. Между тем, они взяты из сти-

хотворений, проникнутых сильным религиозным (а «Ангел» даже подчеркнуто мистическим) чувством. Солнце, «взглянувшее исподлобья», «безумно сетующий» ветер, тяжелые ресницы зарниц и обратный образ — людские слезы, уподобленные дождевым осенним струям, — эти необычайные по силе и выразительности метафоры должны, согласно теории Ермилова, говорить о полном материалистическом монизме Тютчева, а между тем, идеалистическая подкладка тютчевской поэзии очевидна.

Итак, наш чуткий критик, наш выдержанный марксист объявляет Леонова последовательным материалистом-художником на основании одной цитаты, которая доказывает обратное, и одной метафоры, которая ничего не доказывает. Он провозглашает героем нашей эпохи «падшего ангела» Митьку Векшина, «мелкого человека», начиненного отсыревшим порошком фирмы Достоевского, «мелкого человека», т. е. мелкого буржуа. Бунтующего мещанина, занятого собственным «душеустройством», ставит он на пьедестал, и обхаживает его, и вдруг хватается бубен и начинает кружиться в шаманской пляске, пока не падает изнеможенный. Но вот он приходит в себя от священных танцев, и понемногу трезвеет, и начинает понимать, что натворил что-то неладное. И тогда он дрожащей с похмелья рукой пишет: «...стилизованный Митя Векшин из «Вора» Леонова, не оправдавший — увы! — наших надежд и не ставший до конца романа живым и действенным». Какой неблагодарный этот Леонов! Ну, что ему стоило оправдать ермиловские надежды! Уж тот, кажется, старался-старался, из кожи лез, — а вышел один конфуз. Еще не стоптал он башмаков, в которых ходил в редакцию диктовать машинистке хвалебную оду Митьке Векшину, как пришлось наскоро исправлять написанное, и вместо «живой», «новый» — ставить «стилизованный», «условный». Но что значит выскокая дипломатия! Ошибся Ермилов, а виноват оказывается Леонов.

Но что заставило Ермилова писать о «Воре» большую статью, не дождавшись его окончания? И были ли с са-

мого начала какие-нибудь основания для надежд? Конечно, не было. Но дело не в надеждах. Ермилов хвалит Леонова оттого, что печатание его романа совпало с поворотом в напостовской политике, и надо было доказать «попутчикам», что нет у них лучших друзей, чем напостовцы. А для этого годился любой предлог. Т. е. Ермилов действовал здесь как кружковый дипломат.

Впрочем, это объясняется не только мелкой дипломатией. Тут сказались и другие причины, по отношению к которым сама дипломатия — следствие. Скандал с «Вором» не единственный.

3

Ермилову принадлежит честь первой (по времени) статьи о «Зависти» Олеси. Вот что он в ней пишет: «Зависть Юрия Олеси — роман об освобожденном человеком (стр. 133), «два мироощущения сталкиваются в этом талантливом романе. Одно представлено молодым человеком Кавалеровым и его духовным учителем Иваном Бабичевым. Это — люди старого мира... Иное мироощущение представлено Андреем Бабичевым, талантливым хозяйственником и коммунистом, и его приемным сыном, Володей Макаровым... Володя так формулирует принцип новой психики: «Я думал, почему злятся люди или обижаются.. у таких людей нет понятия о времени. Тут незнакомство с техникой. Время — ведь это тоже понятие техническое. Если бы все были техниками, то исчезли бы злоба, самолюбие и все мелкие чувства»... Выходом к освобождению человека от мелких чувств, от рабства своей личности, от старого мира считает комсомолец Володя Макаров «чувство времени». И он близок к правильному решению вековой проблемы «личности и общества», «личного и общественного». «Чувство времени... — это, конечно, путь к новому человеку, к внутренней революции, к подлинной свободе» (стр. 130—132).

Так, запомним. Образ Андрея Баби-

чева, двойственный образ, в котором делец, бизнесмен, «колбасник» доминирует, образ Володи Макарова, эту механизированную лэфовскую абстракцию, Ермилов объявляет новым человеком. Недавно только был поставлен и свергнут кумир Мити Векшина, взбесившегося мелкого буржуа. Теперь на вакантное место подсовывают американизированного дельца, почти машину, и хотят уверить нас, что это и есть тот человек, который нужен для социализма. И интересно, что Ермилов со своей ловкостью всегда ухитряется завязнуть в самом топком месте. Он делает упор не на Андрее Бабичеве (это было бы еще понятно, хотя и неверно), а на Володе Макарове, самом натянута, нежизненным, идеологически-фальшивом типе. Люди злятся и обижаются потому что им незнакомо техническое понятие времени. Стоит его приобрести — и все устроится. Например, девушка, которую изнасиловали и заразили сифилисом чубаровцы, вспомнит об этом понятии — и перестанет «обижаться»? Исчезнет злоба у рабочего, которого эксплуатирует капиталист, у кули, которого погоняет англичанин, у негра, которого линчуют? Так, что ли? Какая универсальная и спасительная мудрость! Какая глубина рафинированной пошлости!

4

Но это еще не худшее, до чего договаривается Ермилов. В венке его статей есть еще один, самый душистый и яркий цветок. Я говорю о фельетон-пасквиле «Почему мы не любим жищай?». На второй странице сего шедевра мы натываемся на такие строки: «Почему мы любим Есенина? Почему читатель есенинских стихов не может читать эти стихи без волнующего ощущения родного, близкого, своего, бесконечно интимного?» Не думайте, что Ермилов здесь излагает чьи-нибудь чужие мысли, хотя бы мысли того же Жища, к биографии которого и источником дохода он обнаруживает такой повышенный интерес. Нет, он излагает собственные соображения, он говорит от своего имени и от имени передового

читателя. И он пытается ответить на этот волнующий вопрос:

«Разгадка близости Есенина — в его нежнейшей любви к человеку, которой глубоко проникнуто все его творчество, как это ясно каждому, сколько-нибудь чуткому читателю, не надевшему на себя те или иные шоры, а просто стихийно вбирающему в себя широкое море есенинской лирики».

И чтоб ни у кого не оставалось сомнения в его чувствах, он добавляет:

«Читатель-друг, содрогаясь от боли, слушал площадные исповеди Есенина и думал: «Это не то... Есенин, милый, родной, это не так».

У Есенина были друзья, для которых он был действительно близким, родным, милым. Эти люди не видели в его поэзии недостатков или старались их не замечать. Есенин выражал их настроение, чувства, мысли. Он был адекватен им. Можно — и даже должно — не соглашаться с их оценкой. Но их чувство понятно и в их словах мы не ощущаем фальши. Но когда марксист, когда критик, усиленно выпра-вляющий чужие идеологические «линии», когда человек, выступающий не иначе, как от имени пролетариата, начинает обезьянничать, имитировать есенинских друзей, истерически вопить или сюсюкать, складывая губки бантиком, мы отворачиваемся с отвращением. Мы видим в этом желание подыграться к настроениям минуты, стремление всюду поспеть и выделиться — хотя бы визгом. Мы видим в этом мелкий страх, как бы не оказаться чужим у гроба Есенина. И мы отвечаем: «Милый, родной Ермилов! Какие же пошлости вы говорите!»

Есть, конечно, и помимо «друзей» Есенина, люди, которые утверждают, что его поэзия не может быть сведена к одному упадочничеству, что в ней есть и здоровое начало, что ее ценность несомненна и что нельзя выбрасывать ее из обихода современности. Но эти люди не сюсюкают и не заявляют, будто Есенин «свой», «родной» для пролетариата. Потому что в таких словах — величайшая фальшь. В творчестве Есенина есть элементы, которые могут быть усвоены пролетарской культурой, но по своему складу, по

социальному облику — полу-богемному, полу-крестьянскому — Есенин довольно-таки далек от пролетариата — и оттого ему так плохо удавались поэмы об «индустриальной мощи», на которые его натаскивали кое-какие его доброжелатели.

В чем же видит Ермилов причину близости Есенина своему другу-читателю — «рабфаковцу, комсомольцу, партийцу»? В «его нежнейшей любви к человеку». Это — необычайно точно и определенно. К какому человеку? Очевидно, к человеку «вообще», потому что дальнейшего уточнения нет. Но каким образом любовь к человеку вообще смогла приблизить его именно к комсомольцу, партийцу, т. е. к людям, которых логика борьбы заставляет больше, чем кого бы то ни было, видеть в человеке не человека вообще, а представителя определенного класса, слоя, группы? Да, верно ли, наконец, что эта любовь имеется в поэзии Есенина? Вот я, например, думаю, что Есенин не любил и не понимал людей сильного интеллекта и дисциплинированной воли, что близок и понятен ему был человек эмоциональной и бунтарской складки, «степной конокрад» и «вор», человек стихии и элементарных страстей — или, наоборот, созерцатель, странник, лишенный прочных связей и привязанностей, лирик и мечтатель. Я думаю, далее, что эти психологические типы нетрудно перевести на язык социологии и увидеть в них порождение тех общественных слоев, которые и обусловили, в основном, творчество Есенина: крестьянства и городской богемы. Выходит, стало-быть, что не всякого человека любил Есенин, а только представителя определенного класса или группы. Пойдем дальше. Да, Есенин любил все живое. Но человек в этом царстве живого занимал у него далеко не первое место. Вспомните его знаменитые стихи:

И на этой, на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил,
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

В этой формуле любви к жизни человек почти отсутствует. Любовь к жен-

щине не равнозначна любви к человеку. Но и женщина занимает у него меньше места, чем цветы, травы, зверье. Страдающую природу он чувствует лучше, чем страдающего человека. Рожь, которую режут под горло, как режут лебедей, сука, у которой отняли щенят, — ему ближе, роднее. Какая-то иступленная нежность к природе соединяется в нем часто с холодком по отношению к человеку. Да, я боюсь, что человека-то Есенин не особенно любил.

Ермилов всячески старается придать Есенину благообразный и умильный вид. Он готовит его на собственный вкус (т. е. прескверно) и, подавая его как пасхального барашка, думает, что он выполняет «заказ» эпохи. Но этот фальшивый, обсахаренный и заслюнявленный Есенин никому не нужен. И Ермилов еще имеет... смелость презрительно третировать Жица. Но ведь по сравнению с суздальской живописью Ермилова, трактовка Жица, подчеркнувшего в Есенине элементы дисгармонии, противоречия, является гораздо более высокой ступенью! И посмотрите, как наш напостовский псевдо-марксист разбивает доводы Жица. Жиц утверждает, что корни искусства трагедийны и что поэтому всем довольный, счастливый человек не может создать интересного искусства. «Бедное социалистическое общество, которое мы так усиленно, против воли Жицей, строим!» — гремит в ответ Ермилов, — «В нем не будет искусства, ибо в нем не будет несчастных людей!»

Каждый Гельфанд имеет право быть обывателем, но Ермилов этим правом злоупотребляет. Да, социализм уничтожает нужду, эксплуатацию человека человеком, деление на классы, но откуда следует, что при социализме не может быть несчастных или неудовлетворенных людей, не может быть трагедии, противоречия? «Противоречие ведет вперед». Если не будет неудовлетворенности, противоречия, то у человечества не будет никаких импульсов изменять свое положение, двигаться вперед — история остановится на одном месте. Это — детское представление о социализме, как о сказке, это — почти нирванна, это — обыватель-

ская мечта о сытом и бездумном сне после плотного обеда. Мы еще не можем знать, в какую форму выльются противоречия будущего, но это не значит, что их не будет. А ведь в каждом противоречии есть зерно «трагедии».

Я тоже не согласен с Жицем, потому что думаю, что «трагедийность» не является единственным корнем искусства и еще потому, что сама «трагедийность» взята Жицем в специфически-биографическом, а оттого и мелком разрезе. Но я бы не стал обосновывать свои возражения такими обыкденно-бездарными доводами. Ермилов упрекает своих противников в барстве и невежестве. Но если Ермилов — марксист и ученый, то я готов быть барином и невеждой.

5

Сокровищница ермиловской мысли неисчерпаема. Можно было бы привести еще десятки примеров его блестящей диалектики и эрудиции. Можно было бы указать на вновь изобретенную им и доселе неизвестную категорию: «национальное» — не в шовинистическом, а во «вселенском» оттенке значения этого слова» (стр. 63), что звучит очень пышно, но совершенно бессмысленно. Можно было бы продемонстрировать великие научные открытия, произведенные Ермиловым в области психологии, как, например, то, что идеология = сознанию, а психология = «подсознанию»¹⁾ (еще один, не очень даже смелый, шаг и мы получим анатомическую локализацию: идеология — в коре головного мозга, психология — в подкорковых центрах). Или

¹⁾ «Основная проблема, которая волнует С. Семенова в «Наталье Тарповой», это — проблема «гармонического», «цельного» человека — иными словами проблема «ножниц» между психикой и идеологией, вопрос о том, что ж в конце концов является «цементом» для его партии: общность идеологии или родство психологическое, основанное на тождестве рефлексов? Но сама-то Наталья Тарпова, центральная фигура романа, достигла ли она счастливого равновесия между областью сознания и подсознания, является ли она «гармоническим» человеком?» (стр. 83, подчеркнуто всюду мною. А. Л.). Отсюда ясно следует, что для Ермилова идеология = сознанию, а психология = подсознанию.

открытия, сделанные другими, но к которым он, Ермилов, радостно присоединяется, в роде залкиндовского, излагаемого своими словами на стр. 82 ермиловского ученого труда: «Половое влечение к классово-чуждому человеку является таким же извращением, как половое влечение к... орангутангу». В других руках, в руках эксплуатирующего меньшинства, эта теория о биологической чуждости между людьми разных классов (т. е. та же теория белой и черной кости — наизнанку) может вполне служить для оправдания рабовладельчества, крепостного права, самых бесчеловечных форм эксплуатации, антисемитизма (особенно если он исходит из «общественных» мотивов). Кто же станет возмущаться эксплуатацией орангутангов? Можно было бы продемонстрировать десятки других перлов: богатые россыпи имеются на каждой странице. Но довольно и приведенного. Диагноз ясен. «Милый, родной» Ермилов совершенно зарפורтовался, он стал тем, что французы называют «ridicule», он занялся «шевелением пустяков», он «трансплантировал» в свою книгу российское черноземное невежество и все встреченные им виды вульгаризации марксизма. В одной из своих статей он проговаривается: «В качестве премии хотел бы получить простой букварь» (стр. 254). Редакция «На Литпосту» следовало бы исполнить его желание.

Он упрекает своих противников в дилетантизме, в любительщине, в злоупотреблении общими, бессодержательными фразами. Он ставит им всякое лыко в строку, он придирается к самым невинным словам, он не терпит малейших следов импрессионизма, он не желает понимать иронических интонаций — и стоит ему встретить выражение «формалистские штучки», как он обрушивается на него со всем негодованием старого профессора, оскорбленного в своем ученом достоинстве: «литературоведение обогащается новым и плодотворнейшим понятием штучка». Но полубойтесь, как пишет сам ревнитель ортодоксальной учености: «рассказывает и зумительный Бабель голосом натянутым, как струна» (это ли не безвкуснейший

импрессионизм?!), «талант Леонова, глубокое проникновение в тайны человеческой психики, яркая, буйная красота образов — редкое соединение редких качеств» (это ли не бессодержательные фразы?!), «на подлинно талантливом произведении искусства всегда лежит печать своеобразия» (это ли не избитые общие места?!). Упрекая одного из критиков в том, что его определение пильняковского творчества — «метельность», бесформенность композиции — неясно и недово, он сам говорит о Пильняке буквально следующее: «пафос метели», «разорванность, расплывчатость, неясность» (стр. 39). Если б кто-нибудь вздумал подойти к Ермилову с такими строгими требованиями, с какими он подходит к другим, то от него осталось бы мокрое место. (Остались бы только манерно-истерические выкрики (род стилистического мазохизма): «мучительные и радостные тьмы», «сомнения и муки, бешеное стремление к счастью». Осталось бы вечное дипломатическое вилание: сегодня «Цемент» — «вершина», являющаяся «печкой, от которой нужно танцевать», завтра — отношения с «Кузницей» испорчены, и герои «Цемент» уже только «яркий плакат, поразивший нас пестрым сплетением красок и тем, что называется броскостью», а плакатность следует преодолеть — и поскорее.

Книга Ермилова посвящена Авербаху. Я бы на месте Авербаха обиделся. Мне было бы стыдно, что мне посвятили книгу, полную такого дикого невежества, претенциозности, идеалистических вывертов¹⁾. Мне было бы совестно стоять в одном с Ермиловым ряду «скромных подмастерьев» Белинского и слышать, как от общего, — а значит и моего — имени советуют «учиться так, как учимся мы, напостовцы: с азав». Я бы отверг посвящение.

Но Авербах не отвергает. Он не мо-

¹⁾ Между прочим, она рекомендована Главсоцвосом, т. е. она пойдет в школьные библиотеки, станет литературным руководством, едва ли не учебником. Интересно было бы, однако, знать, читали ли люди, рекомендовавшие книгу Ермилова, то, что они рекомендовали в качестве образца и в обучение молодежи?

жет этого сделать. Статьи Ермилова и Лузгина — не их личное достояние. Они печатались на страницах «На Литпосту», как руководящие статьи — и редакция не делала к ним никаких оговорок. Они читались как доклады на съездах ВАПП'а. Ответственность за них несет все нынешнее напостовство. Шатания и ошибки их авторов — выражение шатаний и ошибок всей руководящей группы.

Вот, что заставляет подробно разбирать эти книги, несмотря на их малую литературную ценность¹⁾. От них нельзя отмахнуться. Их недостаточно осмеять в фельетонном порядке. Надо — шаг за шагом — выявить их основные ошибки, их принципиальную путаницу. Это я и попытался сделать в настоящей статье. Ее размеры говорят не о литературной значительности разбираемых авторов, а о том вреде, который приносят их ошибки движению, которым они так неудачно пытаются руководить.

Попробую подытожить эти ошибки (беру только главные). Они заключаются:

I. В неправильном понимании искусства искусства: искусство отличается от науки своим «предметом» и сходствует с ней своим методом. Отсюда — прямое скатывание к Лефу с его теорией техницизма и делания вещи.

II. В покровительстве штампу и схеме, что ведет к оказаниванию литературы.

III. В неудачной критической практике, дискредитировавшей вообще-то совершенно верную идею о «живом человеке». Я имею в виду статью о «Воре», о «Зависти», о «Наталье Тарповой».

IV. В многочисленных критических шатаниях и провалах в идеализм. Можно ошибаться раз, можно ошибаться два, но люди, которые ошибаются постоянно, не могут претендовать на звание руководителей пролетарской литературы. Люди, объявившие сегодня Есенина близким, родным, своим пролетариату, завтра, не смущаясь,

¹⁾ Впрочем, надо делать различие между Лузгиным и Ермиловым: первый — безграмотен и бездарен, второй — безграмотен, но не бездарен. В этом его дисгармония.

выступают в поход против есенинщины. Это ли не верх беспринципности?

Чем же объясняются эти постоянные шатания, эта неустойчивость мысли? «Мудрым» оппортунизмом? Дипломатическими комбинациями? Но они сами должны быть объяснены. Поставим вопрос иначе. Какой общественной группе, какому социально-психологическому типу свойственна такая неустойчивость? Такая склонность к громкой фразе? Такая истерическая безвкусица? Мелкой буржуазии, мещанству — в особенности интеллигентскому мещанству. В этом ключ к загадке. И этой мещанской сущности не скрыть Ермиловым никакой «левой» словесной трескотней.

6

Итоги подведены. Я должен расстаться с Ермиловым. Я делаю это без грусти. Я успел сжиться с его патетической прозой, с его словесными кляксами, с его бурной сентиментальностью. Милый, родной Ермилов — любитель латинских пословиц, галльских mots, французско-нижегородского диалекта! Мне грустно с ним расстаться. Мне приходит на память Гамсун — и я разрешаю себе сделать небольшое лирическое отступление.

Ермилов — это гитара, шелестящая в листах «На посту», гитара, перевитая розовыми лентами. Это — Вергинский в критике. Нет, это Хаджи-Мурат Мугуев! Что же такое Ермилов?

О, Ермилов — это темная ночь невежества, в которой блистают обрывки где-то слышанных мыслей. Это — развязность, умноженная на безграмотность. Это — школьник, которого надо послать учиться во вторую ступень, — но ведь он учиться не будет! Так что же такое Ермилов?

Ермилов — это птица Сирина, что себя забывает, когда Митьку Векшина воспевает. Это — шаман, ударяющий в бубен с портретом Бабичева. Это — напостовская менада, распустившая волосы. И она откидывает голову назад, и высовывает читателю язык. И читателю. Это — непонятная душа. Что же такое Ермилов?

Ермилов — это унылый сад росийской любительщины, где висят неприглядные и сморщенные плоды. Это — фантастическое царство домыслов и непрожеванного марксизма. Это — стихийный идеалист, берклеанец, не слыхавший о Беркли. Это старая дева, тоскующая о гармоническом человеке. Это — непонятая душа. Что же такое Ермилов?

Примечания для Ермилова.

1. Гамсун — писатель, родился и живет в Норвегии (что еще не является достаточной причиной считать его певцом американского империализма).
2. Менада — не надо смешивать с монадой, хотя она тоже не имеет окон.
3. Беркли — английский философ, был Клойнским епископом. Не следует обращаться к нему, как к современнику: «полна чудес могучая природа», но он умер 176 лет назад.

4. О СТИХАХ М. ЗЕНКЕВИЧА¹⁾

Л. Березин

Зенкевич — поэт, которого у нас знают и ценят меньше, чем он этого заслуживает. Среди акменстов он стоял почти изолированно, на крайнем фланге этой группы. В нем было меньше всего эстетства, стилизаторства, его поэзии была свойственна почти натуралисти-

ческая резкость, намеренная жесткость рисунка. Твердый реалистический упор его творчества сделал то, что оно устарело значительно меньше, чем — порой¹⁾ художественно более изысканное — творчество лидеров акмензма, что оно ближе и понятнее нашей современности.

В рецензируемой книге собраны стихи Зенкевича за разные периоды его

¹⁾ М. Зенкевич. «Поздний пролет». Стихи. ЗИФ. Стр. 102. Ц. 1 р. 40 к., папка 25 коп.

изведен строгий (иногда даже слишком строгий) отбор. Из своих произведений дореволюционного периода он выбрал, главным образом, образцы «научной поэзии» и характерной для него густой фламандской живописи. И тот и другой род очень близки между собой у Зенкевича. «Научная поэзия», одним из немногих представителей которой он у нас явился, приобретает в стихах Зенкевича натуралистическую густоту работы, начиная с 1909 г. Автором про- и выпуклость.

Корнями двух клыков и
челюстей громадных

Оттиснув жидкий мозг
вглубь плоской головы,

О махайродусы, владе-
ли сушей вы

В третичные века ги-
гантских травоядных,

И толстокожие средь
пастбищ непролазных,

Удобривая соль для
молочайных трав,

Стада и табуны ублюд-
ков безобразных,

Как ваш убойный скот,
тучнели для облав.

У него все обна-
жено, договорено до
конца, он не боит-
ся «безобразных»,
отталкивающих де-
талей. Но подчерки-
вание темного, биологического, «плот-
ти», не доработавшейся еще до созна-
ния, существующей только для того,
чтобы удобрить почву для «молочайных
трав», тяжелой, прожорливой, безобраз-
ной плоти, придает его «научной поэ-
зии» часто какой-то сумрачный, пес-
симистический оттенок. Темная власть
прошлого давит на него, он восклицает:

О предки дикие! Как жутко крепок
Союз наш кровный! Воли нет моей,
И я с душой мятущейся—лишь слепок
Давно прошедших, сумрачных теней.

Вечное чередование органических
форм, погибающих и уступающих ме-
сто другим, приводит его к ощущению
непрочности жизни на земле; перед
ним — картина последних дней засты-

вающей земли, когда она устало «зам-
кнет круг ежедневного вращения», и
ледники сползут к остывшим тропи-
кам, и лишь на «полдневном полуша-
рни», иссохшем от зноя,

Шевелят щупальцами алыми
Оранжевые пауки.

Это все, что осталось от богатого ми-
ра органических форм.

И, греясь спинами атласными
И «снова пожпрая слизь,

Они одни глазами крас-
ными
В светило желтое впи-
лись

Но мы слышим в
его «научной по-
эзии» и другие мо-
тивы. Он утвер-
ждает —

скрытое единство
Живой души, тупого
вещества.

Он видит мир
материалистически.
«Тайна» мира для
него — в материали-
стическом единстве.
И, чувствуя себя
частью природы,
частью «земли», он
обращается к «зем-
ле-владычице» с тор-
жественным гимном:

Не попытай со мной, как мать, кровавых уз,
Дай в танце бешеном твоей орбитной цепи
И крови красный гул, и мозга жирный груз
Сложить к подножию твоих великолепий!

Сходны мотивы, колорит, настроения
и во «фламандских» стихах. Тяжелые,
густые краски, подчеркнутый реализм!

Но, слышно, поступь тяжела коровья —
Молочным бременем свисает зад.
Как виноград, оранжевою кровью
На солнце нежные сосны сквозят.

Натурализм, как-будто безразличный
к самому понятию, к самому ощуще-
нию «отвратительной», корящейся де-
тали, лишенный брезгливости:

Помои красные меж челюстей разжатых
Спустивши, вывалят из живота мешок,
И бабы бережно в корытах и ушатах
Стирают, как белье, пахучий ком кишок.

(«Свиней колют»).



Мих. Зенкевич.

Но за этой видимой небрежливостью можно различить запрятанную жалость и омерзение. В «Цветнике» эта тайная подкладка утрированного натурализма Зенкевича выступает особенно отчетливо. Автор намеренно выявляет ее в резком контрасте. Старик-народоволец, привратник на городской бойне, разводит по соседству с местом, где царит шум и грязь убийства, мирный, приятный для глаз цветничок. С раннего утра, «конаясь в туже хлябкой», прикрученными быкам вгоняют обухом под любимую кость «перержавелый гвоздь», и они валятся на колени, «брызгая мозгом», гложут визги «приконченных ошпаренных свищей» —

Там, за стеной, на угольях агоний
Хрусталики поющая слеза,
А здесь подсолнечник в венце бегоний
И в редеде аниотины глаза.
Пусть размякают в луже крови клейкой
Подошвы сапогов,—он, пропустив гурлы
Ревущие, под вечер детской лейкой
Польет свои поникшие цветы.

Лиризм в стихах Зенкевича — скупой, данный околыш, сравнением, развернутой метафорой, двумя-тремя неохотно сказанными словами, как будто автор сам стыдится своего волнения или своей нежности, не хочет ее показывать на людях. Некоторые его вещи представляют собой развернутые метафоры, раскрываемые лишь в конце — строфы или стихотворения. Такова «Травля», где «скачка» тоски и борьба желаний уподоблены охоте:

Любимого кречета—мечту—швырну
Под еще не налившуюся серебром луну!

Такова любовная лирика стихотворения «Вы — хищная и нежная», где снова — излюбленная поэтом картина охоты, выявленная как метафора любви лишь последними строками:

Так что же неожиданного в том,
Что я вымаливаю, словно дара.
Как волк, лежащий на живнве густом,
Лучистого и верного удара.

Хмурый, сдержанный тон этого лиризма чувствуется даже в стихах, где поэт всего полнее отдается его волне, (как, например, в стихотворении «Поздний пролет», давшем название книге).

Второй отдел книги занят почти исключительно стихами, написанными во время революции и тематически

резко разнящимися от произведений первого отдела. Здесь мы уже не встречаем ни «научной поэзии», ни фламандской живописи. Тематика стала более разнообразна и богата. «Политические» мотивы выступили на одно из первых мест. Но основной тон мировосприятия и обусловленный последним стиль остались те же. Натуралистическая конкретность метафоры, усовершенствованная и будучи применена к более волнующей и трагически-заостренной теме, дает неожиданный по яркости эффект:

У перистого жемчуга ширясь и клекча,
Проводы солнца справляет орел.
Словно в предчувствии полуденной тоски,
Кольца зрачков созерцаю удвоенны,
А лично глотает ослепительные
куске
Солнечный, в жертву закланной
убоины

И заключение, мрачно раскрывающее образ:

...как падает вниз, тяжел
От золота в каменной груди,
Обживший граниты орел,—
В тьму своей ночи и ты пади,
Но в дремоте зари над собою не жди.
(«Памяти брата»).

Еще трагически-выразительнее — в другом стихотворении («Смерть авиатора»):

После скорости молний в недвижном покое,
Он лежал в воронке в обломках мотора,
Человеческого мяса дымящееся жаркое,
Лазурью обугленный стержень метеора.

Всего сильнее его сосредоточенная, хмурая поэзия проявляется в трагическом — «Отходная из стихов», «Наводнение в Ленинграде», «Рассвет на Мясницкой». В «Отходной» (да еще в другом — небольшом — стихотворении «О, сколько б ни было вам весен») дается как бы формула отношения поэта к поэзии и жизни, признание — несмотря ни на что — неразрывности связи с искусством («Свершу самоубийство, если я — на миг поверю, что с тобой — расстаться можно так, поэзия, — как сделал Нарбут и Рембо!») и приятные жизни («Нет! все готов снести я молча — и только б об одном молил, — чтоб вечно к жизни голод волчий — во мне неутоленный выл»). «Наводнение в Ленинграде» — лучшее по трагической

мощности образов стихотворение в книге:

На Марсовом поле твоём, Революция,
Трибуны могильные с бою беря,
Их черные толпы все льются и льются,
Приветствуя ночь своего Октября.

В соборе молящиеся, вы заперты!
Вам не поможет земной поклон,
Волны-убийцы вас ждут на паперти,
Повалят, ударят в корнях колонн.

В театрах, с партера, в фойе, в бельэтаже,
По лестницам шлейфов холодный душ
Волоча, уселись в креслах и даже
В ложах на красный бархат и плюш.

Галдят: мы сполна заплатили цену,
Все театры сданы под спектакль один.
В прожекторах молний пустим на сцену
Из пены сотканых балерин!

Выделяются своей четкостью и сжатой силой характеристики стихотворения «Пять декабристов» и «Пушкин». На ряду с этими вещами, у Зенкевича много прямых откликов на политическую и общественную «злобу дня» («В Ревеле», «Курская руда», «На Волхове», «Поволжье после голода», «Стакан шрапнели», «Берлин перед войной» и т. д.). Но даже в самых — по теме —

агитационных стихотворениях Зенкевич сохраняет высоту лирической интонации, никогда не переходя в лубок или в рифмованный пересказ газетных статей (особенно это надо сказать о превосходном «На Волхове»).

Стихотворная «техника» Зенкевича определяется самым характером его творчества, тяготеющего к натурализму, чуждому избыточного «открытого» лиризма, «напевности», несколько хмурому по колориту. У него преобладают «длинные размеры: пяти- и шестистопный ямб четырехударник (очень свободный). У него очень часты enjambements, — переносы синтаксической единицы из одной строки в другую (нарушающие «мелодику» стиха). До конструктивистов Зенкевич начал осуществлять приближение поэзии к прозе. У него можно найти и «локальный прием» (чапаевцы в уральских степях: «Утро, малыми глазами смеясь, красные, трахомные лучи раскинь») и характерную «индустриальную» вещь сравнений (раненый орел поплыл, «вкось плапируй», «мотор сердечный пуст» и т. д.).

5. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕСЬ

(Из цикла «Халтуроведение»)

С. Пакентрейгер

«Высоко подвешенный лучший ободок, растворившись в голубеющем поле, блеском бледной позолоты глушил скромные светильники, разметанные широким радиусом кругом». Чтобы перевести эти идилические строки на язык общегражданской прозы, необходимы всесторонние знания в области молодой научной дисциплины халтуроведения, «скромный светильник» которой, выражаясь стилем исторического романиста Александра Поповского, мы загляли совсем-совсем недавно.

В свете этой юной науки, правда, с каждым днем завоевывающей широкое поле деятельности, мы и рассмотрим не отдельные мазки, а все старательное полотно, которому автор дал загадочное название «Буревестник»¹⁾.

¹⁾ Александр Поповский. «Буревестник». Ист. ром. Знф. Стр. 450. Ц. 3 р.

Загадочность названия возникает для вас не тогда, когда вы приступаете к чтению романа, а тогда, когда, истратив все свои читательские усилия, вы отважно одолели четыре с половиной сотни печатных страниц «разметанных широким радиусом» вокруг «геншев авантюры», подвижников эсеровского террора, «одухотворенных» доцентов зубатовщины, «бедер и хвостов», демонстрирующих толп, «толстых рябых банкбросниц с трясущимся выменем и распухшими боками», вокруг...

Впрочем, не перечислишь сразу генеральных фигур и эпизодических персонажей, занесенных на полотно автором. Тут нужны и кропотливость и терпение восторженного исследователя, влюбленного в новую дисциплину, во

славу и обогащение которой с похвальным азартом соревнования, на ряду с некоторыми из признанных, рабагуют целые отряды ищущих признания...

Сразу не представишь читателю тех сочных, ароматных и обольстительных плодов халтуры, какие вырастил ищущий признания трудолюбивый автор нового исторического романа.

Стиль, — говорили некогда, это — человек, стиль, — говорят в наше время иные, — это класс. И то и другое неверно. Стиль, это — нечто столь же загадочное, как Александр Поповский.

Дальновзоркий Щедрин вряд ли был уверен в том, что и в переходное к социализму время будет практиковаться, да еще молодыми, ищущими признания авторами, прием «смачивания» психологическим анализом.

Вот этот прием и губит Поповского. «Смачивание» широко практикуется им, и надо сказать, что оно-то и привело его к неожиданным и поражающим чудесам стилистики, неожиданным и поразительным, вероятно, для него самого.

Вот, скажем, Александру Поповскому нужно передать состояние знаменитого провокатора Азефа, внезапно узнающего, что из России высылают конкурента и друга по его профессии, не менее знаменитого секретного охранника Рачковского. И вот раньше всего темпераментный автор проносится ураганом по профессионально-тренированной физиономии Азефа: она «надламывается», ноздри «дрожат», глаза «прыгают». Затем, как в старинном захолустном театре, беспокойный автор на глазах у зрителя воспламеняет бенгальские молнии и явно гремит листьями жести:

«Невидимый привод завертел мыслительный шкив, и при все возрастающем движении понеслись и за сверкали искры мыслей. Чувство, думы, обрывки фраз, образов и впечатлений заворочались, двинулись и буйной ватагой понеслись в голове, звоном и свистом отдаваясь в ушах... Так длилось, пока важные мысли с шумом растолкали менее важные и заняли свои места».

Не правда ли, ошеломленный читатель, в редких случаях можно натолкнуться на такое величественное зрелище: вихрь пошлости и смерч неграмотности вступили здесь в отважное единоборство.

Тут халтура поражает, ослепляет своим дерзким размахом и силой. Казалось бы, зачем углубляться в ее дремучие леса, если с первых шагов обнаруживаешь, что деревья бутафорские.

Но в том-то и суть, что Поповский отнюдь не лишен дара говорить общегражданской прозой, говорить вятно, ясно, членораздельно. С пользой для себя, а может быть и для иных читателей, он мог бы по источникам, по документам, составить книжку о подпольной деятельности эсеровских террористов, дать более или менее систематическое представление о работе зубатовцев в рабочей среде, привести возможно верные оценки всем этим явлениям.

Однако, такое скромное дело не удовлетворяет Поповского. Он хочет овладеть «тайной отмыкать человеческие души» — тем завидным даром, каким, по его свидетельству, гениально владел Каляев.

Иллюстрировать все операции отмыкания нет никакой необходимости. Кто располагает временем и пристрастием к изучению данного рода уголовно-художественной деятельности, того мы отсылаем непосредственно к роману. Мы остановимся только на самых выдающихся приемах холодного и бездушно использования способа отмыкания человеческих душ.

Первое покушение Каляева на великого князя Сергея Александровича не удалось, и вот какое человеческое состояние овладевает душой московского генерал-губернатора: «Он блуждал среди людей, не познавая окружающего мира», хотя автор точно не выясняет, почему великокняжеское блуждание вызвало катастрофическую потерю способностей его к познанию. Эти способности он в очень малой мере упражнял и раньше, бдя и охраняя устои самодержавия «речь его путалась в собственной логике», — мы предоставляем самому читателю расшифровать тайну этого оборота;

«неглубокие глаза ловили сливки в печатлений...» ...хватит с нас ловли сливок, взбиваемых Поповским в царственных душах. От побочных продуктов молочного хозяйства, без которых, очевидно, немислимо «смачивание» психологическим анализом, перейдем непосредственно к продуктам интуитивного прозрения автора.

Рабочий Федор, запутавшийся в сетях зубатовщины, убивает одного из добросовестно заблуждавшихся ее агентов. Слушайте, читатель:

«Взбунтовавшиеся руки рванулись, скрючились под подбородком и деревянными пальцами ушли в мягкое человеческое тело. Жаркие потоки частыми всплесками крошили голову. Пламенное зарево в багровое полотно кутало распухший череп, топило глаза и воем протыкало уши».

Ну и зарево, ну и черепа, ну и уши! Почему ропщут и жалуются на бедность и несовершенства нашего юмора и сатиры? Гражданин Щедрин, знакомы были вам такие исторические черепа и такие исторические уши, какие демонстрирует Александр Поповский?

Некогда вы писали: «Роман можно из всего сделать, даже если нет у автора данных для действительного содержания. Возьми четыре-пять главных действующих лиц... прибавь к нему второстепенных, присокопи несколько упражнений в описательном роде... поставь в вольный дух и жди, покуда не зарумянятся».

Но ведь у нашего автора были данные для действительного содержания. И Азеф, и Рачковский, и Сергей Александрович, Каляев и Савинков существовали. Александр Поповский присокопил к этим фигурам только упражнения, и не столько в описательном, сколько в том особом роде, для которого он сам нашел чрезвычайно краткую и меткую характеристику.

По поводу одной работницы, мелькающей в его романе, он выразился

так: «Девушка затянулась злой иронией». Нам кажется, если эдакое вообще невозможно в подлунном мире, то автор своим романом опровергает сие невозможное явление. В одних случаях он совершенно бессознательно затягивается иронией, в других—сознательно и с заранее обдуманном намерением.

Примерами бессознательного затягивания мы больше злоупотреблять не будем. Вряд ли у кого хватит критического мужества осудить эти—от писательской воли независящие—процессы.

Но вот, как быть с сознательным и заранее обдуманным намерением затягиваться злой иронией, о котором (о намерении) вы должны догадаться к концу романа. Одолевши роман, вы должны догадаться, что Савинков—беззастенчивый авантюрист. Что Каляев—несколько застенчивый буреветник в кавычках. Впрочем, вы можете об этом не догадаться. Такова сила иронии Поповского, воздавшего должное жертвенности Каляева, и, вместе с тем, всеми доступными средствами «смачивания» и «затягивания» доказавшего, что Каляев был неуравновешенным интеллигентом, что он переживал и пережевывал трагедию Раскольникова, что он стоял на грани помешательства, что хоть он и совершил после бесчисленных колебаний покушение на Сергея Александровича, но был по существу героическим буреветником, страдавшим неврозом.

Вот как «затянулся злой иронией» Александр Поповский. Как расценят историки это открытие—судить не беремся, но с точки зрения халтуроведения, в коем мы обретаем все больший и больший опыт, ревностному автору можно сказать:—Нет, лучше не затягивайтесь, ни сознательно, ни бессознательно. С художеством исторические ваши затяжки ничего общего не имеют, а халтура—это чудовище обло, стозебно и лайя—зачем оно вам? Или, может, вы нужны ему? Но и в таком случае: лучше не затягивайтесь!

Книжное обозрение

1. МИХАИЛ КОЛЬЦОВ Собр. соч. т.т. II и III. Ник. Смирнова.—2. МИХАИЛ КОЗАКОВ «Человек, падающий ниц». А. Лежнева.—3. БОРИС ЖИТКОВ «Виктор Вавич». К. Локса.—4. ЛЕОНИД ГРАБАРЬ «Журавли и картечь». Арк. Глаголева.—5. а) ЭЗРА ЛЕВОНТИН «Фелука»; б) П. ЛУКНИЦКИЙ «Волчек»; в) М. СВЕТЛОВ «Хлеб»; г) АРКАДИЙ СИТКОВСКИЙ «Бронзовая молодость». И. Поступальского.—5. АНРИ БАРБЮС «Правдивые повести». Я. Фрида.—7. РАХИЛЬ ФЕЙГЕНБЕРГ «Летопись мертвого города». А. Гурштейна.—8. ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ «Мой Пушкин». И. Сергиевского.

Михаил Кольцов.—«Собрание сочинений». Том II — «Крупная дичь», стр. 346, том III—«Поразительные встречи», стр. 441. ЗиФ. 1928 г.

Собрание сочинений Михаила Кольцова — доказательство того, что газетный фельетон, который обычно принято расценивать, как злободневно-преходящую агитоднодневку, имеет более широкое и глубокое, историко-литературное значение. Книги Кольцова, — тематически систематизированные фельетоны, печатавшиеся, в разное время, в ежедневной печати (преимущественно в «Правде»), — не только не утомляют, но, наоборот, прочитываются с несомненным интересом: они увлекают и своим сюжетным развитием и своей жизненно-правдивой остротой.

Кольцов один из лучших современных фельетонистов, чрезвычайно разнообразен.

Основное свойство его творчества — целеустремленность. Он, будучи писателем-борцом, писателем-воином, целиком и без остатка отдал свой талант делу пролетарской революции. Революция имеет в лице Кольцова своего верного художника, — художественность кольцовского творчества неоспорима и безоговорочна.

Внимательность и зоркость Кольцова удивительны. Внешнее его мастерство — изощренно: четкость композиции, цельность, неповторяемость стилистических приемов и средств (последнее, при ежедневной газетной работе, крайне ценно).

Все эти особенности Кольцова с наглядной яркостью заметны в рецензируемых книгах, отчетливо показывающих Кольцова и как описателя-

путешественника, и как сатирика, памфлетиста.

В «Крупной дичи» собраны фельетоны, посвященные, главным образом, нашей внутрисоюзной современности. Бюрократизм, «чванство» отдельных советских работников, недостатки административного аппарата, темные стороны быта, разнообразные проявления классовой борьбы — все дано здесь с впечатляющей выразительностью и, в то же время, с деловой, практической серьезностью. Деловитость и живость — непременные качества советского фельетона — выдержаны у Кольцова до конца.

Книге предпослано неожиданное предисловие из... охотничьих записок С. Т. Аксакова: «сия книжка — ни больше, ни меньше, как простые записки страстного охотника и наблюдателя, иногда довольно подробные и полные, иногда поверхностные и односторонние, но всегда добросовестные» и т. д.

В качестве послесловия, в книге приведены отклики на фельетоны и практические результаты, вызванные ими (фельетонами). Это подтверждает несомненную общественную значимость творческой работы фельетониста-художника. Само же наличие оригинального «пролога и эпилога» еще раз свидетельствует о хорошей выдумке Мих. Кольцова.

К сожалению, в этой книге сказывается и всегдашний недостаток писателя — частичная небрежность языка: не всегда отточенная, не всегда звучная фраза.

В «Поразительных встречах» Кольцов дал образцы очерков о современной Европе. В то время, как «вояж» многих наших писателей, поклоняющихся

«святым камням» Запада, заканчивается обычно «изображением» ресторанных подмоетков или ночных столичных огней, — Кольцов дал поистине ценные картины политической жизни европейских стран, заострив свое внимание на их социальных процессах.

Кольцов, на ряду с изображением величайших капиталистических столиц, хотя бы Лондона, наблюдаемого им в дни пришествия к власти консервативного правительства в 1924 г., зарисовал и другие, менее значительные европейские уголки: монархически-средневековый Белград (в «В гостях у короля») и помещичью Венгрию, где «старый адмирал (Хорти) дремлет на ступенях трона, опершись на окровавленную шпагу».

Это — лучшие очерки в творчестве Кольцова. Рядом с ними можно поставить — по тонкой картинности и экспрессивности — очерки «Перелет» и «Серебряная утка», напряженно и вместе с тем естественно-свободно передающие картину воздушного пути.

Ник. Смирнов.

Михаил Козаков. — «Человек, падающий ниц». Рассказы. Избранные со- Цена 2 р. 25 к., переплет 27 к.

«Человек, падающий ниц» объединяет рассказы, чрезвычайно типические для творчества М. Козакова. Черты его писательского облика выступают с большой отчетливостью. Он — насквозь литературен. Вы встретите у Козакова всевозможные интонации, всевозможные стили: патетику лирических обращений («Сестры, сестры переулочные, — кто оповестит о тоске неостывающей вашей?!»), библейскую торжественность («И когда приходило утро, говорил Заруда, смерти не ждавший», «И увидели разбуженные арестанты») и непринужденную грацию порхающих метафор («Бросившись на землю дразнящей легкой кокеткой, взмахнет юбочкой-крыльями южанка-ласточка»), манерную приподнятость лидинской фразы («прошли они терпкие — смертные — человечьи пути») и фразы, отдающие Достоевским («будто вериги ты мне добровольные»), полукомические бытовые

обороты («жена его, акушерка Голда Ароновна, в пылу ссоры всегда оскорбительно говорит о нем при соседях: «Ой, суслик мой... мой Айзик: семимесячный») и сентиментальность эренбургского толка («то плачет неслышно рыжеволосенький горбун Порфиша — причудливый куприкчаевский жилец»). Он любит «обнажать прием», и в первом рассказе книги проводит это «обнажение» с назойливым и утомительным подчеркиванием. Он охотно вводит в свой литературный обиход такие потертые новшества, получившие общее признание. Он тяготеет к причудливому, эксцентрическому, к курьезам, к людям и вещам, странным сами по себе и этой странностью выделяющимся. Отсюда его карлики, его горбуны. Этим он как бы стремится покрыть недостаток внутреннего своеобразия.

У М. Козакова — упор на эксцентрический сюжет, развертывающийся по принципу «наоборот», по правилу постоянного «обманывания» читателя. В рассказе «Смертники», например, это наведение читателя на путь ложной догадки происходит несколько раз. Повторяясь постоянно, этот прием теряет свою занимательность. Кроме того, он нередко проводится грубо и натянуто. В «Повести о карлике Максе» один из героев, «лепещанский мануфактурист» Айзик Евсеевич погибает, задушенный рукой офицера из контрразведки. В следующей главе происходит его неожиданное воскресение: смерть от руки офицера только... приснилась напуганному еврею.

Игра на эксцентрическом сюжете, как и игра на стилизованных названиях глав, с их комической бытовой окраской и подчеркиванием второстепенных деталей, говорит о литературщине, об искусственности, о «деланности» вещи. Произведения М. Козакова именно «деланы» — иногда ловко, чаще посредственно. И упор — на «мастерство» оформления, на технику, довольно безразличную по отношению к теме. Этим он несколько напоминает Лавренева, только тот «работает» с гораздо большим блеском. Но такая «деланность», такой литературный техницизм — нечто

быстро приедающееся. Вы скоро разгадываете несложный рецепт изготовления, и вам становится скучно.

Понятно, что и общественная наполненность подобных произведений не может быть велика. Единственное, что здесь следует выделить, это—первый по порядку рассказ, давший название книге: «Человек, падающий ниц». В этом рассказе затронута острая тема—об антисемитизме, и поставлена она достаточно остро и открыто. Но зато тут замечается диссонанс между остротой темы и искусственным, формальным писательским методом Козакова. Бесперывное кокетничание с приемом «обнажения», постоянное прихорашивание у зеркала резко противоречат социальной направленности произведения, его негодующему пафосу.

В остальных вещах—маленькие люди, маленькая жалость, иногда засахаренная до отвращения. Писать о страдающих горбунов и карликов так, как пишет Козаков—сейчас уже литературно неприемлемо, безвкусно, убого. Это — скомпрометированное общее место, штамп. И как бы ни стараться подновить его эксцентризмом сюжета и другими модными «приемчиками»—ничего хорошего не выйдет.

А. Лежнев.

Борис Житков. — «**Виктор Вавич**». Книга первая. Изд. «Прибой». 1929. Стр. 352. Ц. 3 р. 35 к.

Можно считать неоспоримым — степень оригинальности писателя измеряется его умением обработать оформленный самой жизнью сюжет, развитие которого, до известной степени, предустановлено той или иной исторической эпохой. В границах этого исторически-обусловленного сюжета заключен материал, разнообразный, всегда свежий и всегда новый, если уметь подойти к нему по-своему. Так неизбежно ясны контуры повествования из русской жизни начала XX века, предреволюционной эпохи. Действующие лица заранее известны нам,—мы, без сомнения, встретим тех или иных уже достаточно разоблаченных персонажей, суждения о которых с полной обоснованностью даны на страницах учебников истории. Писателю остается, тем не менее, счастливая возможность показать

этих персонажей, не нарушая их цельности, в каком-нибудь неожиданном рельефе. Так свет, направленный с разных сторон на одно и то же лицо, раскрывает его затаенные черты и заставляет выступить более отчетливо уже знакомое.

С этой точки зрения книга В. Житкова заслуживает внимания. Правда, нам кажется, не стоило делать основным героем околodочного надзирателя и называть книгу именем этого героя. Подпольный кружок, забастовка на заводе, студенты, будущий провокатор—все эти хорошо знакомые нам сюжеты и персонажи обросли умело и точно подобранными деталями. В деталях и характеристиках, в самом бытовом пейзаже автор умеет неожиданно разнообразить привычную ситуацию, счастливо избегает затасканных положений и, в конце концов, достигает цели, т. е. создает нечто свое, индивидуальное, не в ущерб исторической верности. Пока в нашем распоряжении только «первая книга», обрывающаяся началом русско-японской войны. Для окончательного суждения обо всей повести придется подождать ее окончания.

К. Локс.

Леонид Грабарь. — «**Журавли и картечь**». Повести. Гиз. М.—Л. 1928. Стр. 271. Тир. 4.000 экз. Ц. 2 р. 30 к.

Леонид Грабарь, как известно, принадлежит к ленинградской группе пролетарских писателей, справедливо ставящей одной из главных своих литературно-художественных целей отображение рабочего и строительства нового быта широкой пролетарской массы.

Однако, к сожалению, рецензируемая книжка в весьма слабой степени отвечает этому заданию.

Хотя автор, повидимому, и стремился к показу рабочего-средняка, но приходится все-таки констатировать, что главным героем разбираемых повестей Грабаря является середняк-обыватель. Вольно или невольно от авторских намерений образы обывателей в этой книге решительно заслоняют фигуры рабочих.

Из двух повестей, помещенных в данной книжке, одна—«Лахудрин переулочок»—всецело посвящена показу со-

временной обывательщины, ее засасывающего влияния на тех, кто в годы гражданской войны были честными красными бойцами. Эта тема, весьма и весьма не новая для нашей беллетристики, разработана Грабарем также весьма шаблонно. Автор показывает двух героев: временно свихнувшегося рабочего Волосова и безвозвратно погибшего служащего Иванова.

Образ Волосова — рабочего-средняка, — его временное падение, преодоленное органической крепостью его классового самосознания, все это могло бы послужить основой очень интересного повествования, если бы этот замысел был проработан методом углубленного социально-художественного письма. Только при помощи последнего образ Волосова — тип положительный — мог бы стать живой, полнокровной фигурой. У Грабаря же Волосов подан внешне, беглыми штрихами. Получилась обычная схема, эскиз, требующий проработки и углубления.

Обо всем остальном в повести, об образе Иванова, хотя и занимающем в повести не меньшее место, чем Волосов и др., говорить как о чем-либо художественно значимом и вовсе не приходится: все это уже совершеннейшие, давно надоевшие штампы. Банально-трафаретны, напр., все ивановские похождения в казино, заканчивающиеся обычным «трагическим» концом (самоубийство после последнего проигрыша). Стереотипны до-пельзы и мешанки-жены обоих героев, и темные дельцы с обязательными зелеными бумажками долларов, и все проч.

«Журавли и картечь» оставляет более благоприятное впечатление. Автор дает здесь несколько живых зарисовок заводского быта, набрасывает несколько обликов рабочих-средняков (Шцигин, Субботенко и др.). Но эти последние только набросаны и сильно заслонены обывательскими или социально-нехарактерными типами, каковыми поданы инженер Мезенцев, член правления Под'ярков, бухгалтер Харитонов. Под'ярков, напр., менее всего похож на современного советского хозяйственника. Это — какой-то «лирический» человек, мечтающий о жене Мезенцева и

писательской деятельности. Отправляясь в некое путешествие по провинции, Под'ярков использует его весьма «своеобразно». «Пусть не ждет правление «Красного металлурга» от меня коммерческих достижений и миллионных сделок. Я буду просто отдыхать! Буду просто смотреть новые города и новых людей» — заносит он в свой дорожный дневник. И этот «осмотр» сводился у Под'яркова либо к дреманию на «уютном диване в каюте и спальню в провинциальных гостиницах», либо к встречам с каким-то «легкомысленным молодым человеком, сосредоточенно интересовавшимся векселями, инкассо, игриво — девушками» и к заглядываниям в «оранжевые (от уютных абажуров) окна». Свой дневник этот «хозяйственник» заканчивает концовкой — «хочу быть писателем». Бухгалтер завода Харитонов настроен более урбанистически, его привлекают не путешествия по провинции, а бары «ночного Невского», и хочет он быть не «писателем», а «иностранцем». Фигурирует еще в повести машинистка, мечтающая о «красивой жизни, о сказке, юноша с «чарльстонской неотразимостью». Словом, в повести в достаточном количестве имеется тот затасканный балласт, конем литературные халтурщики обильно насыщают свои изделия и чего следовало бы избегать пролетписателям.

Композиционно повести Грабаря не свободны от лишних деталей, особенно «Журавли и картечь» — вещь вообще совершенно лишняя сюжетной целостности.

Арк. Глаголев,

Эзра Левонтин. — «Фелука». Стихи. Изд. «Никитинские субботники». М. 1928. Стр. 64. Ц. 1 р. 50 к.

П. Лукницкий. — «Волчек». Стихотворения. Изд. автора. Л. 1928. Стр. 46. Ц. 60 к.

М. Светлов. — «Хлеб». Поэма. Новинки пролетарской литературы. Изд. «Московский рабочий». М.—Л. 1928. Стр. 32. Ц. 50 к.

Аркадий Ситковский. — «Бронзовая молодость». Изд. Ассоциации пролетарских писателей Грузии. Тифлис. 1928. Стр. 32. Ц. 25 к.

«Фелука» Э. Левонтина внешне при-
вязан к роскоши. Издана с забытой
вычурностью, в стилизованной облож-
ке, с заставками. Автор ее, повидимому,
прочно возрос на символистах и пере-
водных балладах. Он не понимает, что
пересыпать стихи истертыми и начи-
нающимися с прописных букв словами,
как Бездонность, Непреложность, Про-
вал, Свет, Затменный, Скорби, Судьбы
и т. п., — сейчас скорее всего безвкусно.

Впрочем, в книжке только 15 стихо-
творений (одно помечено 1916 г., дру-
гие первыми годами революции). Если
Э. Левонтин дебютант (а мне не при-
ходилось видеть других его книг) и
если тридцатипятилетний возраст («так
в тридцать пятый раз встречаю
осень...») не явится помехой — он мо-
жет попытаться развить более опреде-
ленные мотивы таких вещей, как «Поэ-
ма о Джоне», «Дуэль» («Внизу лакей,
как баба, голосил, и причитала рядом
с ним старуха, и лекарь по начальству
доносил, что «камер-юнкер Пушкин ра-
нен в брюхо...»), «К Лермонтову» и «Спо-
вали по перропу».

Никаких откровений П. Лукницкий
в своем «Волчке» не дает. Его поэти-
ческое мировоззрение еще очень зыбко.
Установка на акменстическую школу
явствует из ритмики («переламывали
облака», «пронизывающими Ленин-
град»), из типичной тематики, из обра-
щения со словом.

Море глухо шумит внизу,
Теребит большую звезду,
Прошлой ночью она в грозу
Сорвалась на свою беду.
Может быть, и я упаду
В потемневшую бирюзу...

На первых порах ничего печального
нет и в самой пылкой учебе. Но, на
всякий случай, надо сказать, что
П. Лукницкому впредь не следует пи-
сать так, как он иной раз совсем не-
оригинально писал в 1923 г:

Нас нежат звонкие кольчуги
И тяжесть бронзовых ветров,
И песни нам поют подруги
В косматой зареве костров...

Так писать не следует потому, что
все это отнюдь не свежо, что прибе-
гать к условности «кольчуг» особой

пужды нет. Это несомненно должно
быть только болезнью роста.

Попадается в «Волчке» и пехорошая
невнятица. «Копь командира заорал
победно», «На стоны ветра, скрипки,
муки, жалей, не надвину бровь». Не-
хорошо...

Выделяются в сборнике стихотво-
рения: «Пьяный», «Я теперь тебя не за-
буду», «В кофеине», «Симферополь»,
«На улице», «На паровозе». («Оставь
любви веретено», «Камни».

Поэма М. Светлова состоит из пяти
глав, события в ней располагаются
хронологически. «Мещанин Либерзон»
бежит от погрома. «Бродит полночь
неживая по местечкам разоренным». Затем
следует любопытная вторая
глава, в которой бакалейщик Либерзон
осторожно напоминает сыну Моисею о
долге мстителя.

Самовара большой костер
Потухает в изнеможении...
Начинается разговор
Философского направления.
— Что ты видел, цыпленок куцый,
У окошка родного дома?
— Отблеск маленькой революции
И пожар большого погрома...

В двух других главах действуют
Моисей и Иван Можжаев — сын громилы.
Эти главы М. Светлову удалось. На-
пример, эпическая выразительность
достигается по-былинному нелогичным
описанием военных спл.

Он идет вперед полков.
Триста пушек за ним гудят.
И четыреста жеребцов,
И пятьсот боевых ребят...

В этих главах так же интересны и
«равнины военных снов» Моисея и его
разговоры с Иваном. Сын громилы
говорит товарищу: «Никогда не думал
я, братшка, что могу я жидка полю-
бить», размышляет о будущем, когда
«будет жпшп куда вкусней и гуще,
будет хлеб: пятиалтынный — пуд, и еще
дешевле — неимущим», мечтает вы-
строить дом («не дадут кирпичей —
украдем») и беззлобно спохватывается:
«Ты смотри, жидюга, молчи». Этим
последним штрихом поэт придает диа-
логу своих персонажей полное правдо-
подобие. В заключительной главе — в
вагоне неожиданно встречаются ста-
рки.

— Извиняюсь, Либерзон,
 За ошибку свою извиняюсь.
 За изнасилование дочерей,
 За разбитые ящики
 Вашего комода.
 Я очень извиняюсь,
 Товарищ еврей,
 Бывшая
 «Жидовская морда».
 Был я очень уж молодым,
 И к тому же довольно пьяным,
 Был я темным,
 Был слепым,
 Несознательным хулиганом...

«Извиниться перед евреем — значит стать его лучшим другом». Эта интернациональная тенденция поэмы для М. Светлова не нова (ей он посвятил ряд прежних стихов), но внешние качества позволяют считать «Хлеб» достижением поэта. Там, где его стих технически становится вялым или появляется сентиментальность, обычно дается убивающая трафарет ирония. Неинтересна только композиция поэмы — заучепно-хронологическая. Нельзя считать удачным и название («Хлеб», очевидно, аллегорический?).

А. Ситковский в одном из стихотворений своего сборника утверждает, что у него «чудовишный рассудок». Увы, плодотворной деятельности рассудка в «Бронзовой молодости» никак не заметишь. В первой же вещи («На Шайтан-базаре») А. Ситковский тщится «модернизировать» с детства всем нам знакомые лермонтовские стихи («И испытанный трудами бури боевой, их ведет, грозя очами, генерал седой») таким примитивным способом:

И под каменную бурей,
 Северу грозя,
 Навсегда фанатик хмурый
 Закатил глаза.

В других стихотворениях так же своеобразно перепеваются Есенин и Жаров. Дешевая бульварщина передко облачается в пышные «идеологические» наряды:

Ему, офицеру,
 Вторично в ответ
 Красивая Мерн
 Ответила: — Нет!

Я наводил справки и узнал, что А. Ситковскому совсем не 18 лет. Кроме того, в 1926 г. им уже была издана книга одинакового, — а то и большего — значения. Кого же надует тифлис-

ское изд-во, выпуская под видом «пролетарской поэзии» эти, с позволения сказать, стихи? *И. Поступальский.*

Анри Барбюс. — «Правдивые повести». Перев. с франц. С. Я. Парнок. Собр. соч. т. III. Гиз. М.—Л. 1929. Стр. 195. Цена 1 р. 75 к. (в перепл.).

«Я привожу здесь только случай из жизни. Я ничего не выдумал в этих рассказах... Я только слегка «олитературил» их...» — говорит Барбюс во вступлении к «Правдивым повестям». Ознакомившись с 24 маленькими «повестями», образующими книгу, читатель сразу замечает, что ценность этих рассказов тем выше, чем менее они «олитературены».

Все «повести» в равной мере направлены против «режима систематического угнетения, который порождает столько ужасов и бедствий на земле». Но одни («Жан, который смеется» и Жан, который плачет», «Солдатская песня», «Лошадь-шахтер», «Трактор цивилизации») воспринимаются как нормальные, средние беллетристические произведения, отчетливо гуманистически окрашенные. Другая же, большая часть «повести», почти лишена беллетристического грима, привлекает внимание читателя своим информационным характером.

Всевозможные литературные и нелитературные «злодеи» — жалкие дилетанты по сравнению с вершителями судеб гражданина современной Болгарии или Румынии, с Петлюрой, с теми, кто убил Тодора Паницу — вождя македонских комитажди. Тип подлца с шекспировой резкостью выражен в румынском короле Фердинанде. Какой убогой, лишенной фантазии инсценировкой кажется любой «сад пыток» рядом с дикими зарослями мучительства, сладострастного истязательства, медлительного истребления, которые называются тюремным режимом политических заключенных в балканских и прибалтийских странах, в Румынии, в Польше...

Эти наши современники, почтенные судьи и тупые, быть может, даже неграмотные тюремщики, оказывается, в «жестком жанре» не уступают Эдгару По. Но они так наивно скромны, не жа-

ждут славы; и обычно—благодаря МОПР'у, а в данном случае—благодаря Барбюсу мы узнаем о некоторых из них и их необузданном творчестве.

Из «олитературенных» вещей очень сильна новелла «Несбывшаяся побывка».

Я. Фрид.

Рахиль Фейгенберг.—«Летопись мертвого города». Перевод с еврейск. С. М. Гинзбурга. Изд. «Прибой». Л. 1928. Стр. 183. Ц. 90 к.

Это — жуткая книжка, потому что это — правдивое повествование о кровавой расправе, которую учинила разбушевавшаяся «петлюровщина» (разных оттенков) над мирным еврейским населением Украины в черные дни ее господства. Потоки крови залили тогда Украину, были разрушены сотни городов и местечек, сотни тысяч людей убиты, искалечены, исковерканы. В лежащей перед нами книжке дана хроника кровавых событий, которые пришлось пережить в 1919 году—на ряду с другими украинскими городами и местечками—еврейскому населению местечка Дубова. День за днем разворачивает перед нами автор эти события, «малый» погром и «большой» погром, насилия и издевательства, пьяный разгул сменявших одна другую петлюровских банд. «Глинице», бывшее обычно местом свалки всякой падали, стало общей могилкой чуть ли не всего еврейского населения местечка.

Значение разбираемой книжки (которую по внешним признакам приходится отнести к «художественной литературе») определяется ее правдивостью, ее жутким соответствием действительности, ее «хроникальностью». Но этим значение книжки и ограничивается. От автора (с весьма незначительным художественным диапазоном) остается скрытым социальный смысл погромов «гайдамачины», автор бессилён раскрыть породившие их причины. Как справедливо обозначено в предисловии, предпосланном русскому переводу, «идеология автора обывательски-примитивная» (стр. 3). Автор сентиментально-идилличен, когда он рисует мирное еврейское местечко, и явственный националистический привкус со-

провождает все его повествование.

Еврейская советская литература неоднократно (особливо на Украине) обращалась к теме погрома, но, подходя к этой теме, она (при разнообразном ее разрешении) не теряла социальной перспективы; перспектива растущей революции, пришедшей на смену кровавой гайдамачине, способствовала преодолению жуткой темы. Автору нашей книжки, живущему вне пределов СССР, совершенно чуждо это чувство социальной перспективы.

А. Гуритейн.

Валерий Брюсов.—«Мой Пушкин»

Статьи, исследования, наблюдения. Редакция Н. Пиксанова. Гиз. М. Л. 1929. Стр. 319. Цена 3 руб.

Мысль собрать воедино свои пушкиноведческие работы принадлежит самому Брюсову. Им же самым первоначально было намечено примерное содержание задуманного сборника и его композиционный план. Осуществить этот замысел ему, однако, не удалось ни тогда, когда он впервые возник у него, ни позднее—в революционные годы, когда особенно полно и интенсивно развернулась его исследовательская и научно-популяризаторская деятельность в области пушкиноведения. И только сейчас, пять лет спустя после его смерти, мы получили, наконец, эту давно ожидаемую книгу.

Естественно, что теперь состав ее должен был значительно измениться, в сравнении с тем, как мыслился он самим автором. Для наибольшей полноты литературно-исследовательского облика Брюсова-пушкиниста необходимо было включить ряд его позднейших работ, если не всегда объективно ценных, то, во всяком случае, чрезвычайно характерных для эволюции его собственных общественно-политических позиций. Трудно было миновать кое-что из неизданного, тем более, что в рукописных фондах Брюсова оказались вполне цельные и законченные работы. Такова статья, посвященная детальному морфологическому анализу «Пророка».

С другой стороны, об издании полного собрания пушкиноведческих ра-

бот Брюсова, конечно, нечего было и думать в условиях нашей издательской бедности. В приложенном в конце сборника библиографическом указателе зарегистрировано свыше восьмидесяти отдельныхopusов, в том числе — несколько отдельных книг, ряд крупных статей и т. д. Естественно, что при таком положении вещей приходилось жертвовать многим и многим; притом некоторыми довольно существенными вещами в роде классической рецензии на первый том академического издания Пушкина, текстовых работ по лицейским стихотворениям или полемики с Щегловым о взаимоотношениях Пушкина и Боратынского.

И все же следует сказать, что, несмотря на эти трудности, сборник скомпанован безусловно удачно. Редактор очень умело справился со своей задачей, сконструировав именно то, что он хотел: книгу, которая в равной степени была бы объективно значима для пушкиноведения и которая, в то же время, была бы книгой о Брюсове, характеризуя его критико-исследовательские принципы и его писательскую манеру.

Другое дело, если удельный вес самих объединенных в сборнике работ значительно понизился, за прошедшие годы. Если биографические этюды, сосредоточенные в книге («Первая Любовь Пушкина», «Пушкин в Крыму») сохранили еще какое-то значение, главным образом в силу своего компилятивного и популяризационного характера, если статьи об отдельных произведениях Пушкина («Домик в Коломне», «Медный Всадник») и сей-

час еще могут служить неплохим вводным пособием для первоначального историко-литературного ознакомления с ними, то работы, посвященные политической идеологии Пушкина («Политические взгляды Пушкина», «Пушкин и крепостное право») зачастую уже имеют ценность исключительно исторического документа — документа из истории науки о Пушкине.

В еще большей степени относится это к анализам художественной системы Пушкина. Такие работы, как «Стихотворная техника Пушкина», «Звукопись Пушкина», «Ленизна Пушкина в рифмах», уже в момент своего появления в свет производили впечатление своеобразного методологического архаизма и не без некоторых оснований квалифицировались как «игра в науку». Что же сказать о них теперь, когда морфологическое изучение литературы достигло таких колоссальных результатов, опередив не только опыты Брюсова и его сверстников — поэтов и теоретиков-символистов, но и построения современной западно-европейской науки.

Обращаясь к сборнику, необходимо, конечно, учитывать все сказанное самым пристальным образом. Если квалифицированный читатель, не чуждый известной литературоведной культуры, сам поймет и примет все это во внимание, то рядового читателя, читателя массовика необходимо с самого начала предупредить, что собранные в «Моем Пушкине» материалы — отнюдь не последнее слово пушкиноведения, а его прошлое, в лучшем случае — недавнее, в худшем — давно изжитое.

И. Сергиевский.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

ГОСУД. ИЗД.-ВО
«ЛИТЕРАТУРА И МАРКСИЗМ»
— журнал теории и ист. лит.
1929. Кн. 5-я. Стр. 149. Кн. 6.
Стр. 162. Ц 1 р. за номер.
ПИКСАНОВ, Н. — Творческая
история «Горя от ума». 1928.
Стр. 363. Ц. 4 р.
МОРОЗОВ, Н. — Христос. Кн. V.
1929. Стр. 892. Ц. 8 руб.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО, САМОКРИТИКА

И ЗАДАЧИ ПЕЧАТИ. 1929.
Стр. 175. Ц. 80 коп.
РАЕВИЧ, С. — Гражданское пра-
во буржуазно-капиталистиче-
ского мира в его историче-
ском развитии. 1929. Стр. 307.
Ц. 3 руб. 25 коп.
СЕРЕБРЯКОВА, Г. — Женщины
эпохи Французской револю-
ции. 1929. Стр. 164. Ц. 2 руб.
ТОЛСТОЙ, Алексей. — Под ста-
рыми липами. Рассказы.

(Собр. соч., т. III). 1929.
Стр. 356. Ц. 2 руб. 75 коп.

ЛЬЮИС, Г. Н. — Анатомия нау-
ки. Пер. под ред. акад. А. Ф.
Иоффе. 1929. Стр. 143. Ц. 1 р.
70 коп.

ПИЛЬНЯК, Б. — Тысяча лет.
(Собр. соч., т. III). 1929. Стр.
232. Ц. 2 р. 45 к.

РЫКЛИН, Г. — С подлинным
верно. 1929. Стр. 267. Ц. 1 р. 90 к.

- АМУНДСЕН, Р.**—На корабле «Мод». 1929. Стр. 310. Ц. 3 р.
- О'ФЛАХЕРТИ, Л.**—Жена соседа. Роман. Пер. с англ. 1929. Стр. 294. Ц. 1 р. 85 к.
- ИСТРАТИ, Панат.**—Репейники Берагана. 1929. Стр. 144. Ц. 1 руб.
- ЯРОСЛАВСКИЙ, Ем.**—Мистер Троцкий на службе буржуазии. 1929. Ц. 5 коп.
- «КРАСНАЯ НОВЬ».**—Лит.-худ. и научно-публ. журнал. 1929. Кн. 3-я. Март. Стр. 222. Ц. 1 р. 75 к.
- ГРИГ, Николай.**—На Туркисбе. 1929. Стр. 237. Ц. 1 р.
- БРИУСОВ, В.**—Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. Ред. Н. К. Пиксанова. 1929. Стр. 319. Ц. 3 р.
- ШМИДТ, П. Ю.**—Душевная жизнь животных и ее исследование. С рис. 1929 г. Стр. 157. Ц. 1 р.
- МЫСОВСКИЙ, Л. В.**—Космические лучи. 1929. Стр. 131. Ц. 1 р. 65 к.
- ТОЛОТОВ, Алексей.**—Детство Никиты. (Собр. соч., т. V). 1929. Стр. 171. Ц. 1 р. 55 к.
- ТОЛСТОЙ, Алексей.**—Гадюка. Рассказы. (Собр. соч., т. XI). 1929. Стр. 319. Ц. 2 р. 65 к.
- БАРЕЮС, Ария.**—Правдивые повести. (Собр. соч., т. III). 1929. Стр. 195. Ц. 1 р. 75 к.
- «ПРИБОЙ»**
- ТЫНЯНОВ, Ю.**—Смерть Вазир-Мухтара. Стр. 551. Ц. 4 р. 50 к.
- ЛЕЙЦЕН, Л.**—Взрывающие корпуса. Пер. с латышск. Стр. 232. Ц. 1 р. 50 к.
- АСЕЕВ, Н.**—Работа над стихом. Стр. 166. Ц. 1 р. 25 к.
- ГРАНОВСКИЙ, Е.** Монополистический капитализм в России. 1929. Стр. 167. Ц. 1 р. 60 к.
- «РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ».**—Десять автобиографий Г. Верейского. 1929. Ц. 3 р.
- МЕЩАНИНОВ, И.**—Введение в яфетидологию. 1929. Стр. 202. Ц. 1 р. 50 к.
- «СТРОЙКА».**—Альманах. Кн. 4-я. ЛАПП. 1929. Стр. 287. Ц. 2 р. 75 коп.
- ВЕРФЕЛЬ, Франц.**—Однокашники. Роман. 1929. Стр. 256. Ц. 1 р. 20 коп.
- ГЕРМАН, Г.**—Модеста Памбони. Роман. Пер. с нем. 1929. Стр. 267. Ц. 1 р. 25 к.
- ПУТИЛОВ, В.**—Хронологические таблицы по истории России и СССР (1800—1925). 1929. Стр. 125. Ц. 3 р.
- ТЫНЯНОВ, Ю.**—Архаисты и новаторы. 1929. Стр. 595. Ц. 6 руб.
- МАРР, Н. Я., ДОБРОГАЕВ, С. М., ЛОЯ, Я. В.**—Языковедение и материализм. 1929. Стр. 217. Ц. 2 р. 30 к.
- РАДЛОВ, Сергей.**—Десять лет в театре. С предисл. С. Мокульского. 1929. Стр. 328. Ц. 2 р. 20 к.
- ЛЮБКЕ, Антон.**—Техника и человек в 2000 году. Пер. с немецк. 1929. Стр. 179. Ц. 1 р. 25 коп.
- КОЗАКОВ, Михаил.**—Человек, падающий вниз. Рассказы. (Собр. соч., т. II). 1929. Стр. 336. Ц. 2 р. 25 к.
- ГРАБАРЬ, Леонид.**—Семейная хроника. Кн. 1-я. 1929. Стр. 261. Ц. 1 р. 90 к.
- СМИРНОВА, Нина.**—Марфа. Повести. 1929. Стр. 197. Ц. 1 р.
- ВАССЕРМАН, Яков.**—Дело Маурингуса. Роман. Пер. с нем. 1929. Стр. 436. Ц. 3 р.
- «ФЕДЕРАЦИЯ»**
- ЖАРОВ, А.**—Стихи о любви. 1929. Стр. 91. Ц. 1 р. 30 к.
- АДУЕВ.**—Товарищ Ардатов. Повесть-гротеск. 1929. Стр. 98. Ц. 1 р. 20 к.
- ОСЬКИН, Д.**—Записки солдата. 1929. Стр. 333. Ц. 2 р. 10 к.
- ХАЙТ, Д.**—Перепутье. Роман. 1929. Стр. 283. Ц. 2 р. 25 к.
- «ЛИТЕРАТУРА ФАКТА».**—Первый сборник материалов работников лефа. Под ред. Н. Ф. Чудака. 1929. Стр. 269. Ц. 2 р. 65 к.
- ЦЕГОЛЕВ, П. Е.**—Алексеевский равелин. Книга о падении и величии человека. 1929. Стр. 382. Ц. 3 р. 75 к.
- ТАЛЬНИКОВ, Д.**—Гул времени. Литература и современность. 1929. Стр. 310. Ц. 2 р. 75 к.
- ГОРБОВ, Д.**—Понски Галатеи. Статьи о литературе. 1929. Стр. 297. Ц. 2 р. 60 к.
- ВОЛЬКЕНШТЕЙН, В.**—Драматургия. Метод исследования драматических произведений. Изд. 2-е, дополн. 1929. Стр. 271. Ц. 2 р. 65 к.
- НОВИКОВ, Иван.**—Последние усадьбы. Повести. 1929. Стр. 251. Ц. 2 р. 10 к.
- СОЛОВЬЕВ, Борис.**—Лирический репортаж. Стихи. 1926—1928. 1929. Стр. 79. Ц. 85 к.
- «ГИЗ УКРАИНЫ»**
- ЮРЕЗАНСКИЙ, Вл.**—Костры. Две повести. 1929. Стр. 334. Ц. 2 руб. 75 коп.
- «КРАСНОЕ СЛОВО».**—Литер.-худож. журнал Всеукр. союза пролет. писателей. 1929. Кн. 3. 1929. Стр. 110.
- «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»**
- ИСБАХ, Ал.**—О винтовой и книгой (красноармейские бу-
- дни). 2-е изд. 1929. Стр. 236. Ц. 1 р. 45 к.
- ЭРДБЕРГ, О.** Китайские новеллы. 1929. Стр. 167. Ц. 1 р. 40 к.
- ЭДЗЯРКОКИЙ, М.**—Десять дней свободы. Пер. с польск. (Революц. движ. в мемуарах со-временников). 1929. Стр. 132. Ц. 85 коп.
- РУБИНШТЕЙН, Л.**—Умеете ли вы жить? 1929. Стр. 31. Ц. 10 к.
- КРАСНОПЕРОВ, И. М.**—Записки разночинца. (Революц. движение в мемуарах современников). 1929. Стр. 149. Ц. 1 р. 25 к.
- СОЛОВЬЕВ, Владимир.**—Двадцатая весна. Стихи. 1929. Стр. 76. Ц. 80 к.
- «ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА»**
- КОЛОМЕЙЦЕВ, Анатолий.**—Ушелье дьявола. Роман. 1929. Стр. 268. Ц. 1 р. 75 к.
- ЛИБЕДИНСКИЙ, Ю.**—Комиссары. 1929. Стр. 200. (Прил. к журн. «30 дн.»).
- ФЕДОРОВИЧ, Вит.**—Огрехи. Рассказы. 1929. Стр. 199. Ц. 1 р. 60 к.
- СКВОРЦОВ, Михаил.**—Закрайщина. Роман. 1929. Стр. 355. Ц. 2 р. 40 к.
- МОПАСАН, Г.**—Рассказы. Кн. 3-я. 1929. Стр. 191. (Прил. к журн. «30 дней»).
- ЗОЗУЛЯ, Ефим.**—Эпоха. (Заграничные очерки). 1929. Стр. 278. Ц. 2 р. 20 к.
- ДРАЙЗЕР, Теодор.**—Двенадцать американцев. Пер. с англ. 1929. Стр. 434. Ц. 2 р. 50 коп.
- БЕРЕЗОВСКИЙ, Ф.**—Бабьи тропы. Роман. 2-е изд. 1929. Стр. 396. Ц. 2 р. 80 к.
- КУЧКИН, А.**—Чевревер. 1929. Стр. 175. Ц. 1 р. 35 к.
- КАСАТКИН, Иван.**—Мужик. Рассказы. Со ст. И. Кубникова. 1929. Стр. 204. Ц. 2 р.
- ГРОМОВ, М.**—За крестами. Повесть. 2-е изд. 1929. Стр. 165. Ц. 1 р. 35 к.
- БОРЕЦКАЯ, М.**—На переломе. Роман. 1929. Стр. 439. Ц. 3 р.
- ПЕТРОВА, Т.**—На горячей земле. Рассказы. 1929. Стр. 167. Ц. 1 р. 25 к.
- ДМИТРИЕВ, Т.**—Зеленая зыбь. Роман. 1929. Стр. 344. Ц. 2 р. 50 коп.
- ДЕМИДОВ, Алексей.**—Жизнь Ивана. 6-е изд. 1929. Стр. 320. Ц. 2 р.
- АЛЕКСЕЕВ, Мих.**—Зеленая радуга. Роман. Изд. 2-е. 1929. Стр. 358. Ц. 2 р. 65 к.
- «ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ».** Ежемесячник литературы, науки и общ. жизни. Кн. 3-я. Март. 1929. Стр. 124. Ц. 35 коп.

Изд-во „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“
 МОСКВА 37, Страстная площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е ПОЛУГОДИЕ 1929 г.

7-й год
 ИЗДАНИЯ

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛУСТРИРОВАННЫЙ
 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И
 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7-й год
 ИЗДАНИЯ

КРАСНАЯ НИВА

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Вяч. Полонского.

КРАСНАЯ НИВА освещает в художественном слове, статьях, очерках и иллюстрациях рост и развитие социалистического строительства СССР, успехи индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, пути культурной революции.

КРАСНАЯ НИВА освещает революционную борьбу мирового пролетариата, знакомит с важнейшими явлениями во всех областях мировой культуры.

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ читатель найдет отображение всей текущей жизни искусства как советского, так и европейского.

В отделе критики литературы, театра и кино—наиболее крупные явления советского и европейского театра и литературы.

Каждый номер „Красной Нивы“ дает фотообраз мировых событий.

МНОГОКРАСочНЫЕ ОБЛОЖКИ журнала „КРАСНАЯ НИВА“ воспроизводят рисунки лучших современных советских и европейских художников.

Объем журнала установлен в 28 страниц большого журнального формата: 24 страницы текста и иллюстраций и 4 страницы ОБЛОЖКИ в КРАСНАХ.

Все подписчики газеты „Известия ЦИК“ могут получать журнал „Красная Нива“ (без обложки) в качестве приложения к газете по ЛЬГОТНОЙ цене, т. е. вместо 60 к. только за

40 К О П.
 в МЕСЯЦ.

Условия подписки на 1929 г. на журнал „КРАСНАЯ НИВА“:

Условия подписки на „КРАСНУЮ НИВУ“ для подписчиков газеты „Известия ЦИК“:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.	12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
6 р. 75 к.	5 р. 10 к.	3 р. 40 к.	1 р. 75 к.	60 к.	4 р. 80 к.	3 р. 60 к.	2 р. 40 к.	1 р. 20 к.	40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) Гл. Конторой „Известий ЦИК“, 2) всеми отделениями, подотделениями и штатными представительствами Главкой К-ры „Известий ЦИК“ на местах; 3) всеми почтовыми конторами и письмoнeсцaми и 4) контрагентами по распространению периодической печати.

Цена 1 р. 40 к.

19576

„ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ в ЛЕНИНГРАДЕ“

Ленинград, Внутри Гостиного

Двора № 52/54. Тел. 9-55.

ВЫШЛИ



В СВЕТ:

- П. Вяземский.—Старая записная книжка. Редак. Л. Гинзбург. Цена в переплете 3 р. 30 к.
А. Островский.—Тургенев в записках современников. Цена в переплете 4 р. 45 к.
К. Вагинов.—Труды и дни Свистонова. Роман. Цена 1 р. 50 к.

- Г. Блок.—Одиночество. Повесть. Цена 1 р. 50 к.
И. Брагини.—Прыжок. 3-ье изд. Цена 2 р. 30 к.
В. Каверин.—Барон Брамбеус. История О. Сенковского, журналиста, редактора „Вибл. для Чтения.“ Цена в переплете 2 р. 30 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

- М. Зощенко.—Письма к писателю (новая книга).
В. Шкловский.—Зoo или письма не о любви.
Н. Баршев.—Летающий Фламандрюн.

- В. Хлебников.—Собр. сочинений т. II.
В. Эрлих.—Право на песни.

Склад изданий: Государственное Издательство РСФСР.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ журнала **Н О В Ы Й М И Р**

Июньская книга „Нового Мира“ является последней для тех годовых подписчиков журнала, которые подписались с рассрочкой платежа и уплатили только два первых взноса.

Во избежание перерыва в получении журнала „Новый Мир“, начиная с июля месяца, необходимо поспешить внесением очередного (3-го) взноса.

Примечание: условия рассрочки платежа: 1 взнос при подписке—3 р. 76.; 2 взнос к 1 апреля—2 руб. 50 коп.; 3 взнос к 1 июля—2 р. 50 коп. и 4 взнос к 1 октября—2 руб.

При посылке очередного взноса в Главную Контору „Известий ЦИК“, на отрезном купоне перевода следует указать точный свой адрес, по которому „Новый Мир“ получается.

Подписчики, уплатившие первые два взноса по своей подписке не Главной Конторе, а местному отделению „Известий ЦИК“, почтовой конторе или контрагенту, должны внести ТРЕТИЙ очередной взнос ТОЛЬКО по МЕСТУ СВОЕЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДПИСКИ.

ОСТАЛЬНЫЕ ПОДПИСЧИКИ „НОВОГО МИРА“, СРОК ПОДПИСКИ КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ 1 ИЮЛЯ, ДОЛЖНЫ ПОСПЕШИТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ ПОДПИСКИ на июль и следующие подписные сроки.

Главная Контора Издательства „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“.